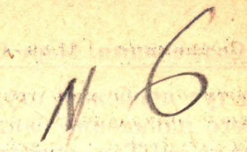
Александр
СОЛЖЕНИЦЫН



МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

171

Всё же в Исполнительном Комитете Шляпников продвинулся неплохо: доверена ему была вся Выборгская сторона и сколачивать рабочую милицию. Сколько он мог сообразить своей бессонной, уже помрачённой головой, это была реальная и важная победа: вооружённая Выборгская сторона будет весить больше, чем любое голосование в Совете депутатов, и уж конечно больше, чем вся эта Государственная Дума. Как любит выражаться Ленин — *главное звено.* И вот показалось теперь Шляпникову, что он это главное звено ухватил.

А может — не его? А может — не главное? Если пойдут дела и дальше как сегодня — то сразу хлынут эмигранты. И быстро приедет Ленин — и станет за каждую ошибку бранчиво, обидно выговаривать, по своей въедливой манере. Шляпников заранее сжимался, представляя эту грызуху.

Но так вдруг просторно раздвинулись события и возможности — поди догадайся, какую седлать.

Кончилось бестолковое заседание ИК уже под утро, Шляпников на что силён, а пошатывался. И Залуцкий совсем обмяк. Коснеющими языками ещё переговаривались с ним. Теперь, очевидно, неизбежно быть разным выборам и назначениям — общегородским и в районах,— и надо зорко сторожить и проталкивать везде своих — побольше перед меньшевиками, межрайонцами, бундовцами. (А эсеров и самих нигде нет, размётаны.) Как за всем уследить? Нет людей, нет глаз и ушей. Надо устроить своё постоянное дежурство здесь, в Таврическом, чтоб о каждой новости сразу же узнавать. Но даже на это нет человека, не придумаешь, подходящего кого. Разве что Стасову пристроить? (Она из ссылки приехала осенью в Петербург, для свидания с престарелыми родителями, и зацепилась тут.) Хотя б на дневное время: пусть ходит как на службу и здесь высматривает. И назовём — секретариат ЦК? Она ещё какую девчёнку приспособит.

Впрочем, и ПК весь освободился днём из-под ареста — быстро отделались, за сутки. У них тоже будет центр.

Ну, ехать поспать. Теперь уже не пешка́ мерить, теперь Шляпников мог взять и автомобиль.

Печатается по изданию: А. Солженицын. Собрание сочинений. YMCA-PRESS. Т. 16. Париж — Вермонт, 1986. В публикации сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации. «Схемы железных дорог» (с. 41) подготовлены автором специально для настоящей публикации.

Том 1 (гл. 1—170) см.: Нева. 1990. № 1—6; том 3 (гл. 354—531) в 1991 г. печатается в журнале «Волга»; том 4 (гл. 532-656) — в журнале «Звезда».

Но тут подбежал студент от телефона: сейчас звонили, что на квартиру Горького нападение банды!

Вот те на! Так и кольнуло! И правда, не могло быть всё так хорошо, слишком уж хорошо. Так и должно было случиться: заметная революционная фигура! Алексей Максимыча — никак в обиду дать нельзя, он — как лучший партийный наш, он больше наш, чем меньшевицкий. Он — и деньги даёт, он в Девятьсот Пятом на своей московской квартире в дни восстания содержал тринадцать грузин-дружинников, и бомбы у него делали.

Большевицкий закон: своих — надо выручать!

Застёгивая пальто и нахлобучивая шапку (он их и не снимал все часы заседания в тёплом дворце, некуда деть),— вышел наружу.

В сквере перед дворцом горело три костра, около них грелись. И там-сям солдаты.

— Я — комиссар Выборгской стороны! — закричал Шляпников не так громко, уже голоса не было, но с новым для себя тоном, новым правом распоряжаться громко вслух.— Есть автомобиль?

И сразу тон его услышали и поняли (никто б из думских так бы крикнуть не посмел), подбежало несколько солдат-доброхотов, всё им лучше, чем мёрзнуть:

— Есть автомобили! Куда ехать?

Уже вели его к одному.

— А чей автомобиль? — просто так, для интереса спросил Шляпников.

— Военного министра Беляева! Со двора увели.

Вот и шофёра в полушубке расталкивали за рулём.

— Я член Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов! Заводи машину! — Отступил и крикнул: — Эй, ребята! Кто поедет на Петербургскую сторону, задание есть!

И сразу побежала от костра дюжина охотников.

Но второго, грузового, автомобиля Шляпников брать не стал, хватит. Троих с винтовками впустил на заднее сидение, сам сел спереди, дверцу захлопнул, двое сейчас же легли на подножки, винтовками через крылья вперёд.

Па-й-йехали!

Улицы были малолюдны, но жили. Где-то изредка постреливали. То погуливали с винтовками, гурьбой. То навстречу, то стороной проносились грузовики и гудели, в кузовах торчало по несколько людей со штыками. Пешком пробирались и напуганные обыватели, или кто прячется, может полицейские переодетые убегали на новые места перехорона. А если на мостовую выпирал и даже автомобиль останавливал,— значит наш, или что впереди знает?

— Какие новости, скажите, товарищи?

— Образован Совет Рабочих Депутатов! Создаётся рабочая милиция! — быстро громко отвечал в окошко Шляпников, сонливость прошла.

— А говорят — царские войска идут на город? — Уже слышали, как быстро слух идёт!

— Звонки бубны за горами! — уверенно отвечал Шляпников. И — гнал шофёра.

И гнали дальше: что там с Горьким? Что за негодяи? успеем ли отбить Максимыча?

Ну мог ли Шляпников вчера, перепрятываясь у Павловых, представить, что в следующую ночь будет ехать в автомобиле военного министра?!

Около пожарища Окружного суда — ещё сильно калилось, и пар от уличного снега — их остановили расспрашивать и кричали „ура",— а потом они дёрнули без остановки по Французской набережной и взлетели на пустынный Троицкий мост.

Если б не зарева за спиной, а впереди темно, нет, один есть пожарчик сильно налево, это наверно Охранное, да если б не встречный шальной грузовик на мосту со штыками,— ночь была как ночь: снежная в черноте Нева, тёмная Петропавловка, редкие цепочки фонарей там и здесь, редкие уже светы в домах,— обыкновенная петербургская ночь, как будто не произошло великого. Вот только зарева.

Оглянулся налево за спину Шляпников: вся полоса дворцов была совсем темна, и Зимний — тоже.

А небо — чистое, звёздное, морозное.

Большим крюком объехали Петропавловку, сбросив огни, чтоб не привлечь на себя стрельбы. Нырнули в тёмный Кронверкский.

Вот и дом Горького, в темноте его Шляпников узнаёт.

Внешне — погрома не видно. Все окна тёмные. Парадное заперто.

Но нельзя так оставить. Стал громко стучать.

Швейцар не сразу вышел. Потом открывать не хотел. Но увидя штыки, сразу открыл.

— Что там у вас? Какая банда? Был налёт?

— Ника-кого.

Шляпников не поверил. Метнулись по лестнице.

И перед дверью Горького — ненатоптанный пол, чистота, тишина, никакого разгрома.

Шутники какие-то обманули?

Но и не уезжать теперь так! Всё же нажал кнопку звонка.

Ещё раз позвонил. Там испуг, переполох: „кто?".

— Это — Шляпников. Мне Алексей Максимыча, простите.

Хоть заверить его в безопасности. Хоть научить, если что — так пусть...

Наконец, отворили дверь. За несколькими женщинами — Алексей Максимович в мохнатом халате, сутулясь, недовольный, подморщивая свой расквяплый утиный нос, жёлтые усы обвисли аж на подбородок, а голос обиженный:

— Ну что-о такое, Алексан Гаврилыч? За-чем? За-чем же вы?

Не пригласил войти, отпустил — и даже не спросил о новостях.

172

Николай не мог жить без Аликс настолько, насколько человек не может жить с выеденной грудью или отсеченной половиной головы. Сам с большими военными пристрастиями, попадая в атмосферу Ставки, он как будто должен был бы расцветать мужскою военною жизнью,— нет! Уже в первый день он испытывал рассеянность, недохват, тоску,— и пуст и печален был тот редкий день, когда не приходило от неё письмо. (Зато уж назавтра — всегда два.) А приходило — Николай распечатывал его всякий раз с усиленным биением сердца, и окунался, вдыхал аромат надушенных листков (а иногда были вложены и цветки),— эти запахи возбуждали такие чудные воспоминания и так тянуло к жене тотчас, сейчас! А затем он впивал, перелагал в себе, так и этак перечувствовал каждое слово письма и прижимался губами к бумаге, которой касались её обожаемые руки (и особенно целовал те обведенные места, которые поцеловала она). Читал не торопясь и даже с уютом, как бы ни длинно письмо (а почти всегда длинные),— и ещё перечитывал потом непременно. Как всегда повторяла она, так убедился и он: разлука делает любовь ещё сильней. И сам он не писал ей письма только в тот день, когда уж было слишком много бумаг или приёмов,— но и над бумагами и во время приёмов он помнил её постоянно, как тем более в часы досуга или прогулок. Только когда он проходил смотром перед выстроенными полками — он забывал её на короткие минуты. Даже новая иностранная книга, прочтённая им про себя, отдельно,— как бы не являлась ему полностью, пока он её не перечитывал ещё раз вслух, с женой. Даже присутствие наследника с отцом в Ставке лишь немного развеивало и смягчало эту вечную недохватку разумницы-жены в существовании. Но наследник по здоровью часто не мог ехать с отцом — и тогда тоскливое одиночество обступало стеною, и даже одна неделя в Ставке казалась годом, а три недели — вечностью, да три недели он почти никогда и не выживал тут, либо уж сама государыня приезжала в Могилёв.

И ещё насколько мучительней были четыре дня, в этот раз проведенные в Ставке: из-за болезни детей и тревожных сведений из Петрограда. Всё хмурей, напряжённей становилось с каждым часом, за последний день Государь перетратился нервами и упорством воли — отказывать в уступках нарастаю-

щему сводному хору. Он — перетратился, и он нуждался скорее соединиться с женой, с которой за 22 года был сращён как два дерева, разветвлённых из одного ствола.

От момента за поздним чаем, когда Воейков и Фредерикс представили ему тревоги из Царского Села и Николай решил ехать,— ему сразу стало легче. Когда вошёл в свой вагон близ двух часов ночи — ещё легче. (Но будет ещё подготовляться до пяти или шести утра.)

Оставалось время. Успокоился. А спать ещё не хотелось. И что Государь почувствовал себя обязанным сделать — это поговорить с Николаем Иудовичем о деталях его экспедиции и намерений. Вагоны стояли недалеко, и он вызвал генерала.

Разговором остался очень доволен, ещё облегчилась душа. Какая была в этом старике народная основательность, мудрость и какая преданность своему Государю! На этого человека можно было положиться, смелый боевой генерал. (Теперь пожалел, что в Пятнадцатом году не согласился с женой и не назначил его военным министром, считая слишком упрямым,— может быть, и не было бы нынешних беспорядков.)

Да всё настроение было совсем не тревожное, когда и сам уже ехал туда.

Тут дослали в поезд вечернюю телеграмму Хабалова, что-то очень паническую: что не может восстановить в столице порядка, уже большинство частей изменили своему долгу, братаются с мятежниками и даже обратили оружие против верных войск. И вот — большая часть столицы уже в руках мятежников.

Да может ли такое быть?? Да это вздор немыслимый.

И Николай Иудович тоже так думал, нисколько не обескуражился:

— Выгоню всех и вычищу! Ваше Императорское Величество, вы можете быть во мне уверены, как в самом себе. Сделаю всё возможное и невозможное!

И борода его лопатная, народная, верная, как бы подтверждала.

Из деликатности Государь однако постеснялся спросить у генерала точный час его выезда из Могилёва с георгиевским батальоном,— но, очевидно, что уже не в эти ночные часы (хорошо бы!), а рано поутру.

Но если Иванов начнёт движение своего отряда только утром и из первых целей имеет оборонить Царское Село — то не терялся ли смысл экстренного выезда императорских поездов? Нет, потому что последнее время они ходили другим, более кружным, но и более удобным путём, через Николаевскую дорогу. Пока они совершат этот обход — а Иванов уже и будет в Царском. Да уже было обещано Аликс, что выедет этой ночью. И перед свитою неудобно менять: команда дана, погрузились.

В виде шутки намекнул старику, что может быть ещё успеет в Царское раньше него.

Прощаясь, перекрестил его. И трижды поцеловались.

А самое главное: движение поезда уже есть облегчение. Николай нуждался теперь восполниться покоем, душевным отдохновением. И оторваться от этих беспрерывных телеграмм и донесений, которые в Ставку просто лились. Меньше известий — меньше решений. Около суток провести без этих волнений — насколько легче! А там — достичь Царского, убедиться, что свои — целы, не захвачены,— и уже в твёрдом состоянии и слитно с Аликс всё решать. Николай не знал, что именно решит и сделает, но во всяком случае там он за несколько часов осмотрится.

После пяти утра в начавшемся движении поезда мерная укачка вагона давала это чудесное совмещение: иллюзии действия и одновременно покоя.

173

Уж надежды поспать не было сегодня никакой — и клониться к тому не надо. Если б не мотались к Горькому — может, на часок бы и растянулся у Павловых, зряшная эта поездка как раз перебила последний сонный час.

Да хотелось и своим рассказать, и на них глянуть. Да и был же он теперь комиссар Выборгской стороны — значит, надо разорваться, и там успеть,

и в Таврический назад успеть ко всем заседаниям. Так что и получалось, что эти раннеутренние часы — как раз ему хороши для поездки на Выборгскую.

Сели. Холодное сидение подмораживает через пальто. Опять двое солдат легли на подножки. И — погнали, ещё малолюдным, пробуждающимся освобождённым городом,— освобождённым, вот так замечательно! Уж кого не видно, так это городовых. И все солдаты сразу стали не вражья сила, а своя!

А на Выборгской — появлялись, наоборот, вооружённые посты рабочих на перекрестках, это уже кто-то из наших ставил. И много просто вооружённых ходило — это уже всё наша армия, только не организованная. Первая задача — иметь реальную военную силу. Скорей создавать на Выборгской стороне свою отдельную вооружённую силу, и ни с кем не смешиваться, всю в руках большевиков. Пока там другие районы соберутся, каких-нибудь студентиков, а у нас будет сила!

Такой пост перед Эриксоном остановил и его самого: ехать дальше нельзя, самокатчики, стервы, сидят в казармах с пулемётами и сопротивляются, вся дальняя часть Сампсоньевского вымерла, никто не ходит, не ездит.

Соскочил Шляпников с ними поговорить: а что ж думаете делать? Собирают, собирают силы: пулемёты, даже бомбомёты, но хотят и артиллерию притянуть, чтоб из пушек начисто казармы самокатчиков снести. А уговаривать не берёт?

Никак не берёт.

Прямо бить по батальону?

Ещё вчера не знали, спорили: как взять в свои руки оружие? А вот уже оно всё наше!

А московские казармы? Целиком все наши. Офицеров — вчера обезвредили. А межрайонцы тут собрали рабочую дружину: ловить и убивать офицеров поодиночке.

Ну, это их дело, они всюду вперёд.

Так-то так, но не привык Шляпников у себя на Выборгской стороне даже под слежкой стесняться — а теперь, в освобождённом городе, да неужели ж он на Сердобольскую не доберётся?

Он знает здесь не только улицы, но все тропинки на огородах — те наискось сокращения, которые протаптывают и ногами поддерживают даже зимой, потому что людям всегда надо короче. И в этих безликих снежных тропинках нипочём не собьётся.

Оставил автомобиль с солдатами ждать его тут два часа — а сам погнал по тропинкам.

И действительно, люди промётывались по ним с поспешностью. А раза два так близко и низко просвистели пули, что Шляпников хлопнулся оба раза на утоптанный снег и перелёживал, смотрел на его бугорки и узоры, отпечатанные ногами.

Лежал на снежном поле одиноко и думал: вот тебе и освобождённый город, член Исполнительного Комитета, комиссар Выборгской стороны. И что за позор: в центре везде обошлось, а у нас на Выборгской...? Нет, надо это кончать, действительно, хоть и пушками.

Добрался, конечно, до Павловых. Конспиративную квартиру их — узнать нельзя: собралась сразу дюжина товарищей, не скрываясь. Галдят открыто, ещё при входе прислонены красные знамёна, готовят древки для новых, в комнатах с избытком навалены добытые винтовки, шашки, патроны.

Марья Георгиевна, руки золотые, свои швейные дела кинула, чем-то их кормит.

И Шляпникову — миску горячих щец.

Та-ак. Что у вас тут? Депутатов в Совет выбираете? Рабочую милицию — собираете?..

А у нас в Таврическом... Трудное дело, браты: надо не прозевать, в эти часы из-под меньшевиков всю почву вырвать.

Из-под кадетов — тем более.

Из-под царя — уж и не спрашивай.

174

Двое братьев Некрасовых, маленький Греве и пожилой прапорщик из запаса Рыбаков ночевали на квартире штабс-капитана Степанова. На рассвете их разбудил солдат-швейцар офицерского флигеля, перепуганный:

— Ваши высокоблагородия! Надо вам уходить скорей. Уже несколько господ офицеров в цейхаузе собрания — переоделись в солдатское, ушли. Пришли *вольные*, ищут офицеров, убивать. Я сказал: тут никого нет. Погрозились и меня убить, если наврал. Они — у самого подъезда стоят! Уходите через чёрный!

Военная побудка, привычное дело. Спали одетые, теперь накинули шинели, ещё прежде первого продрога,— сбежали по лестнице. Думали — через плац и во 2-ю роту, где вчера взяли у них шашки и обещали защиту (а револьверы-то свои так и не взяли из собрания!). Но на плацу в брезжущем свете уже ходили рабочие, с винтовками и без винтовок.

Опоздано! — и вырваться некуда.

Вдруг подошёл из швейцарской унтер-офицер, смутно-знакомое лицо, и назвался, что он причетник полковой церкви: не пожалуют ли господа офицеры к нему, там никого искать не будут? А из чёрного хода туда — несколько раз шагнуть, совсем рядом. Ну что ж, пожалуй.

Уж своего ли полкового двора не знали братья Некрасовы, а этого места никогда не замечали. Тут, совсем рядом, стоял полковой склад, длинный, слепой,— а в нём, оказывается, в торце была комната причетника, через глухую кирпичную стену от склада.

Проскользнули туда, пока не рассвело.

Привычный военный глаз осматривал комнату не как комнату, а всё в смётке военной. Узкая и длинная, поперёк всего склада. В одной длинной стене дверь, в одной узкой — окно на церковь, остальное глухо. Через окно почти вся хорошо простреливается, через дверь — только в средней части.

С ними пришёл денщик Всеволода, да внутри уже был какой-то солдат. Итак, всемером.

И стали сидеть. Как в тюрьме. Ждали — час, полтора — чего? Сморчиво. В окно — разбрезжило. И вполне осветлело. Никто не шёл к ним. Но и они ничего не знали.

Решили послать денщика — вообще на разведку, и во 2-ю роту — чтобы фельдфебель прислал за ними своих и вызволил.

Долго ходил, но много и принёс: во 2-ю роту идти нельзя, там набилось рабочих с красными повязками, фельдфебель пикнуть не может.

Отдали шашки...

А собрание, рассказывал, за ночь совсем разгромили. Картины, портреты посрывали, поразрезали. Люстры перебили. Мебель — переломали, твёрдую, а мягкую — шашками порубили.

А Сергей вчера боялся стрелять из собрания, чтоб его не тронули.

А что ж в своей квартире? Послал узнать. А там стерёг денщик Сергея, оказывается еле отоврался, чтоб не избили его бунтовщики. По клавишам рояля играли прикладами. Растащили сапоги, одежду, бельё. Разделили колодку орденов и куражились, развешивая каждый себе.

Теперь послали поглядеть по казармам: есть ли где офицеры?

Вернулся денщик: нигде ни одного.

Что же делать? Уходить с полкового двора? Переодеваться?

Сходили нижние чины и осторожно принесли всем четверым солдатские шинели. Прапорщик Рыбаков сразу переоделся — неинтеллигентное лицо, от солдата не отличить. Ушёл.

Но братья Некрасовы замялись. Унизительно. Остались в своём. И маленький Греве тоже.

И просидели ещё час, мало разговаривая. То состояние, когда каждый разговор только дерёт по душе, лучше своё внутреннее, хоть и оно морозит. Бунт, и во всём Петрограде, в несколько часов, и удавшийся,— это же революция! Как она грянула? Кто там вершит? Что теперь будет? Да в Действующей армии революции нет — придут же и справятся, с кем тут справляться? — тут

никто не умеет винтовки держать. Но полк опозорен. И собственная честь. И значит, жизнь.

Ниоткуда не доносилось никакой стрельбы. Не верилось, что в полку разорение, что бродят чужие и ищут крови.

А есть хотелось — всё больше. Со вчерашнего дня ничего не ели. Хоть бы хлеба достать. Причетник сказал, что достанет. Ушёл.

Вернулся — позвал обоих солдат. Вскоре опять пришли, да как — с кипящим самоваром, подносы с едой, большая коробка папирос. Это прислала матушка, жена полкового священника.

Это и погубило! Не хватило осмотрительности — шли трое в затылок по плацу, самовар, поднос,— кто-то и заметил.

Не успели чаю заварить, хлеба куснуть — женский голос близко закричал пронзительно:

— Вот тут офицера сидят!

И — ни на что не успели решиться, обдумать — другие крики, топот сбегающейся толпы, и даже без „выходи!", так быстро, пока причетник стал закрывать на крючок — выстрел в дверь! — и ранило его. Сбился с ног, сел на пол, пополз в сторону, трогая плечо и вслух молясь.

А в дверь — ещё и ещё стреляли, и крик нарастал гуще, толпа сбегалась, кричали:

— Бей кровопийц!

— Попили нашей крови!

и матерно, и матерно, дикий рёв — откуда же столько ненависти? где она была? как жили, её не зная?

И — выстрелы, все в дверь, и даже не по низу, не опытно,— а на высоте плеч. Но на простреле двери никто и не остался: Греве от самовара успел присесть на корточки и отполз. Причетник дополз до постели, Всеволод дал ему подушку, приткнуть к ране, сам прилёг на пол под подоконником. Сергей успел вжаться в угол за постелью. Солдаты оба — на полу.

А снаружи всё орут и стреляют. И опять же неопытность: довольно было им оббежать к окну — и оттуда простреливалось почти всё в комнате.

Но не оббежали. А всё тот же громкий злой гомон голосов, мужских и бабьих, мат о кровопийцах и беспорядочная стрельба в дверь.

Потом вырвался голос:

— Товарищи! Да может там никого и нет? Не стреляй! Погоди, не стреляй!

Стихло. Тут, в комнате, замерли: мышеловка, уйти некуда. И оружия нет.

Да — и нужно ли оно? Кого тут убивать? И спасти не спасёт, не прорвёшься.

Толкнули дверь — она не закрыта была? сбило крючок пулею? И заглянул один солдат, московец. Молодое сообразительное лицо, как бывает у хороших служак, незнакомый. Показал рукой: сидите, не выходите. На всеволодова денщика:

— Так ты что ж не выходишь, дурак, ведь убьют! —

и за шиворот вытянул его, вытолкнул наружу:

— Вот он, захухряй! Никого там больше нет. Расходись!

И крики утихли. И не стреляли. Поговорили, поговорили возбуждённо, будто расходились.

Теперь офицеры уже не чинились, не сомневались, быстро надевали солдатские шинели, при первой возможности выскользнуть. Надо было утром переодеваться сразу, гордость, уже бы ушли, и причетник был бы не ранен.

Нечем ему и помочь, прижимает подушку к плечу.

Но не успели застегнуть шинелей — новый рёв и опять застреляли в дверь, теперь уже уверенней. Видно, денщик сказал. Ужались по своим углам. Братья пожали друг другу руки.

Били, били, потом голос:

— Да может сами выйдут? А ну, перестань стрелять!

Но сами входить опасались: ведь первых нескольких снесут. Потому всё время и не врывались.

— А ну, выходи, кто там!

Ничего не оставалось. И теперь — куда ж в шинелях? Стыдно, зачем и надевали? Сбросили солдатские, своих не успели натянуть, вышли в одних кителях, трое. Капитан, штабс-капитан и прапорщик. Всеволод палку забыл, без неё.

Отступя от двери шагов на пятнадцать, плотным чёрным полукругом стояли рабочие, на рукавах пальто у всех — красные повязки. Винтовки выставлены у всех „на изготовку'', уж там какую. Подрагивают. На ком через плечо — пулемётные ленты, награбили в складе.

Сразу все лица — в один глазоём, ни одно не рассмотрено, все запомнены навсегда, на оставшиеся минуты жизни: больше — молодые, и все обозлённые.

А за ними — большая толпа, и женщины, грозят кулаками через плечи передних, кричат:

— Бей кровопийц! — и матерно.

— Сдавай оружие!

— У нас оружия нет, мы сдали вчера.

Не верят. Настороженно выходит вперёд один из эриксоновцев, эта фабрика — тут рядом, и все они сколько же раз ходили тут мимо, в трамваях ездили и встречались. И никогда офицеры не замечали столько к себе зла.

Подошедший обхлопывает офицеров по поясам, по карманам. Удивлён, но оружия нет. Всё это видят — и громче из толпы:

— Что с ними возиться? Стреляй кровопийц!

— Отходи, не мешай!

— Довольно нами покомандовали! Теперь мы покомандуем!

И обыскивавший вожак отступает от обречённых.

И с новым напряжением — уже не опасного поиска, но торжества, раздвигаются, давая место и другим желающим, кто на изготовку, кто уже и целится. Но никто не стреляет, видно ждут команды вожака.

Как сложна жизнь, но как просты все смертные решения: вот — здесь, вот — сейчас. А больше всего изумление: мы умирали за эту страну — за что она нас ненавидит?

Маленький Греве, мальчик перед взрослой толпой, замер. Всеволод Некрасов цедил: „Идиоты проклятые...'' А Сергей вытянулся, развернулась грудь с георгиевским крестом, вздохнул последний раз — не здесь он думал умирать, не так. Успел пожалеть стариков родителей, что в одну минуту потеряют обоих сыновей — и обоих от русских рук. Но сказать убийцам вслух — в оправдание, в задержку — ничего бы не мог найтись.

Но опережая команду — прорезался новый крик — сбоку, с паперти полковой церкви:

— Стой! Стой, не стреляй!

И со ступенек паперти, откуда хорошо видели, с десяток московцев сбежали сюда — и расталкивая, расталкивая толпу, пробирались энергично — пробрались — ворвались в полукруг между расстрельщиками и обречёнными:

— Стой! Не трогай их! Это — офицеры хорошие!

— Мы их знаем, не трожь!

А их самих офицеры не успели и распознать.

Нет, уже не остановить:

— Отойди! — кричат озлобленные красные повязки.— Не ваше дело! Отойди, и вас зацепим!

Но солдаты мешали собой. А один крикнул:

— Калеку бьёте, герои тыловые!

И вот это — дрогнуло по кругу:

— Где калека?

— А вот! — показали на Всеволода Некрасова.— Вот! — и на ногу его.

Отдав винтовку, один из рабочих подошёл и стал щупать ногу Всеволода через брюки, ниже, ниже. Крикнул как о манекене:

— Верно! Нога деревянная!

И — застывший чёрный резкий полукруг как размылся, зашевелился, распался:

— Кале-ека...

— Ногу-то отдал...

— Чуть-чуть ошибка не вышла, ишь ты...

Да ещё ж оставалось, кого расстреливать,— стоял высокий открытый штабс-капитан и молоденький маленький прапорщик,— нет, теперь и они были помилованы за ту ногу. Рассыпался полукруг — и подошли как виноватые, подошли как бы уже друзья:

— Да шинелки-то есть у вас? Вы ж обмёрзнете.

— Поди, им шинелки принеси.

— Там — раненый у нас унтер,— сказал Сергей.

— Сейчас мы его в лазарет! — это солдаты-выручатели. Но совсем незнакомые лица, не узнавали их братья.

— Да вы покурите,— сожаловала теперь толпа.

— Да садитесь поешьте, самовар ваш стынет.

Но старший из рабочих, чугуннорубленный, отречённый:

— Есть — некогда, рассиживать. Всех арестованных приказано представлять в Государственную Думу. Собирайсь.

175

Ни скрыться домой, ни даже здесь поспать Масловскому так уже и не удалось. Но он очень морально подкрепился тем, что Военная комиссия поступила под ответственность Государственной Думы. Отвечать — так вместе с Родзянкой, ничего.

Он ещё сходил поговорил, пока не спали, с Керенским и Некрасовым — и те тоже его одобрили.

Да что в самом деле! Потомственный аристократ и сколько военных в роду — разве он с юности не мог стать блестящим офицером! Но он уже тогда рассмотрел увядание аристократической жизни, на ней — уже не стяжаешь успеха. Для аристократов пролегала трудная эпоха. Однако природная любознательность, наблюдательность и разнообразные способности повели Сергея Масловского то в антропологию, в среднеазиатские экспедиции, научные попытки, не очень удачные,— а потом всё общество двинулось в революцию, и Масловский туда. И чуть не сжёг себе крыльев. Последние годы он втихомолку начал литературные опыты, вот писателем бы ему стать.

И правильно он увидел, ещё двадцать лет назад: каково бы в эти сутки оказаться офицером? — как волк среди людей, все охотятся.

Изнемогая в тревоге, незнании и беспомощности военка (как уже с вечера стали звать *советские*) — но во второй половине ночи подкрепилась приятным событием, из простых человеческих радостей: кто-то принёс к ним в комнату большую кастрюлю тёплых, с луком жаренных, коричневых сочных котлет — и каравай белого хлеба! Там революция или нет — а желудок требовал своё! Вилок не было, каравай рвали пальцами, потом резали перочинным ножом, пальцами же хватали и котлеты, и так всё дочиста съели, не узнав, кто это и где жарил.

В остальном же военная обстановка была смутна и опаснее, чем днём: по ночной беззащитности, по полному отсутствию у Таврического дворца организованной военной силы. В каждую минуту, разогнавши одной очередью сброд из сквера, Хабалов мог взять Таврический дворец голыми руками.

И даже у дверей военки уже не толпились любопытные или защитники, все разошлись спать.

К счастью, оказалась вымышленной высадка 177-го полка на Николаевском вокзале. Но пришло другое грозное сведение: о высадке какого-то полка на Балтийском вокзале, что было не намного легче. А комендант Кронштадта сообщил — вероятно, он метил доложить Хабалову, но по проводам попало почему-то в Государственную Думу: что началось большое движение неорганизованной военной толпы из Ораниенбаума на Петроград, может собраться и 15 тысяч. Правда, к этому времени уже считался перешедшим на сторону движения Семёновский полк, и Егерский тоже,— и послали им распоряжение: против этого неопределённого ночного перемещения выдвинуть заставой 500 семёновцев и 300 егерей, непременно с офицерами и пулемётами. (С офицерами! — и есть ли они там и каково им? Но укрепить их: распоряжение

Государственной Думы.) А по сколько-то семёновцев и егерей отправить на Николаевский вокзал.

Но, как и вечер, тем более ночь состояла в том, что ни одно посланное приказание не подтверждалось, ни один высланный пикет или патруль никогда не возвращался: всё это растекалось, кануло и будто никогда не было послано вовсе.

По всем четырём железным дорогам — Николаевской, Виндавской, Варшавской и Балтийской, был Петроград угрожаем, но не мог предупредить нападение или выставить оборону. Да сам в себе он заключал затаившуюся правительственную силу, о намерениях которой ничего не было известно, а действия могли быть обнаружены слишком поздно. Где было правительство — тоже не известно: в Мариинском дворце его уже не застали, очевидно перешло в Адмиралтейство? И непрерывно заседает там и безусловно имеет прямой провод со Ставкой, и оттуда льются указания, и они готовят круговое удушение мятежа. И генерал Иванов уже ведёт кошмарную силу.

А Энгельгардт, поехавший в Преображенский батальон,— по общему закону исчезания больше не появился до утра.

И — догадка: может быть, под этим удобным предлогом он просто скрылся из опасного места? А Масловский отчаянно и неразумно сгорал тут!

Да если б не Филипповский — он бы и ускользнул. Но двужильный Филипповский, как будто и не ночь была, сидел и писал, писал случайные распоряжения,— однако на бланках Товарища Председателя Государственной Думы — вид! Да принимал известия, когда они всё-таки приходили.

Наибольшей опасностью представлялась Масловскому Петропавловская крепость, может быть по особому чувству к ней всякого революционера. Она — так и не сдалась, нет! Идеально было бы — закупорить её, обложить все выходы снаружи. Но — где же собрать желающих идти туда на ночь и на мороз торчать — а из бойниц застрелят?

Два ретивых унтера да несколько солдат выручали военку на посылках и поручениях.

Ночь казалась бесконечной — и грозной до конца. Революционный долг приковал гвоздём. (Всё же, когда нападут, с главного входа,— Масловский успевал бы уйти через боковую дверь на Таврическую улицу, а там — три шага домой, и штатского не задержат.)

Сколько пережито за эту бессонную ночь — как за целую жизнь!

В пять утра пришло известие, что на сторону народа перешла запасная автомобильная рота — это хорошо! колёса будут! Но — пока забаррикадировалась (очевидно — просто досыпала ночь), а утром явится в Государственную Думу.

Потом в подкрепленье прибыл один броневой автомобиль с пушкой Гочкиса.

К шести телефон сообщил, что на сторону народа окончательно перешли батальоны Петроградский и Измайловский. (В Измайловском несогласные офицеры осаждены, а некоторые убиты, то ли 8, то ли 18.)

Ни событий, ни боёв больше нигде не происходило. Уже с наступлением света стали звонить и требовать охрану: на Пороховой завод, на охтенский завод взрывчатых веществ, на морской и артиллерийский полигоны: отовсюду военные караулы сами ушли. На взрывоопасные заводы, конечно, охрана была нужна в первую очередь, один злодей с коробкой спичек... Но и посылать было решительно некого и неоткуда.

Но и то сказать, во что нельзя было поверить вчера вечером: вот, наступил следующий день — а революционная власть стояла? и именно к ней все обращались?

И за дверьми опять толклись все желающие, можно было посылать.

Уже в полное утро, после двух светлых часов, появился Энгельгардт, видимо поспавший и уже в мундире и с аксельбантами генштабиста, а с ним ещё — профессор Военно-медицинской Академии Юревич, которого Энгельгардт тут же, совсем некстати, объявил комендантом Таврического дворца — и этот тоже стал отдавать приказания, путаясь с остальными.

И рассердился Масловский на Энгельгардта за его ночное отсутствие, но и успокоился его пышным приходом теперь: так всё выглядело вполне респектабельно! Прилично и самому пойти натянуть военное. Чёрт возьми, мы ещё повоюем с этим царизмом!

Однако с горечью сообщил Энгельгардт, что преображенцы, несмотря на его горячую ночную речь, никуда не двинулись и ничего не атаковали. Оказалось, там не только нет единства между офицерами и солдатами, но и среди офицеров тоже. Вообще, этот ночной телефон к Шидловскому был почти случайностью — а так многое решил!

Всё же послал теперь Энгельгардт преображенцам приказ: занять Государственный банк, телефонную станцию, выставить посты к Эрмитажу и музею Александра III. Хотя бы на эти-то не опасные задания должно было хватить их ночного обещания. И по меньшей мере — чтобы Преображенский батальон расставил бы караулы вокруг Таврического, и охранял бы порядок тут.

Через Энгельгардта теперь можно было узнать такое, чего не узнали всеми ночными разведками,— странное положение, когда между как будто воюющими сторонами, с Главным штабом идут любезные телефонные разговоры: что правительства в Адмиралтействе нет, и нигде его вообще нет, оно не существует. Что Хабалов на ночь переходил в Зимний дворец, но туда приехал великий князь Михаил и вытеснил его назад в Адмиралтейство. Что у Хабалова 5 эскадронов, 4 роты, 2 батареи.

Такая откровенность была изумительна и подозрительна. Может быть по этим телефонам и Энгельгардт встречно был так же откровенен? Так и признавался, что у Таврического нет никакой охраны? Масловский всё жёлчней следил за Энгельгардтом, за Юревичем, за Ободовским — ещё этот инженер зачем, откуда, кто его звал? — уже несколько часов сидел тут. И шептал Масловский Филипповскому, что этой буржуазной публике верить никому нельзя, что зря они, советские, дали вырвать у себя руководство военными делами.

Впрочем, телефоны прекратились, с телефонной станцией случилась беда: барышни утром все разбежались. Об этом пришла и записка от Родзянки: для восстановления действия телефонной станции необходимо послать туда 1-2 автомобиля, чтобы собрать по домам барышень. Кроме того, надо убрать труп, лежащий в помещении станции.

Занять телефон и телеграф — это верно, не повторять ошибок Пятого года.

Так ли понимать, что Хабалов телефонную станцию уже не защищает? Ободовский посоветовал иначе: послать туда наряд электротехнического батальона, который и занял бы станцию и обслуживал бы её. Но увы, по случаю революции этот батальон тоже разбежался, и не легче было собрать его, чем снова барышень.

Теперь, днём, набирались ещё и ещё начальники, тут и думец Ржевский, и какой-то что ли князь Чиколини, и какой-то Иванов,— и все распоряжались, друг с другом не согласуя, и подписывались на распоряжениях, на случайных думских бланках, как придётся — то „председатель Военной комиссии", то „за председателя", то „комендант Таврического дворца", то „за коменданта", а Энгельгардт писал ещё: „начальник Петроградского гарнизона".

Послали распоряжение 2-му флотскому экипажу занять Зимний дворец и арестовать министров, если там найдут, и всяких агентов правительства.

А Масловский с Филипповским отдельно — придумали и послали несколько маленьких групп арестовывать министров по квартирам, не забыв и Штюрмера. Надо было спешить с делами истинно революционными! Мы ещё с этим царизмом повоюем.

А где-то — целые батальоны болтались без командования,— тот же и героический первый революционный Волынский: там же все офицеры сбежали ещё в самом начале, и никого не осталось. В 8.30 назначили из Таврического сразу двух прапорщиков, на равных правах,— вступить во временное командование Волынским батальоном. Но часу не прошло — появился из волынцев же штабс-капитан с претензией. И переназначили — его.

Главное было сейчас — уговаривать офицеров возвращаться в батальоны, без них не взять гарнизона в руки.

А в Измайловском батальоне после убийства офицеров творилось что-то бесконтрольное. И послали к ним большой наряд с приказанием: всё оружие выдать Военной комиссии. (Хорошо, если выдадут,— а если нет?)

Какие-то роты измайловцев были ещё и у Хабалова. Кому доверять?

* * *

Солдаты! Народ, вся Россия благодарит вас, восставших за правое дело свободы.

Солдаты! Некоторые из вас ещё колеблются присоединиться. Помните все ваше тяжелое житье в деревне, на фабриках, где всегда душило и давило вас правительство!

Солдаты! На крышах домов и в отдельных квартирах засели остатки полиции, черносотенцев и других негодяев. Старайтесь везде их немедленно снимать мертвой пулей, правильной атакой.

Солдаты! Не давайте разбивать магазины или грабить квартиры. Это не надо!

Службы и чести вашей никогда не забудет Россия.

Совет Рабочих Депутатов

* * *

176

Вчера вечером, уже выбежав благополучно из Зимнего, павловцы не бежали дальше, стали разбираться, особенно учебная команда. С нею и прапорщик Андрусов.

Шли себе в казармы. Но по дороге к павловцам выскакивали из толпы женщины, барышни, хватали солдат за руки, совали им и даже прикалывали куски красной материи.

И офицеры не смели кричать: отойдите! или — не берите!

Да зачем бы и кричать? Совершалось какое-то огромное перемещение людских настроений, и Андрусову даже радостно было. Он участвовал в чём-то неповторимом.

Но ещё необыкновенней вчерашний день закончился: у казарм учебной команды на Царицынской улице стояли рабочие и студенты с винтовками — и не пускали солдат в их собственные казармы, а велели им больше ходить по улицам.

И так изменились все порядки, что обескураженные солдаты не смели пробиваться, хотя им хотелось ужинать и лечь. А офицер тем более не смел подать им команды на то, молоденький офицер особенно чувствовал этот новый трепещущий воздух.

Да офицерам, кажется, вообще уже нечего было делать тут, при солдатах. И даже безопаснее — отделиться.

Такое нарастало ощущение неведомой опасности — даже лучше было бы им куда-нибудь скрыться, провалиться.

Тут же, на Царицынской, помещался офицерский лазарет — и кое-кто из офицеров-павловцев сумел переодеться в больничные халаты и лечь. И Андрусов даже позавидовал: какие же ловкачи.

Но вскоре кто-то из солдат бесприютной учебной команды попёрся в тот лазарет — и обнаружили своих здоровых офицеров. И был им позор.

В слоняньи Андрусов столкнулся с Костей Гриммом. И придумали они попроситься на ночь в квартиру своего интенданта — тут же, через два дома. (Идти через весь город офицерам было опасно от неизвестных чужих солдат.)

А тем временем узнали они, что солдаты ищут убить капитана Чистякова. У интенданта же узнали, что Чистяков прячется недалеко, у другого интенданта. И Гримм позвонил своим домашним — и предложил переправить Чистякова в штатском на Васильевский остров к своему отцу — известному либеральному члену Государственного Совета, там не тронут.

Но как ни переодевай капитана Чистякова — нельзя спрятать его приметной перевязанной руки, да и глаз его непримиримых не спрятать. Отказались.

Вадим Андрусов тоже звонил домой. Отец его, кадет, и мама были в восторге от происходящего: началось долгожданное освобождение народа! Осуществление вековой мечты получаем как подарок. Вот теперь-то и начнётся жизнь! теперь-то и начнётся порядок. Ни от какой перемены не может стать хуже, уже дальше терпеть было невозможно.

Вадим пожаловался им, что вблизи это всё не так удобно, не так приятно выглядит.

Но в нём самом возобновилось: и правда, в духе своей семьи и воспитания, почему ему не примкнуть к общей радости?

Ночью обсуждали с Костей — что же делать? Необычным образом входило в жизнь необычное — и почему же им не примкнуть к победе народа, которая так мечталась и ожидалась?

В молодом возрасте легки эти переходы. Есть в них продолжение спектакля, начавшегося вчера.

А на улице, под окнами, ещё поздно вечером бродили солдаты, всё не пускали их в казармы те вооружённые.

Утром проснулись, проверили своё настроение — да! И поднялись революционерами!

И прикололи к своим шинелям на грудь красные бутоньерки.

В ногах, в груди, в голове образовалась необычайная лёгкость, как будто к земле не притяжены. И разбирало созоровать. И чувствовалось так, что вот сейчас они могут что-то свободно-великое совершить и даже прославиться.

Но идти в таком виде к собственным солдатам в учебную команду было стеснительно, не могли. Тогда — пошли в походную роту, позавчера бунтовавшую раньше всех.

Там ещё спали.

Два прапорщика стали ходить по помещениям и кричать:

— Что спите? Подымайтесь! Революция!

Но и этого показалось мало, и просыпались вяло. И тогда Андрусов с Гриммом стали кричать — почему? как в голову пришло:

— Подымайсь! Царя больше нет!

А услышав такое — павловцы вскакивали с большим переполохом.

А потом смекнули, что значит теперь никого за бунт не накажут, и девятнадцать их арестованных судить не будут.

И — качали обоих прапорщиков. И становилось обоим всё веселей и несвязанней.

Пошли в собрание позавтракать. У некоторых молодых офицеров тоже уже были красные приколки — а старшие офицеры смотрели осудительно, да их почти не было.

И капитана Чистякова не было.

Тут явился бывший командир Гвардейского корпуса грузный генерал Безобразов — и в биллиардной стал поучать офицеров, что в случае вызова батальона на улицу надо не подпускать к себе толпу, а останавливать её сначала приказанием, а потом дать залп.

Всё это — дико звучало, из какого-то невозвратного времени. Не стала с ним офицерская молодёжь спорить, а — вставали и демонстративно выходили.

Потом Вадим и Костя пошли пешком в Таврический. Теперь они свободно могли двигаться среди незнакомой солдатской массы: на них видели красные бутоньерки, и их не обезоруживали, и приветствовали.

В Таврическом потолкались, нашли Военную комиссию. Там очень им обрадовались и сразу выписали распоряжения: Гримму — командовать своим же взводом павловцев, состоя при Государственной Думе. А Андрусову: вступить в командование нарядом павловцев, поставленным в Михайловском манеже.

Так они оба стали при деле, молодыми офицерами революции.

ДОКУМЕНТЫ – 2

ИЗ ДОНЕСЕНИЙ В ВОЕННУЮ КОМИССИЮ
(утро 28 февраля)

— Немедленно вышлите подкрепление 350 чел. на Лиговку, угол Чубарова переулка. Большая засада, действуют 6 (шесть) пулеметов.

/Карандашом помечено: не оправдалось/

— Санитары лазарета Зимнего дворца просят прислать отряд войск, чтоб арестовать скрывающихся там лиц... Дворец сейчас ни в чьей власти. Часовые сняты, но внутри еще сторонники старого правительства.

По поручению санитаров студент Р. Изе

— По близости Сената видны толпы пьяных, разграбивших гостиницу «Астория».

— Уг. Инженерной и Садовой плохо. Наших патрулей нет в этом районе.

— В городе все спокойно. Солдаты жалуются на холод и решили отправиться в казармы. Захвачены 18 бронированных автомобилей. На окраинах происходят разгромы магазинов.

— Освобожденные из Петроградской пересыльной тюрьмы просят указать место, куда б они могли прийти и получить как постель, так квартиру, пищу и оружие, а также пропуск.

Освобожденный политический Ульянский

— У Семеновских казарм много солдат. Не зная, что делать, просят руководителя. Все вооружены.

— Доношу, что у Зимнего дворца обстреливают из пулеметов. По сведениям, в Зимнем укрыт жандармский дивизион.

Прап. Шаблинский

— По поступившим сведениям, два подозрительных субъекта раздают воинским чинам спиртные напитки и распространяют заведомо ложные и тревожные слухи.

Член продовольств. комиссии (подпись)

— Поручено организовать охрану Арсенала, где будто бы идет разгром.

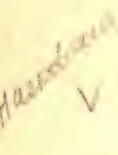
— Царскосельский вокзал изнутри заперт. Семеновцы с оркестром против Обуховской больницы стоят.

— Просят уг. Садовой и Инженерной немедленной помощи для усмирения пьяных солдат.

— Склад оружейных припасов разгружают и отправляют. Необходимо прекращение увоза снарядов. Могут через Лесное на лошадях увозить. Ждут войска из Финляндии.

1 запасного полка Кузьма

— По улицам разъезжают грузовые автомобили. Многие из них нагружены боевыми припасами. Необходимо командировать с особыми полномочиями для выяснения, куда и зачем ездят, и для приводки гуляющих автомобилей к Таврическому дворцу.



— ПРИКАЗАНИЕ. Вольноопределяющемуся Таирову Дмитрию и рядовому Маяковскому Владимиру произвести выборы представителей в военно-автомобильной школе, организовать ремонт машин.

Б. Энгельгардт, 11 ч. 30 м.

177

В кресле пересидевши ночь, не выспался Шульгин, и утром горяченького нечего было глотнуть, бездействовал разграбленный думский буфет. Но что-то заливало душу настроение Французской революции.

К этому сравнению легко было придти, оно у многих на уме было уже вчера вечером, но сегодня захлёстывало с новой силой. Из отдалённого хладнокровного читателя Шульгин был объят в соучастника — а может быть и в жертву? — тех, оказывается страшных, дней.

Что вчера! Вчерашняя вечерняя думская толкотня сегодня вспоминалась, пожалуй, как блаженная прореженность. Вчера только прорывались, а сегодня, уже не зная задержки, пёрла и пёрла через входную дверь чёрно-серо-бурая бессмысленная масса, вязкое человеческое повидло,— и бессмысленно радостно заливала всё пространство дворца, для своего здесь бессмысленного пребывания. Вчера потерянные солдаты по крайней мере искали тут ночного

крова, боялись возвращаться в казармы — но что сегодня? Все помещения, залы до последнего угла и даже комнаты захватывала, забирала, в движении и перемесе,— толпа, да тупая, просто сброд, задавливающий всякую разумную тут деятельность. Россия осталась без правительства, все области жизни требовали направления и вмешательства,— но членам думского Комитета не только не оставлялось возможности работать, а даже находить друг друга и просто передвигаться по зданию.

И обнаружил Шульгин, что у этой массы было как бы единое лицо, и довольно-таки животное.

И он живо узнавал, что всё это уже видел, читал об этом, но не участвовал сердцем: ведь это и было во Франции 128 лет назад! И когда в Екатерининском зале молодёжь в группках пыталась петь марсельезу, на русские слова и перевирая мотив,—

Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног,—

Шульгин слышал т у, первую, истинную марсельезу и её ужасные слова:

Берите оружие, граждане!
Вперёд! И пусть нечистая кровь
Заливает наши следы!

И ч ь я ж предполагалась та нечистая кровь? Уже тогда показано было, что королевским окружением не кончится.

А вот и у нас изорван в клочья императорский портрет.

Отвращение.

Десять лет позади думской трибуны висел огромный портрет Государя в полный рост, терпеливый свидетель всех речей и обструкций, но всё же символ устойчивости государства. И вдруг сегодня утром увидели: солдатскими штыками портрет разодрали — и клочья его свисали через золочёную раму.

И эти несколько наглых штыковых замахов вдруг поменяли всё восприятие: петроградский эпизод не только не возвращался в колею, а может быть и правда был великой революцией?

И ни весь думский Комитет, ни сам Родзянко не могли охранить портрета и ничего остановить.

И толкнуло Шульгина: как было в Киеве, всегда помнил он, 11 лет назад. Ворвалась в городскую думу толпа, там преимущественно евреи, тогда солдаты не бунтовали,— и так же рвали все портреты императоров, выкалывали им глаза. Какой-то рыжий студент-еврей пробил головой портрет Государя, носил на себе пробитое полотно и исступлённо кричал: „Теперь я — царь!'' А укреплённую на балконе царскую корону изломали, сорвали и бросили на мостовую, перед десятитысячной толпой.

В большом роскошном кабинете Родзянки ещё отсиживались от этого людского затопа, тут были все свои, тут можно было что-то и обсуждать.

Хотя ни к какому решению прийти невозможно. Понятно, что надо действовать, не дать анархии развиваться, но непонятно, что и как. Вторые сутки не переваривалось мозгами всё это огромное, что свалилось на их головы,— гораздо большее свалилось, чем они призывали, ждали, хотели.

Да — против кого действовать? И к о м у действовать? Как и правильно предупреждал их Шульгин — ломали, ломали копья во славу людей, облечённых доверием народа, достойных, честных, талантливых,— а где они есть? Во Временном Комитете — как будто верхушка Думы, а посмотреть — одна серятина, просто стыдно. Хорошо, это ещё Комитет, не правительство, но кого же такого талантливого и облечённого возьмут в правительство?

А на что годилась слоновья туша Родзянки? Такой, бывало, упрямый против самого Государя — вот не мог высадить из бюджетной комиссии каких-то самозванцев, проходимцев, совет невыбранных каких-то депутатов, захватывали здание самой Думы.

И в отличие от них всех, ощущая свою ещё молодость, тонкость, подвижность, себя — ещё киевским прапорщиком 11 лет назад,— Шульгин испытывал жажду отличиться от здешней невразумятицы, действовать.

И тут он услышал разговор, что звонили на рассвете из Петропавловской крепости, комендант выразил желание говорить с членами Государственной Думы — и вот всё ещё не послали никого. Услышал! — и в его романтической душе вся картина вдруг повернулась и переосветилась иначе: ведь если похоже на Французскую революцию, то ведь и в *этом* похоже! Петропавловская крепость — это же Бастилия! И у этой отвратительной толпы вот-вот зародится мысль — брать Петропавловскую крепость штурмом! освобождать может быть несуществующих или немногих там узников и казнить комендантскую службу. Так надо успеть деятельно предотвратить этот ужас!

Вот и пригодилось, что он тут ночевал, не зря мучился в кресле. И стал предлагать Родзянке и всем в Комитете, чтобы послали — его. Спешил убедить, боялся, что пошлют не его. Но все были так заморочены, что даже не оценивали важности шага,— кивнули охотно, хорошо, что доброволец есть.

Выскочил на бодрый морозец, не достегнувшись.

Прежде вот так поехать по городу — ему бы никак не достать автомобиля. А сейчас — в одну минуту подавали. Кажется — четверть автомобилей Петрограда стояла перед Таврическим, дожидая чести везти кого-нибудь. (А остальные три четверти гоняли по городу со стрельбой и криками.)

Но подавали — с красным флажком и с торчащими штыками: ни крохотное местечко, где только можно было уцепиться, не оставалось без солдата со штыком. И вот уже открывал Шульгину дверцу какой-то расторопный офицер со снятыми погонами, приставленный от Военной комиссии.

И знаменитый монархист Шульгин сам не заметил, как поехал под красным флагом брать Петропавловскую крепость.

Не поехал бы, если бы не величие задачи и не аналогии. Но вся Французская революция раскатилась из-за штурма Бастилии. Успеть предотвратить такое несчастное развитие. Политических — выпустить на глазах толпы и показать ей пустые камеры.

Шульгин не узнавал улиц — такие необычные фигуры, со множеством красных пятен от бантов и повязок, необычное движение. По Шпалерной не шли, но валили к Думе. Просто множество вооружённых людей, военных и невоенных, безо всякого строя пешком, и на грузовиках.

Окружной Суд ещё всё пышел — раскалённые развалины, пепел, дымки от залитого. Погода была ясная, морозно-солнечная, и с Французской набережной открылась сверкающим снегом Нева, кое-где переходимая чёрными фигурками.

А с Троицкого моста — долгая многоскладная серая крепостная стена Петропавловки с куполами собора и вознесенным бессмертным золотым шпилем колокольни. И императорский штандарт на одной башне, чёрный орёл на жёлтом поле: династия — спит здесь.

Великий миг. Билось сердце.

За мостом уже виделся неподалёку, голубел купол мечети. На открытом месте, по пути к крепости, густился митинг, и студент с грузовика выкрикивал о свободе, свободе, свободе,— и все слушали как долгожданное.

Но по мостику, ведущему через канал к крепости, не шли. По ту сторону — парные часовые.

А возле них — дожидающийся офицер. И не успел спутник Шульгина помахать носовым платком — как офицер уже спешил навстречу:

— Как хорошо, что вы приехали! мы вас так ждём! Пожалуйте, комендант вас ждёт!

Тут их догнал от толпы — опять в офицерской шинели, а без погонов... Не было места, но и он пристроился на подножке меж революционными солдатами.

Часовые глазели.

Въехали в наружные ворота. Проехали под сводом Петровских.

У собора развернулись — и подъехали к обер-комендантскому дому.

Внутри — темно, узко, старинная постройка.

Наконец и комендант, генерал-адъютант, изувешан орденами, но не слишком боевого вида, скорей рыхл. И с ним несколько офицеров. Все беспокойны.

Шульгин, узкий, стройный, представился приятным тоном, что он — член Государственной Думы и — от Комитета Государственной Думы.

И старый генерал в волнении, совсем теряя осанистое достоинство службы и чина, убеждал молодого депутата с острым взглядом и острыми усиками:

— Господин депутат... Пожалуйста, не подумайте, что мы против Государственной Думы. Наоборот, мы очень рады, что в такое опасное время есть хоть какая-то власть... Мы отклонили пригласить сюда отряд генерала Хабалова... Но как смотрит Государственная Дума? Разве то, что находится в Петропавловской крепости, не должно быть охранено? У нас — драгоценный собор. У нас — усыпальница всей династии. Монетный двор. Наконец, арсенал. Невозможно же, чтобы толпа сюда ворвалась! — и что же могут наделать? Какое бы правительство ни было — но оно будет это охранять. И наш долг присяги — охранять, мы не можем впустить...

Простые ясные соображения. А в Комитете не об этом думали, а только: присоединить Петропавловку к народу!

Но Шульгин имел довольно смелости и не довольно над собою контроля, чтоб ответить уверенно:

— Ваше превосходительство! Не извольте трудиться доказывать то, что ясно каждому здравомыслящему человеку. Поскольку вы признали власть Государственной Думы, а это главное,— то я от имени Государственной Думы подтверждаю вам и даже лично настаиваю: что крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало!

Генерал просветлел, приободрился, благодарил:

— Спасибо, господин депутат. Теперь мы спокойны и знаем, чего держаться. Но не могли бы вы оставить нам это в виде письменного приказа? Быть может нам придётся предъявлять, доказывать...

Смелость Шульгина не имела границ, он тут же сел к столу и написал такой приказ коменданту крепости: охранять её всеми имеющимися силами и не допускать никакого вторжения посторонних.

Однако тут и высказал свою нетерпеливую мысль, с которой едва удержался не начать при входе: отчего погибла Бастилия. Надо публично выпустить политических — и показать пустые камеры представителям внешней толпы.

Генерал с офицером удивились: какие политические?! Тут вообще никаких узников нет совсем.

Облегчённо удивился Шульгин: совсем нет узников?! Но — так считается всеми, что есть, так все полагают. Вся эта грозная крепость средь города со страшной её памятью — не заключала ни единого узника??

Кроме тех девятнадцати мятежных солдат-павловцев, приведенных позапрошлой ночью. И комендант сам рад их выпустить, не знает, что с ними делать.

— Так неужели же ни одного политического?!

Ни одного! Ещё был — генерал Сухомлинов, военный министр. Но и он освобождён поздней осенью.

— Неужели так-таки все камеры и пусты?

— Все. Вы можете убедиться.

Девятнадцать павловцев генерал готов был выпустить сию же минуту. Но вот показывать камеры делегатам из толпы он считал унизительным и невозможным, даже для самого младшего своего офицера.

И у Шульгина не хватило настойчивости убедить.

Тем временем старший офицер просил его сказать речь гарнизону крепости: что Государственная Дума требует исполнения дисциплины.

Что ж, можно.

На обширном дворе близ колокольни, там, где расчищен снег, было выстроено несколько сот солдат, в полукарре. Что-то много.

И только тут догадался Шульгин: офицеры боялись не внешнего приступа, но именно этих, собственных солдат. Правда, неуютно быть в запертой крепости с непонятными солдатами, в такое время.

Щурились при ярком свете на Шульгина солдаты. И он на них щурился. И сейчас не показались они ему такими тупыми и безнадежными, как те в Таврическом. И оказалось совсем не трудно говорить речь перед безответным

строем, без других перебивающих ораторов. Звучал только его одинокий высокий не сильный голос.

Он напоминал, что идёт война. Что немец только и подстерегает, чтобы на нас кинуться. И если чуть ослабеем — он сметёт наши заслоны, и вместо свободы, о которой мы все мечтаем, получим немца на шею. Армия же держится дисциплиной, и надо повиноваться своим начальникам. Ваши офицеры в полном согласии с Государственной Думой, и я отдал им приказ: защищать крепость во что бы то ни стало!

(Хорошо прозвучало: „я отдал приказ!". Ах, что делает революция!)

Кто-то крикнул:

— Ура *товарищу* Шульгину!

Уже и сюда проникло.

Но громкого единого „ура" не разразилось.

Попрощался с офицерами — и в автомобиль. Крепость спасена!

(Ах, упустил подхватить ещё одно яркое впечатление: посмотреть Трубецкой бастион! Уж так торопился в Таврический, казалось надо присутствовать там.)

На подножку опять вскочил тот делегат толпы, офицерская шинель без погонов.

За мостком он с подножки автомобиля держал речь к толпе — что Петропавловская крепость тоже за свободу.

И толпа кричала „ура!".

Тут же подъехали грузовики со многими штыками и щёлкая затворами: почему Петропавловская крепость не поднимает красного флага? Грозили открыть военные действия.

Сопровождающий перепрыгнул туда, на их мотор, и кричал, что вот член Государственной Думы, и уже обратил крепость за свободу и народ. Да сейчас поднимут и красный флаг, просто не успели!

А Шульгин укатывал — снова через Троицкий мост, и по набережной. И по той же взбаламученной, вооружённой Шпалерной.

Перед дворцом толпа стала ещё больше и гуще. Мешались воинские строи. Что творилось, что творилось!

Кое-как пробивался, пробивался через вестибюль, через внутреннюю толчею — в кабинет Родзянки. После всей этой дичи счастье оказаться среди своих: прежде — чужие депутаты, как сослуживцы, теперь — друзья, которые жили когда-то вместе со мною на одной хорошо устроенной планете.

Тут слушали его рассказ со вниманием и одобрением.

А непроницаемый Некрасов с неподвижным взглядом, из-под неподвижных, как наложенных, усов вдруг выразил:

— Вот хорошо. Теперь из Петропавловки да запалить бы Адмиралтейство. Кинуть туда снарядов дюжину.

Шульгин обернулся резко, как укушенный. Здесь — он такого не ждал.

— Как? Мы, Дума, слава Богу, ведь не делаем революции?

И поворачивался дальше, дальше, по Шидловскому, Коновалову, Ржевскому, самому Родзянке.

Но никто не мог его поддержать, потому что никто уже и сам не понимал.

А Некрасов, вчера на частном совещании требовавший военной диктатуры против беспорядков, теперь возразил невозмутимо, не вспыхнули синие глаза, не вспрыгнул голос:

— А — что же мы делаем? Мы и захватили власть.

— Позвольте, господа, я ничего не понимаю! — звонко надорванно вскричал Шульгин.— Мы были против министров — но когда же мы стали против русских военных властей!

* * *

Отступление невозможно. Или свобода или смерть. Враг беспощаден. Только путем революционной борьбы, а не погромами и пьянством будет достигнута желанная цель народа.

Что нужно делать теперь солдату? Захватить в свои руки все телеграфы, телефонную сеть, вокзалы, электрические станции, Государственный банк и министерства. Не расходитесь по казармам, ждите листков! Да здравствует вторая революция!

Петербургский Межрайонный Комитет РСДРП
Петербургский Комитет Социалистов-Революционеров

* * *

178

Хотя и поспавши часа два, генерал Хабалов с утра соображал ещё меньше, чем вчера, совсем отупела его голова.

За все революционные сутки, если не считать пропавшего отряда Кутепова, подчинённые ему войска не совершили ни одного нападения, ни одного боевого передвижения, даже пожалуй ни одного выстрела, не испытали, не отбили ни одной атаки, оттого не имели ни одного раненого, ни одного убитого,— но тем не менее они потеряли всю силу, весь дух, да и заметно уменьшились в числе. Сутки назад это была единственная военная сила в столице и считалась её хозяином. Сегодня она стянулась в обречённый островок, адмиралтейский прямоугольник, из которого чуть не каждый и чуть ли не сам командующий только и думали теперь, как бы им сбежать.

Тяжельников, с тех пор как отклонили его совет пробиваться из города, тоже ничего не мог понять и предложить.

С утра их забота стала — как бы раздобыть еды и фуража да накормить их боевой состав и лошадей. И патронов по-прежнему мало. Хабалов звонил в разные районы города, прося командиров воинских частей и учреждений прислать ему подкреплений, продовольствия, патронов,— но отовсюду получал отказ, и круче чем вчера. Он уже для всех стал заклятым клиентом.

Потом вдруг исчезла городская телефонная связь. Это значило, что телефонная станция перешла в руки мятежников. А это — отсюда два квартала.

Случайно достали немного хлеба, раздали части нижних чинов.

Лошади были не только без сена, но и без воды: из кранов поить неудобно, вёдер нет и носить далеко. Понурённые, они стояли во дворах.

Отпустили казачью сотню на водопой в казармы Конного полка. Туда прошли благополучно, но назад по ним стреляли и убили двух лошадей.

Залетали и шальные пули, с верхних этажей зданий по Адмиралтейскому проспекту, убили ещё двух лошадей. Адмиралтейство на выстрелы не отвечало.

А атаки — не было ниоткуда, да и наступающего противника. Может быть увидеть его — было бы даже и легче. Пулемёты занимали для обстрела углы второго этажа, орудия стояли против ворот на Дворцовую площадь — однако делать им было нечего.

Но хотя город замолк, онемел, с ним не осталось связи — сохранился телефон дворцовой линии и телеграфная линия со Ставкой: главный аппарат был в Главном штабе, наискосок, но в Адмиралтействе отвод. И пользуясь этой линией, Хабалов утром телеграфировал Алексееву в Ставку, что положение трудно до чрезвычайности, верных долгу осталось пехоты человек 600, всадников 500, при 15 пулемётах, всего 12 орудий и только 80 снарядов.

Тем же телеграфом пришёл очень приободривший запрос генерала Иванова из многих пунктов. Там подтверждался предполагаемый приезд Иванова со многими войсками. Хабалов с радостью готовил ответ на все вопросы, уж он не знал, как дождаться этого блаженного часа, чтобы передать ответственность, а потом, может, и само командование над опостылевшим ему, не принявшим его, враждебным неохватимым Петроградом. (Как бы он мечтал снова уехать в своё Уральское казачье войско!)

Всего-то дождаться надо было одни сутки.

Но как их дождаться, если за минувшие сутки потеряна целая столица?..

Ещё в этом же громадном здании где-то пребывал в своей казённой квартире больной морской министр Григорович. Но нельзя было прибегнуть к помо-

щи его или совету: он со вчерашнего дня ни разу не потрудился прийти, не сделал ни одного доброго жеста к войскам Хабалова, только через служащих стеснял их в помещениях, и ещё спасибо, что пускал к прямому проводу.

Вокруг Хабалова было очень много старших офицеров — неизмеримо больше, чем требовалось по этим войскам. И так ему ни разу не пришлось самому пройти к войскам, посмотреть или обратиться. И офицеры не докладывали ему, но своим унылым видом, малословием, бездействием передавали, какая потерянность овладела последней горсточкой верных.

Они, младшие офицеры и солдаты, были верны, верны, но не могли же не видеть, что их командование совсем не знает, что делать, и только слоняется из здания в здание, отвсюду гонимое. А о самом правительстве было известно, что оно разбежалось. Дух бессмыслицы и бездействия растлевал хуже голода и беспатронности. За эти сутки весь город перекинулся в победный мятеж — и каждый час оттяжки, который они тут перебывали, никому не принося защиты и пользы, грозил каждому здесь расправой или карой от мятежа.

Дошло до немыслимого: хорошие офицеры-измайловцы приходили к своему полковнику и отпрашивались уйти вовсе.

А другие гвардейские офицеры спрашивали у генерала Занкевича, не найдёт ли он возможным войти в контакт с думским Комитетом, как это, по слухам, уже сделали офицеры Преображенского полка.

В этом была особая странность и бесцельность военных действий: непонятен был противник, где он, кто? Кроме хабаловского отряда, ещё в столице оставалась только Государственная Дума, но не она же могла быть противником? Отчего не сговориться с Думою? Офицерам-то более всего было непонятно: разве это противоречит присяге?

Занкевич не нашёлся ответить. (Он сам про себя и для себя обдумывал то же самое.)

Только артиллерийский полковник Потехин, тот на костылях командир батареи, начал на лестнице говорить малой кучке солдат — а тут их собралось больше, больше, все хотели послушать, ведь никто ничего не объяснял! — и, с костылей, он приободривал громко и внятно на всю сумрачную лестницу:

— Не падайте духом, солдаты! Не смотрите, что город захвачен мятежными бандами, и не ослабляйтесь! Это — временное помрачение мозгов тыловых людей,— и погибла бы Россия, если б оно потекло дальше. Но Россия не с ними, а с нами! Она вся на фронте и противостоит врагу. Этот мятеж — лучшая помощь немцам. Не падайте духом, перенесите лишения, на фронте бывает и тяжелей,— мы достоимся до своего!

Слова его, кажется, успешно ложились. Никто не возражал. Однако никто из офицеров не добавил больше. Постояли — и стали расходиться. Ещё неся сказанное. Или уже роняя.

Но каково во всех этих обстоятельствах было военному министру Беляеву, попавшему в такую гибельную ловушку? Как жалел он, что вчера вечером при стрельбе на Мойке покинул свой довмин,— с тех пор он звонил туда и соединялся по военному проводу несколько раз, и убедился, что дом не разграблен и никто не приходил, вполне безопасно мог бы и остаться. А теперь его положение было — между молотом и наковальней. Победят мятежники — они не простят ему присутствия здесь, среди хабаловских остатков. (Кто-то из преображенцев телефонировал, что ночью они получили приказ наступать на отряд Хабалова. А из окон уже было видно, что там, сям собираются группы вооружённых штатских и солдат.) Прийдут войска Государя — ему не будет прощён побег отсюда. А спрашивается — почему он вообще должен встревать в эту историю? Ведь вот же Григорович, правда, придумав болезнь, устроился: сидит как бы в своём министерстве, занимается как бы морским делом? Так и Беляев с Занкевичем (они обменялись мыслями) — вот тут, наискосок, в ста саженях, сидели бы у себя в Главном штабе, руководили бы военным делом, и их совершенно не касается, кто тут с кем в Петрограде воюет. Разве революция — против военных людей?

И Беляев, когда появлялся телефон, звонил снова Родзянке, очень рассчитывая, что эти отношения помогут ему с одной стороны. Но тот не обрадовал:

он не ручается, чтó сделает разгневанная толпа с отрядом Хабалова. Очень советует прекратить сопротивление и распустить войска.

Однако, это было не в распоряжении Беляева.

Однако, уж попав сюда, надо было во всяком случае хорошо отметиться перед начальством: начальство продолжало существовать, вон слало экспедиционный корпус. И он решил, пока работает провод, слать туда донесения.

Но — что было в донесении выразить? Невозможно же передать весь этот ужас и эту обречённость. И можно прослыть паникёром. Осторожней выразиться так:

...Положение по-прежнему тревожное. Мятежники овладели важнейшими учреждениями, так что сколько-нибудь нормальное течение жизни государственных установлений прекратилось...

А затем уже прямо: ...Войска бросают оружие, переходят на сторону мятежников или становятся нейтральными. Скорейшее прибытие войск крайне желательно, до прибытия их мятеж и беспорядки будут только увеличиваться...

Да уж скорей присылали бы, что они тянут!

179

На квартире Павловых рано утром совали Шляпникову в руки проект большевицкого Манифеста. Шляпникову это понравилось, втайне ото всех партий — да выскочить первыми с Манифестом „Ко всем гражданам России",— и выкусьте! Вооружимся отдельно! Межрайонцы с эсерами уже успели тиснуть листовку — а мы целый Манифест! Должен бы Ленин похвалить.

Эх, перебежал Матвейка Рысс к межрайонцам,— вот было перо! Как-то умел он грозно писать, аж пожар по строкам,— и для врагов уничтожительно, и для нас ободряюще.

Ну ладно, мы и без тебя.

На этом манифесте уже и писали, и вычёркивали, кто только чего не городил со вчерашнего вечера. И заново переписывали. А до сих пор — не чист и не готов.

Ох, самая невытягательная работа — писать публичный документ, да когда времени не остаётся. Уж тут не до красоты слога, но какой-нибудь важный лозунг не исказить. А ошибиться очень просто, на самом ровном месте, политические формулировки — они как туман переползают, края не найдёшь. Как будто, вот, в руках держал — а опять ускользнуло.

Тут надо такой лозунг вжарить, чтобы всех аж по пяткам ожгло!

Спорили: вставлять ли в Манифест — Совет рабочих депутатов? Шляпников поднатужился, подумал: а что этот Совет депутатов? — он уже и так есть, вчерашний день, и там у нас не большинство, и не будет. А огорошить надо: во главе республиканского строя — значит, царя по шапке! — да создать революционное правительство! (А с нашим оружием мы в нём и погуще засядем.)

Ребятам понравилось. Молотов поправил: всё же — временное правительство. Ну, пусть „временное революционное".

Тут надо такие слова двинуть в сознание масс, чтоб никому их назад не вырвать, чтобы повернуть нелегко. А слюнтяй этот Молотов хоть ему на неделю дай мусолить — никогда не кончит.

Да и ребята там у мотора замёрзли. Если ещё шофёр военного министра не сбежал.

Ладно, поехали! — там, в Таврическом, перед заседанием доработаем.

Обошли самокатчиков крюком. Ничего, народ ходит, стрельбы нет. А не сдаются самокатчики, во упрямые! И что им в этом царском режиме? Во, как мозги людям забивают.

До Литейного моста только красное видели на людях. А пересекли мост — какие-то ещё белые повязки на рукавах. Это — кто такие? Мол, городская милиция. Не-ет, это не наша сила.

Шпалерная сильно запружена: и туда и сюда валят солдаты без строя и вооружённые рабочие. Гудят автомобили, рычат грузовики.

А план у Шляпникова вот какой: создалась у Совета своя газета, и типографию захватил наш человек — Бонч-Бруевич. Из Таврического теперь сразу Шляпников ему позвонил по телефону — и тот обещал катнуть большевицкий манифест сегодня же днём, отдельным выпуском газеты. И никому ни гугу.

Вот так, Вячеслав, дела делаются! Всех обскачем!

Только с текстом торопит. Пошли в какую-нибудь комнату.

Комнат много, а пустых нет. Да никто не знает в лицо членов большевицкого ЦК, вниманья не обращает. В многолюдьи затесались на диванчике в стороне, на коленях читали, и карандашом правили и доспаривали.

Благоденствие царской шайки... построенное на костях народа...— это хорошо, пусть так. Революционный пролетариат должен спасти страну от окончательной гибели, которую приготовило ей царское правительство...— тоже правильно. Но уже и неправильно. Надо чувствовать, как перетекает момент. Со вчерашнего дня солдаты с нами, и надо их не обижать, а привлекать в единые ряды. Значит, надо написать: не только пролетариат, но и революционная армия. Та-ак... Стряхнул с себя вековое рабство...— это не помешает. ...Временное Революционное Правительство во главе республиканского строя...— ай, хорошо, по всем зайцам сразу! И скажу Бончу, чтоб он на эту фразу не пожалел типографской краски. Верно, мы не указываем, как то правительство создавать. А это — долго думать, да и — кто раньше захватит. Наше дело: все права и вольности, конфискация всех земель, 8-часовой день, Учредительное собрание,— ничего не пропустили? Вот так программы и пишутся, Вячеслав: смело, с плеча, имей в виду.

А ещё: все продовольственные запасы к о н ф и с к о в а т ь, очень просто! Когда всё конфискуем — тогда и распределять, а иначе — что же распределять?

Гидра реакции...— это хорошо. ...Победить противонародные контрреволюционные замыслия...— это правильно.

А вот по военному вопросу — надо за горло брать. Не-ет, это слабо написано, это мямленье: пролетариат не одобряет войны, не хочет захватов. Не-ет!

Но и прямо „долой войну" — рабочие многие отшатнутся.

А вот как: революционному правительству войти в сношения с пролетариатом воюющих стран, понимаешь? Не с правительствами, а через их головы — с пролетариатом! Каким путём правительство будет делать — нас не касается, наше дело дать программу — чтоб дух захватывало!..

И что ещё непременно вставить: что революционное правительство надо немедленно же и выбирать. От фабрик, от заводов, от восставших войск. Лозунг!

И добавить, что: п о в с е й Р о с с и и! По всей России поднимается красное знамя восстания. Неважно, что сегодня нет,— завтра будет. Для того и пишем, чтобы было. По всей России берите в свои руки дело свободы! свергайте царских холопов! зовите солдат на борьбу с царской властью! Да прямо даже так: по всем городам и сёлам создавайте правительства революционного народа!

Сильно получилось. Во громыхнёт! Так ожечь, чтоб никому возврату не было! — вот это по-нашему.

Подпись конечно: Центральный Комитет Российской Социал-Демократической партии. Кто там ещё разберётся, что и комитетов несколько, и социал-демократических партий несколько,— а вот мы первые, как единственные!

Разберёт Бонч? Очки наденет — разберёт.

180

Как привыкает фронтовой человек спать даже под разрывами снарядов, так и Кутепов эту ночь крепко спал в угрожаемом доме, куда могли ворваться всякую минуту и требовать крови его. И только проснувшись довольно поздно, вспомнил он опасность, и все старания минувшего дня, и всю бесцельность их.

Стало горько.

О самом себе он всегда почему-то предчувствовал, что кончит роково, не просто его убьют на войне, но каким-то роковым образом — вот, очевидно, как

могли вчера, как могут сегодня. Но он ума не мог приложить, что случилось за один день со всею петроградской властью, как она рухнула.

Что запасные батальоны были дрянь, а не гвардия, это ясно. Да по принципу экономии, чтоб далеко не перевозить, набрали здешних рабочих (а к ним листовки носят), да чухны из окрестностей, да лавочников, домовладельцев, белобилетников — маменькиных сынков, кто до сих пор уклонялся. Они развешивают уши к леченым раненым, об ураганном огне, о газах, и одного бы им только — не попасть на фронт. А офицеры все — проходные, они и солдат не успевают запомнить, не то чтобы знать, чем их головы забиты.

Но чтоб у власти не оказалось вообще ни единой опоры и она могла в один день разбежаться, не имея противу себя никаких сплочённых сил? — этого он не мог постичь.

Александр Павлович подошёл к окну своей небольшой комнаты и осторожно высматривал. Видел кусок Литейного проспекта, сад Собрания Армии и Флота и угол Кирочной улицы. Движение было необычное, много вооружённых возбуждённых людей, все с красными признаками. Одна группа неподвижно стояла прямо против дома Мусина-Пушкина, глаз не спуская с его окон и дверей. Вероятно, такая же была и против чёрных ворот.

И всё-таки он не жалел, что вчера отказался переодеваться в солдатское. Сама смерть всегда должна быть достойной, в этом офицерское предназначение.

За чаем ему рассказали несомненные сведения: что правительство разбежалось, Протопопов спрятался в Царском Селе; что полицейских всюду убивают или ведут арестованными в Думу; что старой власти не осталось совсем никакой, даже и военной, и никто не знает ни одного случая сопротивления революции, кроме вчерашних действий его отряда.

Это не вмещалось.

Утром хозяева лазарета хотели продолжить телефонный сбор сведений, но телефон замолчал. Пожалел Кутепов, что не успел позвонить сёстрам, но вчера дал им знать, где он есть.

Наблюдали в окна. Пикеты были напряжены и сторожили все выходы. Хозяева дома очень волновались — из-за присутствия Кутепова, хотя старались этого не показать.

Вдруг, они видели, из-за угла Кирочной вывернули два броневика и два грузовика. Все они были наполнены вооружёнными рабочими. Машины остановились на проезжей части Литейного, рабочие соскакивали, кричали и друг другу показывали на окна. К ним притягивались и рабочие, гуляющие по Литейному.

С броневиков они подняли стволы пулемётов на окна дома — и гурьбой повалили к главному подъезду.

Хозяева заметались. Не открыть было невозможно. Старшая сестра милосердия вбежала и стала уговаривать Кутепова надеть халат санитара, иначе его убьют.

Но и сейчас этот спасительный маскарад был Кутепову противен.

Он просил хозяев отпирать, о нём же говорить, что ничего не знают. И оставить его совсем одного. (Потом сообразил: это странно и невозможно, чтоб они не знали о присутствии нераненого полковника в форме. Он очень неловко поставил их.)

Тут была небольшая угловая гостиная с дверьми в соседних стенах, одна дверь выводила к анфиладе по Литейному, другая к поперечной, и против каждой двери большое зеркало, так что идущий издали видел себя. Эта комната привлекла Кутепова, и он решил дожидаться новой власти здесь. В глухом углу между дверьми был стул, и он сел на него, оставив обе двери нараспашку.

И отсюда увидел в каждое из зеркал, как по каждой из анфилад бежал, приближался рабочий с револьвером в руке. Они настолько были похожи, сходностью роста, типа, и чернотою одежды, и красной розеткой на левой стороне груди, что сперва ему померещилось, что один есть отражение другого, потом сообразил, так быть не может.

Ещё потом сообразил, что если он их видит из угла, то и они каждый уже видят его в углу. Но не приподнялся им навстречу.

А случилось иначе: они не видели. Верней, они были, наверное, заворожены своим собственным страшным видом, вряд ли они имели привычку к большим зеркалам. И ещё было яркое солнце в окна. А ещё случилось так, что они стали в дверях ни на секунду раньше один другого, а только одновременно — и чуть головы повернув, увидели друг друга с выставленным револьвером, и что каждый исчерпал свой бег, дойдя до этой пустой комнаты. Если б один появился немного раньше — он имел бы время осмотреть комнату.

Не теряя времени, они так же одновременно повернули и поспешили своей прежней дорогой, показывая теперь в зеркала свои такие же схожие спины, уже без красного.

Они удалились — Кутепов перекрестился. Это было то, что называется простое Божье чудо. Бог просто отвёл им глаза. Значит, Кутепов ещё на что-то предназначался.

Обыск в доме продолжался, проверяли санитаров и раненых, но сюда к нему никто уже более не пришёл — кроме, через полчаса, самих облегчённых хозяев. Они были не только облегчены, но уже и гордились, что сумели сохранить полковника.

На чердаке обыскивающие нашли сложенное вчера отрядом оружие, долго носили его к себе в грузовики — но раненых не тронули. И уехали опять по Кирочной — вероятно, хвастаться в Государственную Думу.

И — сняли все патрули против дома.

Опоминались после пережитого, все оживлённо рассказывали, кто чему был свидетель и как подумал. Изумлялись спасению полковника.

Кутепов просил у хозяев извинения за всё, но пока хотел бы ещё остаться здесь немного.

Тем временем с Литейного раздалась военная музыка. Кутепов осторожно подошёл к окну и изумился, увидев не какое-нибудь чужое, но своё преображенское знамя, и преображенскую форму на солдатах.

И они с Литейного поворачивали тоже на Кирочную, тоже, стало быть, к Думе.

Ещё это наказание, укор, унижение родного полка должен был он испытать!

Тяжело было смотреть.

Но он знал, что настоящий Преображенский полк, и настоящая армия, и настоящие люди — все на фронте, и скоро, скоро, с часу на час они всю эту нечисть разгонят.

Но самое примечательное и удивительное было — что запасной батальон шёл без единого офицера. Батальон вели четыре унтера, подпрапорщики, и одного из них, Умрилова, Кутепов легко узнал. Офицеров, которые как раз так были настроены за Думу, как раз и не было ни одного. Что ж это значило?

А впрочем, заметил он, что идёт батальон вовсе неплохо. Неплохо.

181

Жил Родзянко от Думы совсем близко, переезд короткий. Хоть и неполная, но получилась ночь, поспал крепко, проснулся часов около девяти вполне свежий. И представились ему сразу цельной картиной все события предшествующего дня и собственное богатырское поведение. И ещё раз, посвежу, удивился он тому и другому.

Раскаивался ли он, что принял власть? Нет, его вершинное положение не давало выбора. В революционной обстановке ещё более, чем в мирной, он естественно становился высшим арбитром.

И совесть верноподданного тоже была в нём чиста: его вынудили обстоятельства и упорство известных лиц, не желавших уступить вовремя и подобру. Это они и создали все гибельные обстоятельства, а Родзянко только спасал Россию.

Правда, очень необычно было это новое состояние — власти, принятой без ведома Государя. Но — он ведь телеграфировал Государю! Зачем же Государь не отозвался?!

Эти две телеграммы в воскресенье вечером и в понедельник утром — его оправдание. А теперь, когда власть уже взята,— теперь что ж остаётся? Теперь остаётся только решительно идти вперёд — к укреплению этой власти. К отстоянию её и перед Государем, и перед революционной анархией.

А это — равновесие трудное. Тут — бушует толпа. А оттуда шлют восемь полков на Петроград. А надо — сбалансировать.

Против идущих полков Председатель ещё может предпринять телеграфные, телефонные попытки, чтоб их остановить.

Да Родзянко — отнюдь не бунтовщик против трона! Он не только не хотел сотрясать саму монархию — он спасал её!

А получилось, что своим полуночным решением невольно вступил как бы в противостояние Верховной власти, да...

Надо вот что, сообразил он за утренним завтраком: надо продолжать поддерживать прочную связь с Главнокомандующими. Как благоприятны были ответы Брусилова и Рузского, как вовремя пришлись, надо эту связь продолжать! Надо поспешить послать циркулярную телеграмму всем Главнокомандующим фронтами и флотами: что Временный Комитет Государственной Думы был просто вынужден принять правительственную власть из-за того, что весь состав бывшего совета министров сам устранился от управления. Вполне естественный шаг, а кто бы придумал лучше? Генералы заботятся, как бы не сорвались военные усилия, и их надо заверить, что Думский Комитет — их вернейший в том союзник.

И таким образом для них самих станет бессмысленно посылать войска на Петроград. Да, верный путь!

Конечно, посылка прямых телеграмм Главнокомандующим, обходя Верховного, была игнорированием военной субординации. Но Родзянко сейчас не состоял на военной службе.

С такими мыслями, ясными, но и тревожными, но и в отличном телесном самочувствии, Родзянко на автомобиле подъехал к Таврическому и хотел, чтоб его подвезли к самому подъезду. Но нельзя сказать, чтобы здешнее столпотворение узнало в нём хозяина дома или ждало его. Толпа и автомобили стояли густо и поперёк, жили своим возбуждением и перемещениями, и крик шофёра, что это — мотор Председателя Государственной Думы, не произвёл слишком большого впечатления. Ещё проехали несколько — пришлось слезть и просто проталкиваться.

Может быть для Щегловитова это и выход — что он заперт, и тем защищён. Иначе б его разорвали, а так он надёжно спрятан. Ничего, пересидит несколько дней — выпустим.

А внутренность своего дворца Председатель тем менее узнавал. У стен вестибюля и Купольного зала соштабелёваны мешки, бочки и ящики — в том неприятном чувстве, как если бы дворец был уже осаждаем. Очень много сновало солдат безо всякого строя и лада, и всяких оживлённых подозрительных штатских лиц, особенно шустрой молодёжи. Всё это двигалось, чем-то было занято — и тоже никто из них не прерывался, не останавливался, не отодвигался, чтобы почтительно пропустить Председателя Думы. Такое было нашествие чужих лиц, что саму Думу трудно узнать. Уж Родзянко не углублялся дальше в Екатерининский зал и, конечно, не пошёл в правое крыло, со вчерашнего дня всё более оккупированное этим Советом их депутатов,— но в левое, где думцы ещё обитали, хоть и в скученности, но отстаивая несколько главных комнат. И среди них — кабинет самого Председателя, оазис размышления.

Достиг Родзянко своего председательского стола — и содвинулось сразу со всех сторон, что и под утро не замирали события и тревоги, и пожелания лиц.

Самое неприятное было, остро ударило Председателя: в Белом зале заседаний неизвестные изорвали штыками большой портрет Государя!

Как будто самого Родзянко кольнули под вздох! Большой портрет Государя, паривший над залом, за спиной Родзянко! Очень не по себе.

И даже пойти посмотреть своими глазами он не решился: увидят все, что пришёл Председатель, и что же? и почему не грянет гром?.. А что он мог сделать против этой бешеной толпы?

И тут же известие: под утро Государь выехал из Ставки и движется в сторону Петрограда! Как будто узнал о портрете — и ехал карать.

Стать во главе своих восьми полков?

Грозные тучи.

Или может быть (надежда!) — он едет всего лишь в Царское Село? Но как он на это решился бы в такой опасный момент?

Тут и, по дворцовой линии, позвонил из Царского граф Бенкендорф: что здоровье наследника в очень серьёзном положении и императрица просит безопасности в районе дворца в такой смутной обстановке.

Сколько лет эта всевластная царица надменничала над Председателем Думы, выказывала ему пренебрежение, отвращала Государя от разумных уступок,— но вот оборвались куцые женские силы, и, раздавливая свою гордость, она просила о помощи?

Да Родзянко и сам беспокоился, чтобы с царской семьёй, чтобы с наследником не случилось худое. Он и вчера вечером сказал Беляеву передать во дворец. И теперь ответил Бенкендорфу:

— Граф! Когда горит дом — прежде всего выносят больных.

Так это ясно. Неужели не догадывается уехать вовремя, чтобы меньше было проблем и забот?

Тут и Беляев, лёгок на помине, единственный из министров, такой услужливый, звонил из Адмиралтейства, от Хабалова, нащупывая возможность благополучной капитуляции.

Это хорошо, уж войны-то в столице надо избежать.

Но в Таврическом укреплялся свой штаб: допущенная Председателем ночью „военная комиссия". Теперь пришёл Гучков, радостно возбуждённый, и предложил, что он эту „комиссию" возглавит. Отличное решение! Родзянко обрадовался: наш, октябрист, и сильный человек. Важное пополнение.

А другое важное укрепление вот какое пришло в голову Председателю: надо связаться с союзниками. С английским и французским послами. И обеспечить их поддержку Временному Комитету. Это может очень утвердить Комитет.

Прекрасная мысль! Не по телефону звонить, конечно,— да тут как раз и прекратились все городские телефоны. И — невозможно ехать собственной величественной фигурой, не укроется. Но совершенно конфиденциально послать некое солидное лицо, которому будет доверие,— и просить послов тотчас выразить их мнение о происходящем. (Да нет сомнения, что они в восторге.) И их пожелания.

Даже... даже, дальновидно опережая события... каков желателен им дальнейший ход... в смысле конституционных изменений... ?

Поддержка союзников стоит тех восьми полков.

Пока выбирал сановного посланца и инструктировал его. Пока подписывал циркулярную телеграмму Главнокомандующим, что Комитет взял на себя трудную задачу создания нового правительства. Тут и члены Комитета, иные ночевавшие в Думе, подступали теперь со своими сомненьями и предложениями.

И вдруг принеслось: что к Государственной Думе подходит целый батальон! — первый за эти дни вполне собранный батальон!

Ответственный момент, он многое решит в дальнейших событиях! Заволновались и забегали: что за полк?

Кто-то издали рассмотрел и понял: преображенцы!

К такой радостной неожиданности Временный Комитет не был готов, не была подготовлена программа, кому говорить и что.

Да! А Шидловский ночью ездил в преображенское собрание? Благодарил офицеров?.. Да, и вот обещали привести батальон в Думу.

Бледный, взвинченный, самоуверенный Керенский рвался выступить. Но нет, уступить ему Преображенский полк Родзянко не мог — этих он должен был встретить сам! (К тому ж он начал понимать, что Керенский кричит толпе совсем не то, что нужно.)

И властным жестом, какого думцы привыкли слушаться, Родзянко показал, что будет говорить сам.

Однако пока они тут суетились и решали — батальон с музыкою не только вошёл в сквер и к крыльцу, но, оказывается, повалил внутрь — и никто не смел его задержать. Момент был невыгодный для выхода Родзянко, он пождал. Преображенцы теряли строй, смешивались в вестибюле и в Купольном зале — а потом в Екатерининском вытягивались и разбирались.

Этот зал действительно годен оказался и для военных парадов, и даже раздутый запасной батальон в четыре шеренги далеко не занял полного карре.

Михаилу Владимировичу исключительно приятно было выйти к тому именно батальону, который поддержал его ночью в решающую минуту. И собираясь идти выступать, он задумал, что после речи попросит господ офицеров зайти к нему в кабинет — и отдельно поговорит с ними сердечно.

Но ещё не успел Родзянко дойти до строя — к нему подскочили и предупредили: батальон пришёл — без офицеров! привели — унтеры.

Что это?? Как это возможно?? Как это понять? Почему же без офицеров?

Это всё переворачивало. Ведь именно офицеры телефонировали, что поддерживают, присоединяют полк,— и именно офицеров нет?

Но уже и размышлять было некогда: он входил в Екатерининский. Раздалась звонкая унтерская команда: „смир-рна!''.

Чем больше зал и чем многолюдней аудитория, тем всегда только больше разрабатывался могучий родзянковский голос. Речь была не подготовлена и обдумать некогда, но сердце подсказывало, как правильно:

— Прежде всего, православные воины,— густо закатил он, однако и напоминая,— позвольте мне как старому военному поздороваться с вами.— И с новой энергией, новой силой и чёткостью: — Здорово, молодцы!

— Здравия! желаем! ваш! псходительство! — неплохо ответили высокорослые преображенцы.

Первое сближение было сразу найдено, хорошо. Родзянко заговорил отечески:

— Позвольте мне сказать вам спасибо за то, что вы пришли сюда. Пришли, чтобы помочь членам Государственной Думы водворить порядок!

Оглядывал ряды. Возражающих не было.

— И обеспечить славу! И честь нашей родины! Ваши братья сражаются там, в далёких окопах, за величие России, и я горд, что мой сын с самого начала войны находится в славных преображенских рядах.— Ещё одна связь между ними. А теперь и поворачивать и зануздывать: — Но чтобы вы могли помочь делу водворения порядка, за что взялась Государственная Дума, вы не должны быть толпой! Вы не хуже меня знаете, что без офицеров солдаты не могут существовать. И теперь я прошу вас: подчиниться и верить вашим офицерам, как мы верим им. Возвращайтесь же спокойно в ваши казармы,— уже ощутил он, что пребывание этой поддержки в Таврическом может стать весьма тягостным,— чтобы по первому требованию явиться туда, где вы будете нужны.

Ловкач, удобно всё повернул! — из мятежников обратил их в патриотов. Но определённей, что делать,— ничего сказать не мог. И не закончил никаким командным словом. Оттого раздался разброд солдатских голосов: одни кричали, что много довольны, другие — что согласны, третьи просили указать.

А что же указать? Родзянко с трудностью дояснял:

— Старая власть не может вывести Россию на нужный путь. Первая наша задача — устроить новую власть, которой бы все доверяли и которая сумела бы возвеличить нашу матушку-Русь.

С этим тоже были охотно согласны.

А ведь он под „старой властью'' имел только правительство, отнюдь не Государя,— а могли понять про Государя? И он не помешал.

— Так не будем же тратить время на долгие разговоры. Сейчас надо вам найти своих офицеров. Собрать разбредшихся по городу ваших товарищей. Сплотиться. Выполнять строго требования воинской дисциплины. И ждать приказаний Временного Комитета Государственной Думы. Это — единственный способ победить.

И горячей:

— Если мы не сделаем этого сегодня, то завтра, может быть, будет поздно. Только полное единение армии, народа и Государственной Думы обеспечит нашу мощь!

И покрыл всё гулкой чугунной крышей:

— Ура-а-а-а!!!

И глоток тысячи две отгаркнули „ура" действительно громовым, не уместным даже в этом зале, как его колонны не покачнулись!

Всё сошло отлично.

Однако загадка: что же случилось с офицерами?

182

* * *

После ночного ухода из Ораниенбаума главных сил пулемётных полков — там начался погром винных погребов, магазинов, лавок и беспорядочная стрельба,— на двое суток.

А пулемётные полки всю ночь пешком двигались на Петроград, прихватывая ещё и попутные гарнизоны.

* * *

В конце ночи и ещё рано утром всё громили гостиницу „Асторию", осталось там и выпить, и вещами поживиться.

В одном номере жила княгиня Нарышкина с сыном, недавно из Италии, при них — учитель сына Марк Слоним, студент и эсер. Ворвался к нему в номер матрос, схватил со стола часы. Кинулся Марк: „Это мои часы!" Матрос: „Да ну?" В грудь толкнул студента, а часы брякнул об пол и ногой раздавил. Другие матросы загоготали, а Марк вскричал в отчаянии: „Да ведь — революция! Что же ты делаешь?!" Тут вбежал ещё один матрос — и оказался из его подпольного кружка, Марк им этой зимой разъяснял революцию. Примирил. Марк им: „Что же вы делаете? Здесь иностранцы живут! Нельзя, скандал!"

Итальянцы, чтоб уйти из громимой гостиницы к себе в посольство, через площадь, собрались кучкой и на палке несли большой итальянский флаг.

В отпуску в Петрограде, жил в „Астории" и генерал-лейтенант Маннергейм, начальник 12 кавалерийской дивизии. Переоделся в штатское пальто, меховую шапку, снял шпоры с сапог — и беспрепятственно вышел из гостиницы. Перешёл к промышленнику Нобелю, который его и спрятал.

В гостинице многие стёкла выбили, а отопление прекратилось.

* * *

Ещё до света у пекарен опять стали жаться хлебные хвосты.

* * *

Перед рассветом группа солдат-московцев возвращалась из центра к себе в казармы на Выборгскую. Навстречу увидели и узнали молоденького прапорщика их батальона Кутукова, переодетого в солдатскую шинель,— спасался из казарм от расправы.

Не тронули.

* * *

Ночную телеграмму царя, что отставка правительства не принята, так и некому было вручить: министры не дождались, разбежались. Только утром позвонили с телеграфа Покровскому домой и ему передали.

* * *

Всю ночь и утром ещё горел Окружной сад. Проваливались потолки, с треском взбивались столбы искр. В свете зарева ярко были освещены склады Главного Артиллерийского управления. Любители поживиться не дремали, таскали оттуда ящики, разбивали топорами. Вот ящик солдатских перчаток. Хватают их. Не лезут на руку — выбрасывают на панель.

* * *

Баррикада в начале Сергиевской у Литейного — не настоящая, а так, натащили орудийных передков, деревянных ящиков, нет высоты и заборности. Рядом поставили две пушки. Около них стоят несколько солдат, позируют фотографу. Торчит из баррикады один обвисший красный флаг.

Никому не понадобилась.

* * *

За ночь выспались и с утра опять вываливали на улицы, собирались вооружёнными отрядами на поиски врагов революции. И освобождённые вчера уголовные — кто уже переоделся солдатом, кто обзавёлся винтовкой,— и с каждым часом всё смелей.

И снова, на чём кончили вчера вечер: арестовывать, грабить, поджигать, пить, мстить и убивать,— на всём раскиде города не было им никакой преграды. Все власти сметены, все связи порваны, все законы потеряли силу. И во всём городе каждый может охранить только сам себя и ожидать нападения от каждого.

Охотников грабить — и в населении оказалось много. Но после вчерашних погромов двери и окна многих магазинов наглухо забиты досками. А в зеркальных стёклах витрин, там и здесь,— пулевые лучистые дырочки.

* * *

На Неве у Франко-Русского общества чинился крейсер „Аврора". Утром рабочие ворвались в него — и крейсер *присоединился.* Захватывали ружья, револьверы, пулемёты. Командир крейсера капитан 1 ранга Никольский и два старших офицера были выволочены на берег и убиты. Старшего лейтенанта Аграновича ранили штыком в шею.

* * *

После того что вчера разоружили кадетёнышей Морского корпуса, на Васильевском острове остался непокорённым лишь Финляндский батальон. Утром прорвалась толпа и в его двор. Убили полковника и капитана, мешавших сдаче. На просторном дворе — движенье во все стороны, на всех этажах открыты окна, полные солдат. Крики, шум. Из окна второго этажа студент в смятой фуражке на лохматой голове кричит, почти никому:

— Товарищи солдаты! Царское правительство помещиков и капиталистов свергнуто! Вас больше не пошлют убивать ваших братьев рабочих, как в Девятьсот Пятом. Но вместе с ними — к светлому будущему!

Надоумились, что надо снимать полицейских с крыш и чердаков — и толпа вооружённых солдат ринулась через ворота. Пробегали мимо офицерского собрания — показалось, что оттуда стреляют (пуля, ударяясь о стенку, сильно хлопает и подымает дымок, похожий на выстрел). Стали палить в верхние этажи. Из чёрного хода выскочила перекошенная прислуга: со вчерашнего дня ни одного офицера в здании нет!

Тем временем набралось в батальоне желающих идти с музыкой по Большому проспекту. Выступили с оркестром — но на проспекте утеряли строй, смешались с толпами, а куда дальше и что делать — никто не знал.

* * *

С утра возобновились поиски городовых. Врывались в дома, в квартиры, искали по доносам и без них. Убегающие по улицам ломились в запертые ворота. Ведут арестованных городовых, околоточных, переодевшихся в штатское,— кто в извозчичьем армяке, кто в каракулевом жилете, кто и вовсе не переодевался, а в чёрной шинели своей, с оранжевым жгутом. Кого привыкли видеть важными, строгими — идут растерянные, испуганные, с кровоподтёками, в царапинах, побитые.

Вот — старый, широкошеий, шинели надеть не дали. Баба кричит: „Нассать ему в глаза!"

Ведут с избытком радостного конвоя, человек по пять на одного, винтовку кто на ремне, кто на плечо, кто на изготовку, а ещё кто-нибудь самый ярый —

впереди с обнажённой шашкой, и отводит прохожих. И мальчишки с палками.
Из толпы — враждебные крики.

* * *

Волокли за ноги по снегу связанного городового. Кто-то подскочил и выстрелом кончил его.

* * *

На Васильевском острове везли городового на санях, ничком привязанного, а размозжённая нога его бескостно болталась и кровянила. С двух сторон сидело по солдату, и один из них прикладом долбил городового по шее. Озверелые бабы догнали и стали у привязанного уши отрывать. *(Из Ремизова)*

* * *

А пристав 1-го Адмиралтейского участка Эгерт сумел по утреннему безлюдью довести до Думы группу городовых строем, спасаться под арест.

* * *

Какие полицейские участки ещё не были сожжены вчера — те горели теперь. В костре перед участком горят стулья, горят бумаги, пламя подхватывает их вверх. Через разбитые окна выбрасывают еще новые бумаги, а кто-то длинной палкой размешивает их в огне. Из толпы кто глазеет, кто греется, приплясывают мальчишки, хлопая на себе пустыми рукавами материных куртеек, весёлая возня.

Из домов, соседних с пожарами, невольные беженцы с пожитками кочуют в другие дома. Только у таких и беда.

* * *

Ещё кое-где костры — около квартир полицейских приставов сжигают выброшенную утварь, мебель.

На Моховой из окна пристава грохнули на мостовую рояль, а тут доколачивали прикладами.

Оратор, стоя на ящике, просит товарищей военных не бросать в костёр патроны, они ещё понадобятся в борьбе с контрреволюцией. Но уж как начали забаву — оторваться нельзя, и все бросают. Патроны взрываются с треском и заглушают оратора.

* * *

Что пошло в красное: и большие полотнища, и разорванные полоски. И комические носовые красные платки с белыми каёмками. Цепляют красное на шапки (тогда кокарда), на грудь, на рукав, на штык, на саблю, на палку (тогда флаг), вяжут на шею, на плечо. Банты, бутоньерки, репейники, ленты.

Штатский — ещё может пробираться без красного, и то стыдят, но военный, похожий на офицера,— никак. Офицеру вообще опасно появляться на улице.

* * *

У офицера, воспитателя пажеского корпуса, отобрали на улице шашку и, по его требованию, выдали ему *расписку*. Всё равно опозорен.

А чаще безо всякой расписки: отберут шашку — а заодно бинокль и портсигар.

* * *

Везде — весёлое гулянье. Какие только есть в Петрограде солдаты, 160 тысяч,— кажется, все здесь. И обыватель весь! Солдаты целуются с народом — публика плачет. И никто не молчит — но все говорят, но кричат, но беснуются радостно! Наступило несравненное вселенское торжество! Оно взмывает души, оно не позволяет человеку оставаться вне толпы. (Ещё потому, что в одиночку — нет уверенности: а вдруг всё назад повернётся?) Оно несёт людские толпы по улицам.

А восполняя медленность человеческих тел — во все стороны бешено носятся грузовики и легковые автомобили. Грузовики переполнены вооружёнными: рабочие, солдаты, матросы, студент в экстазе, а то и барышня, а то и офицер с крупным красным. Человек по тридцать впритиску и ото всех торчат штыки — через борта и вверх, и ещё на подножках стоят с винтовками. И ещё торчат из кузовов кровяные флаги, по три и по четыре. А на некоторых — пулемёты. А то, опершись на кабину, какой-то дурак целится вперёд из револьвера.

А вот ломовики и извозчики — совсем исчезли с улиц. Нету.

* * *

Но вот провозят и в санях — арестованного полковника. Вокруг — солдаты на конях.

* * *

Николаевский вокзал немного громили, и он немного загорелся. Вели двух жандармских офицеров, будто бы пойманных при поджоге,— и конвой солдат охранял их от растерзания. Над Знаменской площадью свистят пули, неизвестно откуда и куда. Кассы закрыты, а поезда отходят, можно ехать.

* * *

Да везде много, бесцельно стреляют, везде ходить опасно. Стреляют из озорства. И чтобы дать выход нервному возбуждению. Довольно одному солдату нечаянно нажать курок, как перепалка охватывает целый квартал. Есть раненые шальными пулями в хлебных хвостах. Стреляют в воздух в виде салютов. И — „довольно, повоевали!" И — в землю из револьвера, под ноги прохожим. Стрельба до помешательства. Только слышно, как пули везде летают, многие рикошетом от стен, с непривычки ничего не понять, прячутся от пуль за тумбами объявлений. От непонятных близких выстрелов все взвинчены. Толпа в любую минуту мечется от восторга к страху и ненависти.

Все уверяют и уверены, что это городовые: попрятались по чердакам и перебираются с крыши на крышу неуловимо, оттого всякий раз стрельба с нового места. Все тревожно поглядывают вверх на чердачные окна каждого большого дома. Стоит кому-нибудь указать вверх пальцем — и уже все требуют обстрела и обыска этого дома.

* * *

Шёл офицер в полной форме и без красного. Чернь загнала его с улицы на лестницу дома — и там застрелила, забрызгав стены кровью и мозгами.

* * *

И эта же толпа этих же офицеров в июле Четырнадцатого несла на руках по улицам!.. А ведь та самая война и продолжается.

В толпе человек перестаёт быть самим собой, и каждый перестаёт думать трезво. Чувства, крики, жесты — перенимаются, повторяются как огонь. Кажется: толпа никому не подчиняется? — а легко идёт за вожаком. Но и сам вожак вне себя и может не сознавать себя вожаком, а держится — на одном порыве, две минуты, и растворяется вослед, уже никто. Лишь уголовник, лишь природный убийца, лишь заряженный местью — ведёт устойчиво, это — его стихия!

* * *

Стали выходить на улицу и военные оркестры. Больше всего пристрастны теперь — к наспех разучиваемой марсельезе. А за ними вослед — солдаты, где строем, а где и толпами. Встретятся два шествия — салютуют друг другу выстрелами.

* * *

А на Невском! Знал Невский трамваи, извозчиков, богатые автомобили, богатых пешеходов, знавал при волнениях пешие и конные массы — но ни-

когда не видывал такого: носятся и носятся гигантские ежи из штыков, фыркая и визжа, обгоняя друг друга и разминаясь при встречах, и нагуживая тревогу, и заворачивая, и заворачивая со скрежетом — вакханалия больших ежей! Невиданные моторные силы вырвались из подземного рабства — и резвятся, и неистовствуют, обещая ещё многое, многое показать.

Вожаков — как будто нигде никаких, всё совершается само.

А на тротуарах — масса вооружённых штатских — с берданками, винтовками, саблями, пулемётными лентами наискось через плечо. Все расцвечены красным, разговаривают с незнакомыми, рассказывают новости из разных концов города, умиляются. Передают, какие полки присоединились к Думе. Гадают, где теперь царь и что будет дальше. Интересно!

* * *

К офицеру петроградской автомобильной части приехал с фронта в отпуск его брат, тоже офицер. А тот имел в распоряжении легковой автомобиль, решил прокатить гостя по городу. Помчали. Радостно и жутко, мелькают штыки с красными флажками. Но из-за встречного в лоб автомобиля пришлось остановиться, а оттуда навели на них винтовки: „стой!''. Юноша лет 16, весь красный, глаза бешеные, соскочил оттуда, и сюда, и револьвером ко лбу. А серьёзный студент из того автомобиля: „Господа офицеры, предъявите удостоверение, для кого вы работаете?'' Перед дулом безумного офицер-хозяин: „Едем получить такое удостоверение, не знаем, где выдаются''. Студент с красным флагом пересел к ним и понеслись в Михайловский манеж. Там бродят солдаты всех частей. Штатский в пенсне из-за стола властно: „Вы приехали предложить свои услуги народу?'' И повезли их в Таврический — но остановились на углу Литейного и Бассейной: громят винный погреб Баскова. Там толпа, из решётчатых дверей одни поднимаются по ступенькам сильно выпивши, другие теснятся в очереди с горящими глазами, третьи уговаривают их „не идти на гибель''. Поручили братьям-офицерам: утихомирить тут.

* * *

С 10 часов утра по всему городу развозят в грузовиках кипами, раздают и сверху разбрасывают 1-й номер „Известий Совета Рабочих Депутатов'' за вчерашнее число — напечатали его, наверно, сотни тысяч. Остановится грузовик, трепеща корпусом,— и к нему тянутся руки, и сверху бросают пуки и отдельные листы, и гонятся за ними, рвут из рук, подхватывают со снега. И потом по улицам все читают единственную эту газету. А там всего-то — воззвание СРД, вымученное литературной комиссией.

Несравненно меньше пошёл машинописный, со стеклографа, текст первого воззвания Временного Комитета Государственной Думы: что создаётся такой и взял ответственность,— читали его студенты вслух, тоже с автомобилей.

* * *

По Садовой едет автомобиль и объявляет, что следом за ним идут три новых *присоединившихся* батальона. Дикий энтузиазм, крики! По краям панели становятся ждать.

Но батальоны что-то не идут.

* * *

Во многих казармах расстроилось питание. Солдаты бродят по улицам уже и с тоской — ищут, чего бы где поесть.

Так вот ходят целый день, многие и без оружия, с пустыми руками. То готовы — ещё чего-нибудь отчубучить, а то робеют: чего наделали? Ещё и в казармы ли пустят назад, а ну опять будут вольные выгонять.

* * *

Вышел Ваня Редченков за казарменные ворота, осмелился. И сразу видит: стоит пустой грузовик, а подле него вертится совсем пьяный матрос. На шнурке через плечо у него шашка без ножен, в руках револьвер. Увидел Ваню, обрадовался, закричал, зазвал:

— Товарищ! Р-р-р-р-р! — рукой показывает, как мотор заводят.— Р-р-р-р-р?

— Я не шофер,— обмялся Ваня.— Я вообще тут человек новый, не знаю.

Матрос и слушать не хочет, своё показывает, дёргается, уже гневен:

— Р-р-р-р-р!..

Но тут шнурок у него оборвался, и сабля зазвякала по льду мостовой. Кинулся он за саблей — а Ваня в ворота убёг.

*

* *

Выходи, простой народ!
Раскидали всех господ!
Со свободы стали пьяны,
Заиграли в фортепьяны!

183

Допустим, морские декабристы, может быть, и опоздали к событиям, но сами события стали делать работу за них, сами события развивались преотлично, великолепно, потрясающе: вялые, нерешительные думцы сумели-таки составить из себя временное правительство! — решились! И не побоялись сообщить об этом факте в Ставку: пусть Полковник узнает о событиях, как они пошли, наконец, без его участия!

Ставка пока молчит, растеряна. А морской Генеральный штаб из Питера сообщил сюда, в штаб Балтийского, что вся столица в руках восставших. И по тону можно понять, что и морской министр сочувствует им. (Григорович — дипломат: им всегда довольны и в Царском и в Таврическом.)

Острые сообщения приходили среди ночи — и вице-адмирал Непенин позвал к себе князя Черкасского ночью же. Уже подготовленное единомыслие направляло адмирала — не выжидать дальнейшего развития событий, не выигрывать на оттяжках, не таить своих взглядов и своей позиции,— но смело открыто занять её. Открытость соответствовала прямоте непенинского характера, а ещё при таких событиях — долгожданных, но и внезапных — стать с ними вровень! Он более всего ценил свои прямодушные отношения с флотом, за что должны были любить его все команды. Он любил сделать крупный жест — и не брать его обратно.

И он приказал объявить командам о волнениях в Петрограде, о подозрении некоторых прежних лиц в измене — и о создании нового правительства.

Впрочем, не успели ещё приказ разослать на корабли для объявления, как из Петрограда пришли какие-то исправочные сведения, что созданное думцами не есть новое правительство, а лишь некий неопределённый комитет. Пришлось изменять и текст объявления командам.

Зато Непенин пожелал сам объехать бригаду дредноутов и бригаду линкоров и сам же прочесть свой приказ. Он дорожил вот этим единством с матросами, какое возникает от присутствия, от вида, от голоса,— дороже и влиятельней, чем отвлечённые строчки приказа усилить боевую готовность, чтоб неприятель, получивший преувеличенные сведения о наших беспорядках, не попытался бы использовать их. Адмирал Непенин умел выступать перед матросами с манерой грубоватой простоты, которая покоряла их.

После этого знаменательного объезда кораблей, когда он сам возвестил своим матросам наступление новой эпохи, Непенин собрал на штабном „Кречете" флагманов (и князь Черкасский, и Ренгартен по своим штабным должностям присутствовали) и энергично заявил им, что так как ни из Ставки, ни от морского министра не имеет никаких указаний, то будет поступать, как сам найдёт нужным. А точка зрения его — невмешательство в революцию. (Говорилось „невмешательство", а это и значило — помочь ей в критический момент.)

Флагманам понравилось. Некоторые и были празднично настроены от революции, совершаемой во спасение родины. Другие во всяком случае не возразили. И те, кто были круто против,— не решились тоже. Тут сидели

и старше Непенина возрастом. Но — знаньями, способностями, блистательной решимостью он ярко опережал их, и это признавалось.

Флагманы соглашались.

Но трое декабристов на устроенном и сегодня закрытом собеседовании всё же сомневались: так ли всё ясно? И достаточно ли верно шагает Адриан?

Черкасский спросил:

— А если *начнётся на судах?* — что будешь, Федя, делать?

Но почему могло начаться на судах, если руководство флотом открыто сочувствовало революции?

Нет, ну всё же. Гипотетически.

Федя Довконт простодушно ответил:

— Буду поддерживать новый режим.

Черкасский оттенил:

— То есть пойдёшь и примкнёшь к бунтовщикам? Это неправильно, Федя. Пойти в толпу — легко, но было бы довольно непроизводительно погибнуть там от пули какого-нибудь типа, „соблюдающего присягу". Нельзя быть уверенным, что матросская масса так сразу вся и полно поймёт революционные задачи и сразу освободится от черносотенных типов. Нет, надо иметь более продуманный план.

Это верно, среди народной толпы всегда толкутся черносотенные типы — и затемняют всю обстановку, не знаешь, какого поворота ждать.

Нет, надо вести себя так, чтобы приносить наибольшую пользу всему делу. Более продуманный план — это верное влияние на верхах. Стали его формулировать.

Надо быть готовым к тому, что Ставка и царь прикажут флоту поддерживать старый порядок. Тогда Адриан станет перед дилеммой — и задача нашего кружка не дать совершиться этому реакционному наклону. Наша задача — сделать всё, чтобы решение адмирала шло к спасению России, хотя бы и наперекор приказаниям сверху!

Или другой случай: приказание сверху на подавление не поступит, но начнётся, всё-таки, само по себе волнение на кораблях или в Гельсингфорсе, или в Ревеле, возникнут манифестации сочувствия к революции — и адмиралу опять достанется единолично решать: помешать волнениям? или даже военной силой не дать им помешать? Мы должны склонять его ко второму.

В обоих случаях главная задача кружка — влиять на Непенина в правильном направлении: не подчиняться приказам царя! И не мешать революционным манифестациям! Более того: чтоб о таком решении адмирала было открыто сообщено командам кораблей и открыто донесено в Ставку. Впрочем, прямой характер Непенина — порукой тому.

И решили: сейчас же идти к командующему по одному, от младшего к старшему, и решительно высказывать ему все эти взгляды. Даже каждый пусть лично добавит, что вразрез нашим собственным убеждениям — мы не выполним и *его* приказа! И чем бы ни кончился первый разговор — на смену идёт второй, и затем третий.

Кроме того Ренгартен взял на себя обработку каперанга Щастного, а Черкасский — каперанга Кедрова, их позиция влиятельна, и надо их привлечь.

ДОКУМЕНТЫ — 3

Всем Главнокомандующим фронтами
Балтийским и Черноморским флотами

28 февраля 1917

Временный Комитет Государственной Думы, взявший в свои руки создание нормальных условий жизни и управления в столице, приглашает Действующую Армию и Флот сохранить полное спокойствие и питает полную уверенность, что общее дело борьбы против внешнего врага ни на минуту не будет прервано или ослаблено...

Временный Комитет при содействии столичных войск и частей и при сочувствии населения в ближайшее время водворит спокойствие в тылу и восстановит правильную деятельность...

Председатель Временного Комитета
Родзянко

184

Мозг императрицы и всегда работал по ночам, она и в ровные дни часто ждала сна до трёх, а то и четырёх часов ночи,— так когда уж там она заснула сегодня? А поднялась рано, предписанья врачей лежать с утра перестали быть законом, события звали к необычным действиям и решениям.

Но всегда прежде, при отлучке Ники в Ставку, у неё были проверенные приёмы действий: узнать у Друга правильное решение, затем встречаться с министрами, внушать им эти действия и длинными письмами Государю повторять ту же работу.

А вот наступили события, превосходящие по грозности всё предыдущее — но не жил уже Друг, и ни одного министра нельзя было вызвать, потеряны все связи,— и письма Государю писать было некуда, и еще неизвестно, что мог принести его приезд сюда будущей ночью: через кого же он будет повелевать событиями?

Государыня была полна самой мужской решимости и готова к самым мужественным действиям — и тут-то ощутила, что не может без мужской руки и поддержки,— а не было такого человека рядом во всей её свите, и все старшие генералы и полковники были лишь подчинённые её, а поддерживающей руки — не было.

Нет, была! — флигель-адъютант Саблин, не просто флигель-адъютант, но „совсем наш'' (как установили когда-то вместе с Другом), „один из двух честных друзей'' (первая — Аня), часть всех нас, почти член императорской семьи и одинаково на всё смотрящий, тёплое сердце, добрый взгляд, делил все радости и горести, спутник по лучшим дням яхтенных поездок, спутник Государя в Ставке, правда молод, но государыня руководила им все годы. Сам он не женат, без близких и друзей, и всегда говорил, что никто ему не ближе царской семьи.

Но вот, в Петрограде рядом, где же он был вчера весь день? отчего не примчался, когда увидел разворот событий? Государыня ждала его до позднего вечера, а он вовсе не появился. Это вызывало изумление: что такое непреоборимое могло ему помешать?

Сегодня рано утром она вошла в красную гостиную, где ночевала Лили Ден, ещё не вставшая,— и просила её тотчас звонить Саблину, узнать, отчего не едет.

И Лили дозвонилась быстро, и Саблин оказался дома, и Лили передала ему, как государыня нуждается в его поддержке и ждёт,— но Саблин отвечал, что весь дом окружён пожарами, и улицы бдительно охраняются восставшими матросами — и нет возможности ему приехать.

Во флигель-адъютантской форме? Но он мог бы пройти в штатском? Отказ был ошеломляющий. У государыни усилилась нездоровая краснота лица, она приложила руку к своему расширенному сердцу и держала так. Кто угодно мог так отвильнуть! — но не родной Саблин!

Тем временем, пользуясь непрервавшейся службой телефона, Лили успела позвонить и к себе домой, поговорила с няней, узнала про сына, и ещё позвонила нескольким знакомым — и собирала сведения, что они знают о событиях, видят вокруг себя. Все сведения были ужасны: город — погиб, никаких старых властей нет, никто не знает и о верных войсках,— но уже знают, что Родзянко в Думе объявил создание Временного Комитета, управляющего событиями.

Это последнее как раз понравилось государыне: значит, в последнюю минуту Дума оценила опасность, вызванную ею же самой, и очнулась. Ведь уже есть и какой-то комитет социалистов-революционеров, не признающий Думы. Так в грозные часы мятежа и хаоса даже эти думские типы были более своими, с ними всё же можно разговаривать каким-то человеческим языком. Линевич, посланный к Родзянке, ещё не возвратился. И — как его встретит Родзянко?

С Виндавского вокзала дозвонился граф Апраксин: он ночевал в городе, сейчас до вокзала мог добраться только пешком, весь город в руках революционеров.

От больных детей всё скрывали, они не знали, что творится. Дети и досейчас не знали, что с вечера всё качается на острие: уезжать им или не уезжать. Несколько раз за бессонную ночь государыня склонялась то в ту, то в другую сторону.

Покусывая губы, она ходила теперь по комнатам, то к больным, то от них.

Она любила ответственность и всегда любила свои определительные суждения, свои безошибочные решения,— но сегодня этой ответственности оказалось слишком много с неё! Если больны были бы только дочери и Аня, не сын,— она может быть решилась бы ехать. Но как рисковать наследником, обмётанным сыпью, в жаре, с кашлем, с больными глазами,— как можно рисковать этой сгущённой надеждой династии и России?

Может быть, и эта болезнь детей на благо, кто знает Божью волю? Может быть, их болезнь — спасение: что нельзя покуситься на них?

Никогда так тяжело не ощущала она, что можно и н е з н а т ь, погоняемой минутами, какое решение правильное и неправильное, вот утекало между пальцами! Вот сейчас — она спросила бы Государя и мужа и без спора бы поступила, как он велит, но именно сейчас он в пути, и связь прервалась.

И куда срываться ехать, если он следующей ночью приедет сам?

Странно другое: что с позавчерашнего позднего вечера и вчера целый день она бомбардировала его отчаянными телеграммами — а он, так отзывчивый на каждое её слово,— не отозвался, что слышит её тревогу.

Но впрочем, конница из Новгорода (идёт? уже подходит?) — это и был его лучший ответ.

Не предполагая, как рано государыня бодрствовала, лишь в 10 часов утра попросили у неё приёма Бенкендорф с генералом Гротеном.

Их городские сведения были: ночной звонок генерала Хабалова из Зимнего дворца и тяжёлое положение верных войск. А доклад их был: что по указаниям Воейкова они ещё с вечера, не докладывая государыне, вели подготовку её собственного поезда — и сейчас всё готово к погрузке и к отъезду, если она прикажет!

О-о! Снова и мучительно требовали от неё этого решения!

Нет! Окончательно — нет! Это губительно для детей. (И сколько б ещё хлопот эвакуировать капризную Аню со всей её докторской свитой.) Они будут ждать здесь приезда Государя. Всего осталось уже меньше суток.

Но — преодолела брезгливость. И поручила Бенкендорфу телефонировать Родзянке, напомнить ему о болезни наследника и просить о защите императорской семьи.

В Царском Селе было уже неспокойно. Целыми отрядами и одиночками появлялись офицеры и солдаты, бежавшие из революционного Петрограда,— рота волынцев, смешанная группа из Петроградского полка,— но и в здешних полках они не находили приюта и маршировали дальше, в Гатчину. Запасные батальоны императорских стрелков — каково! — уже тоже волновались, от их казарм слышались выстрелы, а то музыка и песни. Говорили, что есть стычки между разными, желающими и не желающими бунтовать. Говорили, что появились из Петрограда революционные автомобили. (Правда, передал во дворец в успокоение комендант Царского Села, что царскосельская артиллерия не имеет снарядов. Каково?? И это — успокоение? Да — *чего* же мы боимся?)

Вернулся Бенкендорф от телефона. Родзянко ничего не обещал, а передал всего лишь: „Когда в доме пожар — то больных выносят в первую очередь''.

О Боже, как безжалостно! какие страшные слова! Призрак того же решения — срывать больных — наступал опять.

Комендант Гротен, видя мучительные колебания императрицы, предложил: в усиление конвоя и Сводного полка ввести во дворец также и гвардейский экипаж.

Императрица просияла и тотчас согласилась. Изо всех гвардейских, любимых и подшефных частей императорской семьи — гвардейский экипаж был самым любимым, в сердце близким всей семье.

Младшие здоровые дочери, услышав, что вводят экипаж, ликовали: „Это будет совсем как на яхте! Уютно!''

СХЕМА ЖЕЛЕЗН. ДОРОГ МЕЖДУ ПЕТРОГРАДОМ И МОГИЛЕВОМ

МАСШТАБ
100 в. в дюйме
0 50 100 200
25 75

Петроград
Александровск
Царское Село
Гатчина
Тосна
Любань
Вырица
Луга
Мал. Вишера
Псков
Дно
Ст. Русса
Валдай
Бологое
Лихославль
Двинск
из Варшавы
Ржев
Полоцк
Сиротино
Витебск
Москва
Вязьма
Орша
Смоленск
из Минска
Могилев
Тула
Рязань

СХЕМА ЖЕЛЕЗН. ДОРОГ МЕЖДУ ЦАРСКИМ СЕЛОМ, ГАТЧИНОЙ И ВЫРИЦЕЙ



Тут доложился императрице граф Апраксин. Он пробрался из Петрограда в штатском, без придворных регалий.

После гнева государыни три дня назад Апраксин держался настороженно. (Он не был уверен, не ждёт ли его увольнение.) Но картины безумной столицы стояли перед его глазами, и тем поразительней было ему, что здесь, во дворце, как будто ничего не изменилось. И с новым напором он взялся убедить государыню в растущей опасности, которая может нахлынуть в любую минуту сюда. Он несомненно считал: срочно уезжать, и вот куда: в Новгород!

По усталому красноватому лицу императрицы, от многих болезней и всегда старше своих лет, а за эти дни ещё порезчавшему,— при слове „Новгород" прошла осветка. На это и рассчитывал Апраксин:

— Именно в Новгород, который так предан династии, Ваше Величество! Где-то должно открыться такое чистое место, куда соберутся верные люди, откуда начнётся сопротивление. И уж во всяком случае там будут в безопасности августейшие дети. Это стоит того, чтобы рискнуть перевозить и больных!

Просветилась улыбка славного воспоминания на удлинённом твёрдом лице императрицы, твёрдая, как все её улыбки. Но уже в улыбке было и отрицание. Она уверенно покачала головой.

Граф не представляет, как опасно перевозить больных в таком состоянии. Но в этом нет уже и необходимости: сам древний Новгород идёт к нам сюда, на выручку.

Но — как дожить до этой выручки? и до приезда императора?

Государыня ходила по комнате, растравленная сомнениями. Ей нужна была мужская поддержка, не подчинённые лица,— сейчас, сию минуту! Она не выдерживала больше бремени решений — не только ведь за семью и за свой дворец, но и за Петроград, оставленный на неё!

И — почему же не шёл, ничем не проявился, не дал о себе знать, не запросил приказаний тут же, в Царском Селе, сидящий Павел? Старший из великих князей! Старший из генерал-адъютантов! Так ли уязвлён долголетней семейной обидой? Так ли отвержен царским запретом после убийства Друга?

Уже несколько дней шло молчаливое соревнование самолюбий — императрицы и Павла — кто первый уступит?..

Но ведь он же — инспектор гвардии! но ведь он — даже обязан! Если гвардия не подчиняется ему — пусть едет на фронт и оттуда привозит верных.

Поделилась с Лили — и та подала золотую мысль: а может быть великий князь Павел Александрович не смеет нарушить этикет? просто не смеет первый обратиться?

Ах, вот как? Так это открывало возможность императрице обратиться первой, это слагало запрет:

— Лили, милочка, позвоните великому князю от моего имени и скажите, что я прошу его немедленно прибыть сюда, во дворец.

Но не успело полегчать от этого решения, ещё не было ответа от Павла — была половина двенадцатого,— снова пришёл комендант Гротен и доложил: с железной дороги передали, что через два часа все пути будут отрезаны и прекратится всякое движение.

Два часа! — так если даже и решиться ехать, то уже и не успеть собраться!

Петля стягивалась!

Как — решиться? Как верно?

185

В самокатном батальоне ночь прошла — посланные в штаб округа разведчики не вернулись. И никого другого с приказаньями не прислал штаб округа от себя. А телефон со вчерашнего вечера не работал.

Так ничего и не узнал полковник Балкашин: что же происходит в городе? И что правильное он должен делать? Всё рухнуло как внезапный обвал: вчера утром он поднимался начинать обычный учебный день батальона — и вот ввергся в осаду нежданным неизвестным противником, неподготовленный, неснабжённый и без единого приказания, как и на войне бывает редко.

Ночью была у него мысль: пока толпы разошлись — выйти боевым строем и идти в центр города. Помех бы не было никаких, все мятежники спали. Но не имел он права оставить большое боевое хозяйство батальона, всё техническое снаряжение,— разокрадут, уже начали с Сердобольской.

Не доносилось признаков, чтобы в городе шли бои, сопротивление лояльных войск.

Но ещё трудней было представить: как же полуторастотысячный гарнизон мог сразу впасть в обморок и в бессилие?

Так и оставил Балкашин своих самокатчиков на месте.

Рано утром была слышна сильная стрельба от их трамвайного дома с Сердобольской. Но не послал подкрепления: всё же там оборонялись в каменном здании, а здесь — деревянные бараки, деревянный забор, вообще никакая защита.

Распорядился рыть по малому периметру окопы в мёрзлой земле. Но не хватало ломов и кирок.

А тем временем на Сампсоньевском проспекте снова начали собираться толпы вооружённых рабочих и солдат — и очень злые.

Потом к ним подъехали два бронеавтомобиля — страшное оружие в уличном бою! — и навели пулемёты на бараки самокатчиков. И стояли так.

Бросаться на них штурмом — будут потери.

Да не начинать же самим.

А тут подошёл и третий броневик.

Эх, не ушли ночью!

Кричали — сдаваться.

Самокатчики молчали.

И тогда — стали бить из пулемётов.

И — нечем было закрыться! — беззащитные мишени, в любой точке ожидающие пуль. В каждом бараке появлялись раненые и убитые.

Зато и свои шесть пулемётов отвечали в окна и в щели, тоже не прикрытые, привлекая на себя огонь. Начальник пулемётной команды капитан Карамышев и сам стрелял, и кого-то посек.

И перевязывать раненых нечем было, ни к какому бою здесь никогда не готовились, и эвакуировать некуда. Так лежали — и домучивались.

И всё же простоял батальон на такой перестрелке. Мятежники замолчали. Стихло.

Один из ротных командиров склонял полковника Балкашина сдаться. Балкашин пристыдил его.

Толпа подступила — и начала валить забор. И часть свалила. И сваленный забор в двух местах подожгли.

Солдаты одной из боевых рот, предназначенной к близкой отправке на фронт, пытались в проломе выйти с белым флагом — но капитан Карамышев пригрозил им пулемётным огнём — и воротил.

Сердце сжималось за бедных самокатчиков. Но противно всяким воинским правилам было бы — сдаться дикой толпе. Балкашин обходил бараки и уговаривал роты держаться.

Тем временем подожгли и крайние бараки. Пришлось покинуть их и собираться в средние.

И тут, это уже было после полудня, к осаждающим подкатили два трёхдюймовых орудия. Приняли боевое положение — и стали прямой наводкой разносить бараки, пробивая бреши, зажигая стены! — хуже, чем фронт, там сидят в земле. Рушились потолки, нары, сундучки с солдатским имуществом,— казармы перестали быть укрытием, и уцелевшие выскакивали во двор, кидались за снежные кучи, иные бросали винтовки.

И тогда полковник Балкашин прибег к последней попытке: стал строить учебную команду, перед ней оркестр — чтобы удивить, пройти головой, а за ней остальные.

Но их секли картечью и пулями, не давали приготовиться к броску, самокатчики разбегались.

Да и куда пробиваться? — ведь Сампсоньевский надолго-надолго весь запружен толпою.

Тогда Балкашин поднятою рукой показал своим во дворе, что сейчас всё уладит. И ни с кем из офицеров больше не обмениваясь, один вышел за ворота.

Его неожиданное появление вызвало остановку стрельбы. Несколько раз прежде раненный георгиевский кавалер и тут поднял руку, призывая ко вниманию, и густым командным голосом объявил:

— Слушайте все! Солдаты-самокатчики не виноваты, не стреляйте в них! Приказ обороняться отдал им я, исполняя долг присяги. А теперь отдаю...

Спохватились. Раздался нестройный залп, кто раньше, позже,— полковник упал мёртвый.

И ещё кинулись его дотыкать штыками, ножами.

А толпа ринулась мимо — в ворота, особенно убивать офицеров, кого увидят. И избивая солдат.

Некоторые успели бежать через заснеженные огороды.

Горело во многих местах, клубился дым.

Самокатчики выходили сдаваться с поднятыми руками.

Их били.

186

Вот чудо — произошла!! И до того мгновенно, что не могло вместиться ни в какую голову: гнетущая трёхсотлетняя власть отпала с такой лёгкостью, будто её и вовсе не было! Ещё вчера вечером нельзя было понять всего значения. А сегодня утром проснулись и узнали, что революция уже везде победила — сама собой, неслышно, как может выпасть ночной снег, всё царственно украшая. В столице — уже по сути всё и совершилось. Если нужна была оборона, то где-то уже за пределами города. Конечно, вся остальная Россия ещё лежала во тьме и неясности — но вот уже адмирал Непенин телеграфировал из Гельсингфорса, что весь Балтийский флот присоединяется к революции.

Такая бескровность победы! — невероятный праздник! Что-то, но сопротивление царского режима всегда ожидалось долгими смертными боями. От неожиданности победы Андрей Иваныч ощущал в душе и радостное свечение, но и тревожное разрежение. Настолько хорошо, что уже и тревожно, что уже и быть не может так.

Да неужели только позавчера они стояли со Струве на Троицком мосте — и поминали революцию как фантастическую и даже нежеланную невозможность?

А сегодня утром у того же Винавера собрался на завтрак кадетский ЦК и обсуждали: как бы революцию примедлить. (А — стремиться ли к сохранению монархии? Пока не голосовали, но Милюков настаивал: сохранить, Винавер уже сильно колебался.)

И многие члены Думы пребывали в этой душевной взлохмаченности. Слонялись по Таврическому — нет, пробивались локтями по своим привычным помещениям — в робости, растерянности, непонятном состоянии, когда не знаешь, как себя вести.

Сколько раз в костюмной тройке, крахмале и галстуке пересекал Шингарёв этот обычно пустынный Екатерининский зал, иногда с подбавкою разряженной публики с хор, проходил, всегда привязанный сердцем к нуждам огромного, прямо не видимого, обобщённого народа, о котором были и все мысли, и все речи,— а никогда не грезилось, что этот народ и сам явится в Таврический дворец — несколькими тысячами, десятком тысяч. Бесконечно трогательно было видеть вчера вечером поздно, как разрозненные солдаты постепенно составляли винтовки, по нескольку в пирамидки, постепенно опускались на пол, прислоняясь к белым колоннам, потом и ложась на паркетный пол. Бесконечно умиляло это доверие, с которым солдаты, отбившиеся от частей, приходили именно в Государственную Думу, наслышанные о ней, веря в неё, храм свободного слова, под кров её и защиту. Ведь для многих из них, не петроградских, этот город был темнее дремучего леса, а вот нашли ж они себе здесь верный огонёк и убежище. У какого другого народа могла бы проявиться такая непритязательная простота?

А сколько наивности прекрасной было вот в этом приходе в Думу с оркестром, чтобы здесь послушать подбодряющие речи! После вчерашнего бунта солдатам было радостно мириться с офицерами и возвращаться в законность,— им легко становилось на душе. Лейб-гренадеры вошли прямо сюда, в Екатерининский зал, и тут перестроились. Шингарёв с любопытством и удовольствием смотрел на это зрелище от стены. Родзянко встал на кресло, ещё тяжелей и крепче себя, и гаркнул над головами приветствие.

И ему отрявкнули „здравия желаем" лейб-гренадеры с силой, какая в этом зале не раздавалась от сводного потёмкинского оркестра после взятия Измаила.

— Спасибо вам,— гремел Родзянко,— что вы пришли помочь нам восстановить порядок, нарушенный нераспорядительностью старых властей! Поддержите же традиции доблестного российского полка, которые сам я, как старый солдат, привык любить и уважать.

Наивный простоватый Родзянко, он уверен был, что его личная причастность к армии в молодости тут всех воодушевит и расположит.

— Государственная Дума образовала Комитет, чтобы вывести нашу славную родину на стезю победы и обеспечить ей славное будущее... Православные воины! Послушайте моего совета. Я старый человек и обманывать вас не стану. Слушайтесь ваших офицеров, они вас дурному не научат. Господа офицеры, приведшие вас сюда, во всём согласны с членами Государственной Думы.

Откуда он это взял? Это ещё очень было вилами по воде. Конечно, многие офицеры, развитые и молодые, находились под влиянием Думы,— но многие были и преданы трону, а третьи знали только присягу и устав. Очень может быть, что часть офицеров сейчас пришла сюда не добровольно. У некоторых и был вид, что пришли на казнь,— опущенная голова, невидящие глаза.

— Итак, я прошу вас подчиняться и верить вашим офицерам, как мы им верим. Прошу вас спокойно разойтись по казармам. Ещё раз — спасибо вам за то, что вы явились сюда! Да здравствует Святая Русь! За матушку-Русь — ура-а!

Охотно подхватили и раскатили „ура". И Родзянко осторожно слез с кресла.

А вслед на то же кресло не без труда забрался Милюков, тоже не слишком привыкший к таким упражнениям.

— С вами говорит член Временного Комитета Государственной Думы Милюков! — объявил он, даже и без обращения, не найдя ли его.

Куда, голос его был не тот, да ещё для такой толпы. В несколько голосов ответили:

— Знаем.

Не солдаты, конечно. Никого они здесь не знали. Как странно, наверно, им было выслушивать солидных образованных людей, свои первые речи в жизни.

Но и Павел Николаевич никогда в жизни не выступал перед простым народом, а только перед аудиториями академическими и парламентарными. Однако он топорщил усы решительно и поглядывал довольно смело на солдатский строй. И голосом прихрипшим настаивал:

— После того как власть выпала из рук наших врагов, её нужно взять в наши собственные руки. И это надо сделать немедленно, сегодня. Ибо мы не знаем, что будет завтра.

Крикнули одобрительно в нескольких местах, но, кажется, не в строю — может, те именно, которых кричали „знаем!".

— Что же нужно сделать сегодня для того, чтобы взять власть в свои руки? — докторально спрашивал Милюков.— Для этого мы должны быть прежде всего организованными, едиными и подчинёнными единой власти.

Неразборчивым проплытием его слова миновали строй. Ах, не умели они говорить в такой момент! Знал Шингарёв, как звучит его собственный голос, несравнимо убеждая всех ещё прежде слов. Кажется, дай говорить, он сейчас собрал бы сердечным касанием сочувствие всех солдат Петрограда и убедил бы их во всём, что нужно! Но он не был член думского Комитета, да и в кадетской партии существовало довольно строгое чиноподчинение и разделение

обязанностей. Павел Николаевич был установленный несомненный лидер и самый умный в партии человек, и говорить было теперь ему.

— Такой властью является Временный Комитет Государственной Думы. Нужно подчиняться ему, а никакой другой власти! — очень настаивал перед солдатами строгий барин в крахмальном воротничке и очках.— Ибо двоевластие опасно и грозит нам распылением и раздроблением сил.

Это — в Думе так можно было бы сказать. А здесь — просто не поняли, и вся тирада легла зря.

Но задумался и Шингарёв: почему он говорил „двоевластие"? Если имел в виду трон — так двоевластие была пока единственная возможность для Комитета. А если имел в виду разбродных революционеров, митинговавших тут же, в Таврическом,— так они не набирались на власть.

Павел Николаевич совсем избегал слова „революция" и не напоминал об идущей войне с Германией (чтоб не потерять аудиторию на первом же шаге?). Его скучная полоса доводов тянулась скучным голосом, и не пробивалась короткая ясность:

— Помните, единственное условие нашей силы — организованность! Неорганизованная толпа не представляет силы. Если бы вся армия превратилась в неорганизованную толпу, то достаточно небольшой кучки организованных врагов, чтобы её разбить. Надо сегодня же организоваться. У кого нет — сами найдите и станьте под команду своих офицеров, которые состоят под командой Государственной Думы. Это вопрос сегодня очередной. Помните, что враг не дремлет.

И только под конец через месиво повторений пробилось:

— И готовится стереть нас с вами с лица земли.

А эта угроза — была, может быть, сразу и слишком сильно высказана? Но и — чего же другого теперь ожидать от царя? Можно себе представить гнев в Ставке!

А Милюков в ободрение солдат или в ободрение самого себя спросил:

— Так этого — не будет?

— Не будет,— розно и неуверенно закричали ему.

Да, и солдаты ощущали странность этой радости, этой победы: она была как будто безгранична, а совсем не было в ней полноты.

Гренадеры шумно поворачивались и шаркали, начиная освобождать место какому-то другому пришедшему батальону.

Шингарёв подошёл к Милюкову. Павел Николаевич моргал, кажется, недовольный собою, выражение кислое. Он был в сбитом состоянии от этих выступлений при необычной аудитории, сегодня рано утром ездил выступать перед солдатами и на Охту. Он не высказывал, но очевидно понимал, что выступления его выходят без эффекта. Но у него хватало нервной энергии перерабатывать в себе трудности и неприятности.

Принято было между ними, что Шингарёв, второй человек в думской фракции кадетов, всегда советуется с Милюковым, чем ему заняться.

Он — вполне готов был произносить речь перед следующим батальоном, но и отлично понимал, что раз прогнали слепую безумную власть — то надо же кому-то и садиться работать вместо неё. И вполне оказался готов, когда Милюков сказал озабоченно:

— Андрей Иваныч, там эти поворотливые из совета рабочих депутатов уже учредили свою продовольственную комиссию. Так они и всё продовольствие могут сейчас захватить — а это питающая жила. Надо отстоять там наши позиции. Знаете, пока что, пока прояснится ситуация — а идите вы от нас к ним туда заседать, да попробуйте стать и председателем, ведь вы же толковей их всех.

Шингарёв задумался.

— Ведь вы же из кадетов — наиболее в курсе. Кому ж, как не вам? Пока. Пока всё прояснится.

И Шингарёв — согласился. Это верно. Речи произносить — не самое первое дело. И не толкаться бессмысленно в комнатах думского Комитета, узнавать новости, ахать и рассуждать, как пойдет развитие событий. И не комиссии военно-морского бюджета заседать сейчас в этом темпе революции.

А продовольствие, конечно, нужно всего срочней, и Шингарёв незаметно для себя за последние месяцы, действительно, втянулся в дискуссию о хлебе (как попадал он и всегда во все острые дискуссии). И — он же составлял, да, в декабре, продовольственный план Прогрессивного блока (не слишком увязанный и не слишком ясный самим, но с сильным плановым элементом в заготовках, перевозках и распределении, неповышаемостью твёрдых цен, отстранением от дела всей государственной администрации, с общественностью на замену).

Получалось — да, ему в эту комиссию и идти. Всего полезнее сейчас и есть: считать пуды муки и их пути в хлебные фунты.

Пока утвердится кадетская власть — и Шингарёв сможет достойно заняться своей другой парламентской специальностью, на которой годы руку набивал,— финансами.

Как всегда у них предполагалось, Шингарёв будет министром финансов.

187

Ожидаемый спаситель родины и трона генерал Николай Иудович Иванов мало поспал в эту ночь,— уж как начнутся заботы, не поспишь. Проснулся же по обыкновению рано. А утром-то — лучшие и мысли! Как мог он начинать ехать к Петрограду и вести доверенные ему войска, не разобравшись толком в той путаной петроградской обстановке? Ясно, что надо было прежде получить самые полные разъяснения. И лучше всего это было сделать, вызвавши Хабалова к прямому телеграфному проводу и предложить ответить на главные вопросы. Которых, стал Иудович набирать, сидя в вагоне на своём любимом мягком диване за столиком, набралось десять.

С этими вопросами он к восьми утра уже был в генерал-квартирмейстерской части (между тем обдумывая и свою докладную Алексееву насчёт возложенного диктаторства, как от него уклониться, и поручение адъютанту закупить сейчас же в Могилёве провизию, которой тут много, для петербургских знакомых генерала).

Запросили Петроград. Из помещения Главного Штаба ответили, что генерал Хабалов находится в Адмиралтействе, выход его оттуда может вызвать арест на улице революционерами. Но пока есть отвод прямого провода на Адмиралтейство, соединим.

(Вот так положение в столице! И — куда же ехать?..)

Ну хорошо, пусть ответит хотя бы через доверенное лицо. Передали им 10 вопросов.

Поднялся уже и Алексеев. (Вот ему бы — и ехать.) И представил ему Николай Иудович на своём генерал-адъютантском бланке, что в минувшую ночь, около трёх часов пополуночи, Его Императорскому Величеству благоугодно было повелеть доложить начальнику штаба Верховного для поставления в известность председателя совета министров о том, что все министры должны беспрекословно исполнять все требования генерал-адъютанта Иванова.

Если достоверность этих полномочий требует проверки через сношение с царским поездом — генерал Иванов готов был ждать. (Всякий оттянутый час приносил облегчение задачи, а оттягивать всегда может найти законные поводы тот, кто долго служил в армии.)

Такой проверки быть сейчас не могло. Но и столь важного распоряжения не мог Алексеев подтвердить по словесной передаче. Он так и обещал передать в Петроград Беляеву, что есть такая словесная передача. А генерал-адъютанту Иванову предусмотрительно выписал лишь документ, по каким статьям Полевого управления войск ему предоставляется право предавать военно-полевому суду отдельных гражданских лиц и целые категории их.

Затем уведомил его Алексеев, что распорядился придать ему по пути ещё артиллерию, даже и тяжёлую.

А Иванов напомнил, что войск у него мало, и надо бы добавить с Юго-Западного фронта гвардию.

За пределами того Алексеев никак уже Иванова с выездом не торопил, больше не вмешивался.

А задача Николая Иудовича была двойственная: чтоб если придётся обороняться — то было бы войск побольше; а если сражаться не придётся (как уже сдавалось по петроградской обстановке), то было бы их поменьше и подошли б они как можно несвоевременней: тогда меньше придётся перед новым правительством отвечать за всю эту поездку.

И он не настаивал перед начальником военных перевозок и не в принудительной форме телеграфировал Рузскому на Северный фронт и Эверту на Западный насчёт точных сроков доставки всех этих пехотных и кавалерийских полков, а только назначал, что будет не сегодня, а завтра с утра ждать на станции Царское Село. Какие-то из этих полков ещё и с места не трогались, какие-то уже были в эшелонах, третьи готовились к погрузке на отправных станциях,— ох, с такою массою войск его миссия не могла кончиться благополучно! Во всяком случае прямо в Петроград ни одной части он не назначал, а только не доезжая.

Ещё дал телеграммы коменданту Царского Села готовить завтра помещения для расквартирования.

А между тем георгиевский батальон, светлокоричневые погоны с ленточкой посередине, у многих по 3 и 4 георгиевских креста,— во главе с генералом Пожарским был уже вполне готов к движению, хотя тоже, кажется, без большого пыла. Пожарский был совсем не тот доблестный князь на Красной площади, и не поджарый, но толстый и сильно недовольный поездкой, как видно. Повелел генерал Иванов выдать всем солдатам по 120 патронов, а пулемётная команда вооружена,— и отправляться в 11 часов. И об их эшелоне уговорился с начальником перевозок, что он по выгрузке не воротится в Могилёв, но пребудет в Царском Селе в распоряжении генерал-адъютанта для возможной обратной поездки.

Сам же генерал-адъютант со своим вагоном пока не ехал с ними, но оставался ещё осмотреться, подумать, да и дождаться ответов Хабалова.

В двенадцатом часу дня пришёл и ответ Хабалова на 10 вопросов.

Итак: какие части в порядке и какие безобразят? Названы немногие в распоряжении Хабалова, прочие перешли на сторону революционеров или по соглашению с ними нейтральны. Какие вокзалы охраняются? Все во власти революционеров.

Ничего себе, хорошее начало...

В каких частях города поддерживается порядок? Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.

Так тогда — с какой же стороны в город можно вступить?..

Все ли министерства правильно функционируют? Хабалов предполагает, что уже — ни одно. Какое количество продовольствия в городе? 25 февраля было 5 с половиной миллионов пудов муки.

Поразительная цифра! — это не только до нового урожая, но Петроград может и другие города снабжать. Откуда ж волнения?..

Много ли оружия в руках бунтовщиков? Все артиллерийские заведения у них. Какие военные власти в нашем распоряжении? Один начальник штаба.

Ну-у-у-у... При таких ответах правильное решение генерал-адъютанта Иванова было бы — вообще не ехать.

Но у генерала бывает порой столько же свободы, сколько у солдата.

И оставалось — тянуть свой вагон вослед георгиевскому батальону.

Тут принесли исправление цифры: не 5 с половиной миллионов пудов муки, а 550 тысяч. Вкрался лишний ноль.

188

Отряд поручика Вержбицкого вчера в темноте достиг своего трёхэтажного здания на Сердобольской улице — прежде трамвайного управления с гаражами, теперь разграбленных гаражей самокатного батальона. Какие-то фигуры ещё шевелились там, но от одного залпа в воздух исчезли.

В доме не действовало ни электричество, ни телефон, ни отопление. Зажгли свечи — стали снаружи пулями стёкла бить. Пришлось потушить. Так и заночевали, выставив наружные посты.

А противник — за домами поразжёг костры.

Все самокатчики были ребята молодые, развитые, дельные, только не обстрелянные на фронте. Да и трое офицеров тоже молодые, поручику двадцать семь.

Со стороны города всё время доносилась ружейная и пулемётная дальняя стрельба, в трёх местах поднимались пожарные зарева. Во всём огромном городе развернулось восстание, но связи не было, приказаний не поступало, и во всём нужно было действовать по своей догадке.

Переночевали в холоде, однако спокойно. Перед рассветом забрали внутрь свои посты, забаррикадировали мебелью и хламом входные двери, расставились при окнах.

Но и ещё несколько часов никто не нападал, и улица рядом оставалась пустынной, хотя на других улицах видно было из верхних окон движение, вооружённые люди и грузовики с красными флагами.

Стали ждать. Одно плохо — со вчерашнего полудня ничего не ели.

Но вот захлопали по их зданию выстрелы, зазвенели разбиваемые стёкла, полетела штукатурка, бело дымя.

Самокатчики пока не отвечали, офицеры присматривались.

Окружающие — штатские, матросы и солдаты, стали накапливаться — за домами, за постройками станции Ланской, за железными переплётами и каменными устоями моста Финляндской железной дороги через Сердобольскую улицу. И со всех сторон много стреляли, не жалея патронов.

Стали из окон отстреливаться и самокатчики. Странное чувство — вести огонь по своим. Никакого озлобления, и стрелять не хотелось. Да те, стрелявшие снизу вверх, только и били по потолкам.

Но потом, видно, появился у них понимающий командир: он разместил по крышам и вторым этажам хороших стрелков — и у самокатчиков появились раненые и убитые, а перевязочного материала не было.

Стали свирепеть, „свои'' — перестали быть своими. Стали бить серьёзно, и кто высовывался из-за трубы или карниза соседних домов — скатывался с крыши.

Подкатил бронированный автомобиль, выпустил пулемётную ленту по окнам — но что-то у него заело, и он ушёл.

Тогда какие-то собрались в непросматриваемом пространстве, на тротуаре у самого дома, прикатили бочку, и стали насосом подавать в окна огненную струю.

Загорелись шинели раненых, лежащих на полу.

Нечем было ответить, не было ручных гранат, но догадались разбивать печку — и сбрасывать на головы огнемётчиков тяжёлые изразцы. Прогнали.

Однако убитых и раненых становилось всё больше. Особенно метко били несколько, кто залёг за насыпью железной дороги, за переплётами моста. Сами они были хорошо укрыты — и не допускали к окнам. Самокатчиками овладевали неуверенность и смятение.

Тут сверхсрочный пулемётный унтер-офицер Орлов подбежал к подпоручику Левитскому и поманил, что из другого конца здания этих замостовых хорошо видно во фланг. Действительно, не догадались раньше, отсюда противник был виден, как на учении: запасные гвардейцы с красными погонами и петлицами, матросы в бескозырках, штатские и два-три студента.

И сразу исчезло волнение, мысли стали отчётливыми, движения быстрыми. Осторожно выбили маленькие кусочки стекла в нижних углах окон, чтоб только незаметно выставить дула винтовок.

— Пиши завещание! — пророкотал Орлов, нажимая на спуск.

И сразу перепрокинулись один матрос и один штатский с багровым лицом в меховой шапке, даже видна была струйка крови из простреленной шеи.

Стреляли с выбором, не торопясь. Промахнуться было невозможно, а выстрелы тонули в общей трескотне, никто сюда и не оглянулся, те всё прикрывались с фронта.

Из-под моста ушли немногие. Двух студентов Левитский по симпатии пощадил, дал уйти.

Положение улучшилось, огонь по зданию заметно ослабел.

Но стала слышна оживлённая стрельба со стороны главных казарм самокатного на Сампсоньевском. Потом — и пушечные выстрелы, там поднялись столбы чёрного дыма.

Это значит: из пушек беспощадно расстреливали их семь самокатных рот в деревянных бараках.

Скоро там всё смолкло, и только поднимались дымы пожара.

Потом за снежным пустырём с мёрзлыми кочерыжками снятой капусты, за деревянными заборами Флюгова переулка взметнулось пушечное пламя — и трамвайное здание дрогнуло от двух одновременно попавших снарядов.

Каменное здание с толстыми стенами могло долго выдерживать обстрел, но грохот и эхо, известковая пыль как туман потрясли молодых необстрелянных, а один снаряд разорвался и в комнате, ранило нескольких, загорелось, задымило, кто-то крикнул „газ",— и самокатчики сами бросились вниз, разбирать баррикады и сдаваться толпе.

Левитский тоже был ранен, бок шинели уже заливало коричневым. Стал медленно спускаться по лестнице вместе с подпоручиком Янковским (наганы бросили).

Появились перед толпой на высоком крыльце, как на эшафоте. Раздался яростный рёв двора и улицы. Там дальше кого-то из самокатчиков били прикладами. Самообразовался конвой из солдат, матросов и студентов, повели обоих офицеров — но толпа кричала: „расстрелять! расстрелять!", разметала конвой и прижала к стене. И самые первые, кто хотели расстрелять, не могли этого сделать в таком сжатии. Матрос перед их носом тряс огромной гранатой.

А два студента кричали:

— Товарищи! Не нужно больше крови! не омрачайте светлого лика революции! Товарищи!

Опять повели, и опять толпа оттеснила конвой, опять прижала к стене и опять расстрельщики не могли отодвинуться на вытянутую винтовку, чтобы стрелять.

— Осадите, товарищи! Дайте совершиться революционному правосудию! Товарищи! — кричали они толпе и упирались ногами в стену, чтоб отжать напиравших сзади.

Офицеры приготовились к смерти. Левитский почему-то запрокинул голову и увидел сосульки под крышей.

Матрос с надписью „Бесстрашный" распоряжался:

— Без команды не стрелять! Слушай мою команду! Приготовьтесь, товарищи!

Но перебил их новый мощный голос, и вперёд протиснулся амурский казак, прапорщик, с огромным красным бантом на груди.

— Приказываю отвезти в Таврический дворец! — закричал этот единственный среди них офицер, который и руководил штурмом и так умело расставлял стрелков. (Он был в отпуску в Петрограде, в пьяном состоянии ударил часового и в ожидании военного суда сидел в тюрьме. Революция освободила его, и, как пострадавший тоже за свободу, он присоединился.)

После препираний посадили офицеров-самокатчиков на грузовик с матросами. И повезли.

Продолжение следует

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

№17

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

189

Военный министр Беляев всю эту ночь совсем не был в тягость Хабалову: не вмешался ни одним приказанием, не подал ни одного совета. Всё действовал провод в Ставку и сохранялась линия дворцового телефона — и он сидел там, около них, принимал сообщения и отправлял сообщения, и наводил справки.

А кто совсем не имел служебного касательства — отставной корпусной гвардейский командир Безобразов,— явился в комнату, где за столом томились все чины хабаловского штаба и градоначальства (при его входе все поздоровались вставанием),— и с апломбом, как всех их начальник, заявил:

— Я пришёл узнать, какие меры приняты для ограждения живущих в городе. Вчера ко мне ворвалась шайка солдат, которую еле удалось выпроводить. Завтра может появиться другая.

Хабалов сидел как чучело, даже не имея сил руки развести пошире:

— Мои приказания не исполняют, я ничего не могу.

Безобразов возмутился, вскинулся и резко:

— Виноват, я видел вчера несколько частей на площади Зимнего в полном порядке. Вы должны знать, где находится очаг беспокойства, и обязаны потушить его.

Кто-то из полицейских чинов отозвался от стены, то ли с вызовом, то ли с горечью:

— В Государственной Думе.

И Безобразов подтвердил, это была его мысль:

— Да, в Государственной Думе!

И ещё раз внушительно на Хабалова:

— Вашему превосходительству должно быть известно, как действовать в таких случаях.

И, с общим поклоном, величественно вышел.

Тут пожали плечами: общие слова все могут говорить.

Не много прошло минут, как близ полудня появился адъютант морского министра и от имени своего шефа потребовал немедленно очистить Адмиралтейство, так как в противном случае восставшие обещали через 20 минут открыть огонь с Петропавловской крепости, и над ней действительно появился красный флаг.

Вот так... И с этим известием тоже Григорович пришёл не сам. Да давно он хотел их изгнать, но не решался от своего имени, а тут рад был поводу.

И вот пришёлся тот толчок, без которого они не могли выйти из мертвительного окостенения. А ультиматум и короткий срок — толкали командование что-то решать.

А что ж было решать? Переходить ещё раз — было некуда, разве опять в градоначальство? Но вряд ли зачем. Совещание старших, как и были тут, в комнате (про Беляева забыли), да и то спешное: ведь дано всего 20 минут.

Все оказались единого мнения: что продолжать оборону невозможно. Но и уходить с оружием — тоже нельзя: если выйдем с оружием — толпа нападёт, наши станут отвечать, и так произойдёт ненужное безнадёжное кровопро-

---

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 6.

литие. Значит, надо сложить оружие здесь, в Адмиралтействе, сдать его тут на хранение, выйти безоружными,— и на такие войска толпа не будет нападать.

Прямо сдаться? Некому, таких войск нет. А просто — разойтись безоружными, по казармам, по квартирам.

И по гулким длинным строгим залам Адмиралтейства и по дворам — понеслись команды. Артиллерия стаскивала в кучу орудийные замки. Пулемёты и винтовки сбрасывались в большую комнату, указанную смотрителем здания.

И все — испытывали облегчение: как-то кончилось, и кончилось без единого выстрела, хорошо.

Кроме полковника Потехина на костылях, он гневался, да может ещё двух-трёх.

Все спешили расходиться, разъезжаться. (Прошло и несколько раз по 20 минут, Петропавловка не стреляла.)

Через ворота на Дворцовую площадь выезжала батарея, к себе в Павловск. За воротами сразу налепилось к ним девиц и молодых людей, вязали красные лоскутки к орудиям, к зарядным ящикам, к упряжи лошадей.

В разных кучках на улицах раздавалось „ура'' и пальба в воздух.

Измайловцы вышли налегке и пели:

Взвейтесь, соколы, орлами!

Одни стрелки не захотели сдать оружие и вышли с винтовками. Их тем более не трогал никто.

А последнюю полицию градоначальник Балк распустил ещё раньше утром, сейчас бы ей не выйти невредимой.

В суматохе не заметили, куда ж исчезли генералы Беляев и Занкевич.

А от оставшихся генералов и высших чинов смотритель здания потребовал освободить все занимаемые комнаты и перейти на 3-й этаж в чайную.

Там, с окнами на Сенатскую площадь, был большой обзор.

И обзор для размышлений, если бы кто оказался склонен к ним.

Высшие чины расселись и глушили голод папиросами.

Затем опасность случайных пуль (какие-то щёлкали то о стены, то близко о крышу) заставила их перейти в комнату с окнами во внутренний двор.

Хабалов, освобождённый от своей непомерной тяжести, теперь расхаживал и обдумывал.

Он думал так: в лицо его никто из петроградских деятелей не знает, фотография никогда не печаталась. И вот если б его задержали отдельно от штаба — можно было бы заявить себя казачьим генералом в отпуску.

190

С неотклонимостью военной привычки, раз поняв и приняв приказ, генерал Алексеев дальше честно развивал его, сколько он требовал по своей логике. Отдавший с вечера первые распоряжения об отправке войск на Петроград, Алексеев не успокоился и ночью. Проводив Государя, он лёг с досадою спать, но спать почти не мог. Мысленно соединял в голове все посылаемые войска — и увидел, что в них недостаёт артиллерии.

В два часа ночи он поднялся, оделся. Его помощники все спали, хорошо, он так и любил, сам пошёл в аппаратную. И продиктовал телеграмму на Северный фронт и на Западный о посылке каждым фронтом ещё по одной конной и по одной пешей батарее, не забыв добавить и о порядке присылки снарядов.

А начиналась каждая телеграмма: „Государь император повелел...'' Момент был серьёзный, и мало ли какое противодействие возникает там при исполнении, а против Государя императора не поспоришь. Для того он и нужен был здесь, в Ставке, и обидно было, что уехал, и пока не хотелось в том признаваться даже главнокомандующим.

Тут подали Алексееву в тех же минутах пришедшую телеграмму от военного министра к дворцовому коменданту. Такая форма была, когда хотели подать прямо вниманию Государя. Такие телеграммы обычно шли мимо Алексеева, но сейчас Воейков был уже на вокзале и нельзя было телеграммы не прочесть. Она была короткая, но поразительная: мятежники заняли уже

и Мариинский дворец, а министры одни успели спастись, о других сведений нет.

Так правительства уже и не было вовсе! Пока шли переговоры, подавать ли ему в отставку или нет, а его уже не было вовсе...

Ну и ну.

А может и к лучшему. Может так установится общественное министерство, и никаких военных действий вовсе не придётся. Лучше бы.

Отправил и эту вдогонку Воейкову на вокзал. Может быть, Государь ещё одумается и вернётся.

И долго-долго больной Алексеев ещё лежал, вздрёмывал, а не спал — и что-то стало его разбирать беспокойство за Москву: трудно представить все последствия, если это перекинется ещё и на Москву. И он снова поднялся, снова оделся, снова пошёл в аппаратную — когда уже что-то задумано, то кажется и на час страшно отложить. И перед четырьмя часами утра отправил телеграмму командующему Московским округом генералу Мрозовскому, запрашивая о настроениях в Москве и предоставляя, именем Государя, полномочие объявить Москву на осадном положении в любую минуту. Особенно он обращал внимание на московский железнодорожный узел, от которого зависело движение хлеба на фронты и во многие губернии.

Это уж было последнее в ночь. Устал и заснул на несколько часов.

А на пробуждение после восьми утра пришло ему: заверение от Эверта, что назначенные полки начинают в полдень погрузку; и мрачная краткая от Хабалова, что верных почти не осталось и положение до чрезвычайности...

Тут пришёл к нему адмирал из морского штаба и показал ему две телеграммы из Адмиралтейства, одна лежала с ночи, но все спали, а вторая пришла утром. Сообщалось, какие значительные районы города взяты мятежниками ещё вечером, офицеров обезоруживают, хулиганы грабят, отобрали и автомобиль ставочного адмирала, Григорович болен, а Беляев вряд ли справится. Утром же сообщалось, что мятежники заняли уже весь город, Хабалов засел в Адмиралтействе как в последнем редуте, и это послужит только бесполезному истреблению драгоценных документов и приборов.

Совсем плохо. Стал Алексеев давать ещё новые телеграммы о подкреплении Иванова. С Северного фронта — ещё батальон выборгской крепостной артиллерии.

Если посылаемым войскам придётся вести бой против целого большого города, то не обойтись им без крепкой артиллерии.

Набрано было много. Но Иванов-то, Иванов не годился.

Однако Государь повелел так.

А сам уехал.

Иванов же — не торопился ехать, а сроки были — уже его дело. Запрашивал Хабалова — и получил от него те же ужасающие ответы: что столица вся потеряна.

Но где-то же там сидел ещё и военный министр! И Алексеев обязан был телеграфировать ему новое устное высочайшее повеление: изыскать все способы передать всем министрам (где б они ни находились и составляют ли они правительство), что они обязаны будут беспрекословно выполнять все требования главнокомандующего Петроградским округом генерал-адъютанта Иванова.

И морской же министр там! И он тоже должен быть предварён содействовать и даже подчиниться Иванову. И, думая за Григоровича, дал ему Алексеев телеграмму: по требованию Иванова, выделить ему два прочных батальона Кронштадтской крепостной артиллерии.

Так и посылал телеграммы, придумывая, чуть не каждые пять минут, пока действовал провод с Адмиралтейством.

Григорович — ничего не ответил. А Беляев — был цел и не дремал, не покидал поста! Нельзя было такого предвидеть, когда его назначали военным министром за одно знание иностранных языков. И теперь успевал отстукивать свои телеграммы. Вразмин пришла теперь от него такая: войска бросают оружие, переходят на сторону мятежников, нормальная жизнь министерств прекратилась, Покровский и Кригер-Войновский едва выбрались ночью из

Мариинского дворца. Желательно прибытие надёжной вооружённой силы, иначе мятеж будет увеличиваться...

Да-а-а... Только увеличивался сумрачный груз и сознание неполноты сделанного. Хмурый, пригорбленный, походил Алексеев между столами — и, уже после отъезда Иванова, решился на крупное добавление: как тот просил, послать на Петроград войска также и с Юго-Западного фронта. Да не какие-нибудь полки, а три гвардейских, и среди них — сам Преображенский. А быть может ещё придётся готовить и гвардейскую кавалерийскую дивизию.

Дал такую телеграмму Брусилову.

Ну, кажется теперь будет даже слишком достаточно.

Худо поступил Государь, покинув Ставку и уехав в такие часы. Но отчасти генералу Алексееву стало и свободнее: не надо бегать суетливо с каждой телеграммой, докладывать, уговаривать, можно сидеть за рабочим столом и принимать решения.

А с другой стороны, как ни мало распоряжался здесь Государь в качестве Верховного Главнокомандующего, но, по напряжению таких событий, было бы легче ощущать его сень. Как ложу винтовки нужно плотно прилегающее плечо, чтоб не так отдавать.

Да что это? Уже 9 часов как литерные поезда в пути — и не пришло ни одно подтверждение с дороги. (Их присылал только Воейков, а начальники станций не имели права сообщать.) Государь не просто уехал — но уехал без связи! Вот пришла ему важная телеграмма от членов Государственного Совета — и куда ему пересылать? Только можно приблизительным расчётом выбрать станцию. А приди ещё срочней — как снестись?

К счастью, сегодня Алексеев чувствовал себя гораздо лучше.

Между тем, частными путями притекали из Петрограда и худшие сведения: что офицеров и чинов полиции убивают, многие здания в пожарах, арестован Председатель Государственного Совета!

Но в противоречие с этим прислал телеграмму Председатель Думы, что власть перешла к временному комитету Государственной Думы. Так это совсем не плохо, и теперь можно надеяться на восстановление порядка.

Даже Ставка не успевала осваивать новости — что ж могли знать главнокомандующие фронтами? Алексеев поручил составить для них подробную сводку всех петроградских событий этих дней и после полудня отослал, сопроводив таким заключением:

„На всех нас лёг священный долг перед Государем и родиной сохранить верность присяге в войсках действующих армий".

Лишь бы не дрогнула армия и сохранились пути подвоза, петроградский мятеж не труд осилить.

Пути подвоза... Алексеев запросил телеграммой этого отчаянного Беляева, кажется единственного теперь деятеля в Петрограде: где же всё-таки находится министр путей сообщения Кригер-Войновский, которому удалось скрыться из Мариинского дворца? — может ли его министерство управлять сетью железных дорог?

И Беляев не замедлил узнать и меньше чем через час исправно ответил, что министр путей сообщения скрывается на чужой частной квартире и выполнять своих функций не может.

Но для такого случая могла пригодиться созданная Гурко при Ставке должность помощника министра путей сообщения на театре военных действий: власть надо всей железнодорожной сетью теперь может безотлагательно перейти к нему.

Таковым состоял при Ставке генерал Кисляков. До сих пор его пост был как-то мало заметен, Алексеев с ним и дела не имел. Но теперь он становился самой центральной фигурой. И Алексеев написал ему распоряжение, что немедленно принимает через него на себя управление всеми железными дорогами страны. Тем более настоятельно, что в снабжении Юго-Западного из-за метелей последнее время значительные перебои.

Это было в половине первого дня. Кажется, к середине дня генерал Алексеев принял все возможные меры для остановки мятежа,— не мог придумать, чего он ещё не сделал.

Ещё, пожалуй, телеграмму всем командующим округами: чрезвычайно оградить железнодорожных служащих узловых станций, мастерских и депо от посягновений внести к ним смуту извне. И чтобы все они были обеспечены продовольствием.

Но тут немедленно явился с докладом генерал Кисляков, прежде видимый только в офицерской штабной столовой,— грузный, жирный, с широким бледным лицом, а молодой. Длинно и волнуясь, он стал излагать разные железнодорожные подробности, в большом объёме, а с тем смыслом, что до сих пор он руководил прифронтовыми железными дорогами лишь в техническом отношении, а никак не в хозяйственно-административном, каковое управление, будучи внезапно перенесено в Ставку, может вызвать большие затруднения в планомерной работе всей сети дорог. Сейчас, пока ещё не выявились достаточные признаки, что нарушено центральное управление железными дорогами, такой административный перенос был бы крайне неосмотрителен и вреден. Это — в том, что касается прифронтовых железных дорог. В отношении же в с е й сети Империи генерал Кисляков даже затрудняется подвергнуть такую проблему предварительному обсуждению — настолько она для него недоступна.

Он семенил, рыжий, длинными складными фразами, а взгляд его при этом был косо спущен по перекривленному лицу.

Ведь вот бывают фамилии до того оправданные, как прилепленные: Кисляков. Кисло-затхлым безнадёжным запахом так и пахнуло на Алексеева от этого рыхлого человека. И столько месяцев сидел на посту — не видели.

А без него — Алексеев тем более не мог бы враз осуществлять совсем незнакомое ему управление.

Что же делать? Придётся эту меру задержать.

Посмотреть, как железные дороги будут функционировать сами, без министерства.

А ещё вспомнилось: большая доля снабжения в руках Земгора.

Так что Ставка совсем не так неуязвима.

191

Сословие инженеров путей сообщения в России гроздилось талантами, знаниями, умением. Оно вбирало в себя цвет мужской молодёжи — привлекательностью своей работы и высокими приёмными конкурсами. Бездельники и революционеры туда не шли. Пять лет обучения были упорный труд, отличная научная подготовка и деятельная летняя практика. Сам характер железнодорожной службы при раскинутых русских просторах вырабатывал дельных и смелых работников, умеющих выходить из самых сложных положений, хорошо знающих жизнь, людей, цену всякого труда и имеющих возможность каждую работу подчинённого достойно оплатить. В такой системе не знали, что значит устройство по протекции, а лишь по таланту и опыту. И каждый, не гнясь о хлебе насущном, мог всё время и силы отдавать этой разнообразной работе, всё в гранях новых задач. Командировки на изыскания, постройки, железнодорожные совещания и собственный бесплатный проезд давали им широкий обзор своей страны, а также и Европы. И обычно железнодорожным подлинным инженерам никогда не оставалось времени не то что на общественные дела, но даже на семейные.

Александр же Александрович Бубликов никогда не помещался в жизненном амплуа инженера путей сообщения. Никакая работа на действующей дороге или на постройке новой никак его не насыщала. Уж он и переливался в общую экономику, был вызываем работать в разных комиссиях при министерстве, формовать общие вопросы,— нет, не то, недостаточно! Наконец он догадался баллотироваться в Государственную Думу и в 1912 был избран в неё от Пермской губернии, где занимался железнодорожными изысканиями. И уж так вознадеялся! — но и тут осталось томиться втуне его страсти к действию: в Думе состояло десятка два главных говорунов, от кадетской партии более, чем от других, и они занимали четыре пятых всего думского времени,— да и это разве было действие? А остальным полагалось молчать, голосовать,

можно работать в комиссиях. Но думские комиссии давали куда меньше разрядки к делу, чем комиссии при министерстве. Сознавал в себе Бубликов какой-то особенно мятежный талант, если не гений, а применить его не мог. А вот уже — 42 года.

Да и фамилия у него была юмористическая, мешала серьёзному политическому амплуа.

Бубликов принадлежал, конечно, к русской интеллигенции, из своего происхождения не вырвешься, но по сути глубоко отличался от её основного типа. Основной тип русского интеллигента утонул в морали, в рассуждениях, что хорошо, что плохо, способен рыдать и жертвовать,— но уже экономики дичится, а управлять государством и совсем неспособен. А Бубликов — именно силу управления в себе отчётливо чувствовал, но железные дороги были для него слишком узки, а вся Россия в целом не давалась.

Но от вчерашнего грома сразу сердце застучало, что пришёл его миг! И он кинулся воодушевлять депутатов открыть громовое же заседание Думы! Но трусливая депутатская толпа не посмела. А слушать их вялую болтовню в Полуциркульном — можно было заболеть,— когда уже тысячные массы двигались по городу и где-то зрела туча реакции! Бубликов метался туда и сюда по взбудораженному ро́йному Таврическому, остро приглядываясь и нервно потирая руки. События катились необычайны — и необычайно же, энергично и коротковременно должно найтись деловое решение. Но самые простые решения трудней всего приходят в голову. Вот нужное ключевое не приходило и события катились, как им вздумается.

И так Бубликов ночевал в Таврическом, как и все, и всё явней видел, что над революцией не встаёт руководящая личность, и она беззащитна против подавления. Так и есть! — с утра пришёл слух об экспедиции генерала Иванова на Петроград.

Катилось! И — задавят? Что делать? что делать? А думские вожди болтали, болтались, ничего серьёзного не предпринимая. А силы подавления — вся Действующая армия, они несравненны с петроградским гарнизоном.

А вся Россия, со всем её порохом либеральной интеллигенции и взрывоготовной учащейся молодёжи,— дремала, заметенная снегами, и ничего не знала о событиях в Петрограде.

И тут Бубликову открылась искомая гениально-простая идея! — именно только железнодорожнику она и могла открыться. Пассивная крестьянско-мещанская Россия и не имеет никакого значения, активная же Россия вся стянута к нервам железных дорог, это государство в государстве. Все железные дороги — до Владивостока, до Туркестана, имеют единую телеграфную связь, самую живую, а центр её — в министерстве путей сообщения. Эта связь, как хорошо знал Бубликов, совершенно не зависит от сети министерства внутренних дел, нигде с ней не сливается и повсюду обслуживается вольномыслящими телеграфистами. Так вот: захватить этот узел связи — и открыть себе голос на всю Россию!

И он бросился искать — не Керенского, не Чхеидзе — а сразу главного, Родзянку. Нашёл его тушу, бродящую в окружении разных искателей, пытался привлечь его внимание, отвести конфиденциально, даже начинал говорить,— но тот не внял и рассеянно закруживался дальше.

Тогда Бубликов подстерёг его на возврате с речи перед полком, дышащего кузнечной грудью. И тут вклинил ему в голову мысль о захвате министерства — но великан даже испугался, зазяб огромными плечами,— да он совсем не понимал, что вообще н а д о б р а т ь в л а с т ь! — а не ждать пассивно, как придут на нас царские войска. Родзянко всё ещё дышал законопослушностью. Бубликов стоял перед ним, вид среднего буржуа с холёной наружностью, только ртутной подвижностью и отличавшийся,— но этой подвижности не мог ему передать. И — плавно утёк Родзянко.

Но чёрт возьми! — но от кого ж другого получить разрешение действовать? Рискнуть — совсем без разрешения? Это было бы в духе Бубликова. Но — в нужный момент может не хватить опоры.

А между тем, слоняясь по Таврическому меж густящегося множества незанятых людей, Бубликов присматривался, понимая, что тут-то и сошлись

все нужные ему исполнители и помощники, только требуется их разглядеть, позвать и стянуть вокруг себя. И он — разговорялся с одним, другим. Из первых таких пригляделся ему симпатичный и услужливый гусарский ротмистр с пышными светлыми усами. Был он один, без своих гусаров, явно свободен, явно искал встреч и разговоров и охотно всем улыбался.

— А не хотели бы вы поучаствовать в революционной операции? — спросил его Бубликов в одну из встреч в толчее.

— К вашим услугам, ротмистр Сосновский! — с весёлой готовностью отозвался тот.

Затем нашёлся свободный молодой солдат с интеллигентным, но решительным лицом — Рулевский, бывший польский социалист, а теперь социал-демократ-циммервальдист, счетовод службы сборов Северо-западных железных дорог. Отлично! Он — тоже готов. Ещё нашёлся лохмато-кучерявый Эдуард Шмускес, то ли студент, то ли бывший, тоже искал себе горячего революционного занятия.

Силы революции складывались сами! Они томились, рвались — надо было уметь их направить!

Всё более решаясь, Бубликов раздобыл лист бумаги, перо и, примостясь в какой-то комнате, отчётливым почерком написал себе полномочия от Комитета Государственной Думы на занятие министерства путей сообщений. С этим листом пошёл искать Родзянку, нашёл, всё так же в движении, проталкивании через толпу с кем-то и куда-то, и так же в движении продолжал его уговаривать, что нельзя ничего не предпринять для защиты свободы. Родзянко рассеянно удивился: „Ну, если это так необходимо, то пойдите и займите". Оттого ли, что это была уже третья попытка, или Родзянко за минувшие часы стал мыслить смелей,— но он взял полномочия Бубликова, припластал к колонне Екатерининского зала и расписался на них. Расписался без большого интереса, скорее чтоб отмахнуться от настойчивого депутата.

Но Бубликов тут же подал ему и энергичное воззвание, тоже уже написанное им и которое он собирался распускать по телеграфу. Начиналось с того, что „я сего числа занял министерство путей сообщения и объявляю следующий приказ Председателя Государственной Думы". Итак, Родзянко читал свой собственный, ему самому ещё не известный приказ: „Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления,— пала!"

Тут Родзянко удивился:

— Так нельзя выражаться. Старая власть ещё...

Как? Он не понимал, что власть уже пала? *Он* не понимал? Кто же тогда? Поди с ними делай революцию!

А если и не пала — так надо ж её подтолкнуть.

— Но именно так надо написать! — живо настаивал Бубликов, всей своей революционной жилой чувствуя: пала! Сразу впечатление. И — падёт!

— Нет-нет,— бурчал Родзянко.— Как-нибудь осторожней.

— Хорошо: старая власть оказалась бессильной?

Согласился.

И ещё получил у Родзянки разрешение взять на экспедицию два грузовика — автомобили и солдаты скоплялись перед Думой в её распоряжение.

Сосновский и Шмускес бросились собирать команду, охотников набралось больше полусотни, примкнули и два прапорщика. А сам Бубликов с бумагами в кармане и без оружия вышел счастливым революционным шагом. Необычайная минута жизни! К двум грузовикам охотно увязался ещё и третий, тут же Бубликов прибрал себе бездействующий пассажирский мотор, ничьего разрешения и не требовалось. У всех солдат винтовки наискось за спинами, штыками вверх, так что влезая в кузов едва не кололи друг друга. Кажется, были и пьяные.

Покатили на Фонтанку и к Вознесенскому проспекту.

Оставляемый позади роящийся Таврический был только видимость. А действие вот оно: никому не известный Александр Бубликов идёт брать в собственные дерзкие руки нервный узел империи!

А что за разгульный вид был у взбудораженных улиц! Местами пусто и стрельба, местами толпы, то кучка солдат или рабочих, спешат куда-то

с винтовками уже наперевес, то едет санитарный автомобиль с ранеными и сёстрами, то громят лавку, то ведут арестованных офицеров, то такие же грузовики, как и в бубликовской колонне, и при встрече салютуют выстрелами.

Доехали до министерства — солдаты высыпались из кузовов, Шмускес и прапорщики расставляли парных часовых у ворот, у главного входа, у запасных, а Сосновский и Рулевский по правую и левую руку стремительного Бубликова, отчаянного при своей благообразной внешности, и во главе ещё двух дюжин солдат,— ринулись внутрь. Бубликов не раз тут бывал, расположение знал и указывал, где надо ставить посты — на пересечении коридоров, к узлу телеграфа, к кабинетам министра, товарищей министра,— а в кабинет начальника управления железных дорог собирать всех старших чинов ведомства.

Да они уже видели, да уже там и сям испуганно убегали в двери или выглядывали, уже всюду пронёсся слух о приходе власти! Да прекрасно Бубликов чувствовал их: они конечно истомлены страхом, что с ними будет, и счастливы попасть под твёрдую власть, в определённость положения. Сейчас-сейчас, Бубликов сам объявит им грозно, что они могут продолжать работу, и они будут счастливы. А пышноусый ротмистр Сосновский тем временем становится комендантом здания, начальником охраны министерства. А гололицый солдат Рулевский — начальником телеграфной связи,— и через полчаса по паутинке проводков вдоль всех железных дорог империи телеграфисты мирных станций, далёких и заснеженных, начнут принимать, и дальше выстукивать и разносить по своей местности — слова пламенеющие, возможные только в революцию:

„Комитет Государственной Думы, взяв в свои руки создание новой власти, обращается к вам от имени отечества. Страна ждёт от вас больше, чем исполнения долга,— она ждёт подвига!"

Всё так, но кто будет направлять министерство? Одного политического задора мало, надо знать и все подробности руководства. Нужно склонить или самого министра или двух его товарищей.

Донесли Бубликову, что Кригер-Войновский на казённую квартиру при министерстве не переезжал, там — только прислуга прежнего министра Трепова. А Кригер с утра не был, вот только пришёл — и у себя в кабинете.

Но не пытается вырваться, командовать? Значит, уже сдаётся.

Уже Бубликову было море по колено, он развязно пошёл к министру. Власть была — несомненно у него, полсотни штыков тут, и весь Петроград. А вот — пройдя тяжёлую дверь и пересекая долготу кабинета — к столу, за которым как ни в чём не бывало сидел невысокий, совсем лысый в пятьдесят лет Кригер-Войновский в железнодорожном сюртуке с богато размеченными петлицами,— Бубликов с каждым шагом терял свою нахватанность, а вправлялся в инженерный ранг, где, между серьёзными людьми наедине, его комиссарство выглядело как шарлатанство, а опытом, а знаньями Кригер был несомненно выше него. Бубликов выглядел как изменник вот этим самым железнодорожным петлицам, инженерному знаку.

И не получилось у него ничто громогласное комиссарское, а вежливо:

— Эдуард Брониславович. Вот я тут... назначен от Родзянки. Да может быть вы бы признали Комитет Государственной Думы, да вот и всё? И руководите.

И если бы Кригер-Войновский сейчас поднялся бы с грозной властью, что никто не смеет касаться святого железнодорожного дела,— пожалуй, к Бубликову бы и вернулось инженерное сознание, отчасти бы и струсил. И во всяком случае, много бы уступил, просто по разуму дела.

Но Кригер — Кригер сам смотрел от стола придавленно, озадаченно, на маленьком лице его отвисали нижние веки и нижняя губа. И не властно, но извинительно:

— Алексан Саныч... Вы понимаете, я — присягал Государю императору, и пока он на престоле...

И — от бубликовской головы, тщательно отделанной парикмахером, отпарялся инженерный туман, а ноги наливались горячим свинцом комиссарства.

— Тогда простите,— сказал он,— я должен подвергнуть вас аресту.— Но великодушно: — Где вы предпочитаете? Здесь? Или у себя на квартире? Или в Государственной Думе?

— Я бы, Алексан Саныч, предпочитал здесь,— без колебания выбрал Кригер.— Особенно если вы мне оставите телефон.

— Отчего же, конечно, конечно! Тогда, простите, за дверью будут часовые. А прислуга Трепова будет носить вам еду.

Бубликов спешил. Кригер был министр недавний и либеральный, и то вот. А товарищ его Устругов — старомоднейший монархист, а понадобится в работе. И ещё один товарищ министра, Борисов, этого Бубликов надеялся склонить легче. Чтобы железные дороги были руководимы, как ни в чём не бывало. А тем временем — рассылать свою огненную телеграмму!

После подписи Родзянки ещё добавить от себя:

„Член вашей семьи, я твёрдо верю, что вы сумеете оправдать надежды нашей родины. Комиссар Государственной Думы Бубликов".

Он кидал на Россию Зверя Революции, которая ещё не произошла,— но чтобы произошла!

А Кригер остался очень доволен. Бубликов застал его за отбором собственных бумаг, писем и книг, которые он хотел спасти, ожидая для себя худшего. Со вчерашнего вечера чего он только не испытал. Из Мариинского дворца после заседания правительства долго нельзя было выйти — опасно, стреляют, да и слух был, что по квартирам министров уже ходят с обысками. Но и остаться нельзя: во дворец ворвались революционеры. Кригер с Покровским поспешили через двор и калитку в Демидов переулок, но она оказалась заперта, а снаружи сообщили, что и тут опасно. Западня! Вернулись, а уже по дворцу толпа что-то била, валила, разыскивала. Тогда оба министра, хотя оба либеральные и могли бы рассчитывать, что их пощадят, по чёрной лестнице спустились в коридор жилых помещений курьеров, швейцаров и сторожей и пересидели там всю ночь в тёмном углу на дровах и бочонках, хотя и туда врывались, осматривались, спрашивали. А под утро, когда во дворце несколько успокоилось, сынишка курьера вывел их ещё через один двор и ворота. На площади толпа громила, била «Асторию», а на других улицах была пустота, но при полном освещении, оттого жутко, и нигде ни одного дворника. Перебыв несколько часов у знакомого, Кригер считал себя обязанным идти в министерство: никто его не освобождал от долга. А тут — налетел Бубликов с солдатами.

Да что ж, Кригер пробыл министром всего три месяца. Из каждого заседания совета министров он выносил ощущение безнадёжности, не чувствовал и твёрдой государевой поддержки. В первые годы войны, как ему пришлось видеть, Государь имел бодрый вид, проявлял ко всему интерес, очень разумно высказывался. Но этой осенью на всеподданнейших докладах он производил уже впечатление уставшего, всё менее чувствительного к неудачам и невзгодам. А в этом январе он был уже вовсе подломлен, ко всему равнодушен, не верил более ни в какие удачи, и всё предоставлял воле Бога. И откуда же министрам взять силу?

Зачем было так враждовать с Государственной Думой? Зачем было ставить в министры людей, не знающих России? Зачем было расставлять губернаторами и градоначальниками случайных неосвоенных людей, а города на время войны оставить без крепких частей? Ещё раньше: зачем вообще было встревать в эту войну, так без меры распинаться то за болгар, то за сербов, пренебрегая своей внутренней неустроенностью?

Если всё так текло по безволью государеву и само — почему теперь случайный Кригер должен был в министерстве путей сообщения давать бой?

192

Так сидели, пять-семь генералов и полковников, пили голый кофе — и ждали, что за ними придут. Глупый конец служебных усилий.

Удивлялись, куда делись Беляев и Занкевич.

Хотя нигде не осталось никакой охраны, никаких караулов — ещё почти час в Адмиралтейство не врывались, очевидно опасаясь засады или обороны.

Наконец, и сюда, в закрытую комнату, донёсся шум толпы, топот многих по отлогим лестницам и крики:

— Дальше!.. Выше!.. Ишь, попрятались, мать их, мать, мать...

Вот когда стало страшно — страшно вообразить этот лик разъярённой толпы, как она ворвётся. Что может сделать революционная толпа? — да разорвать на части.

И миг наступил! — дверь с шумом толкнули, и сразу вступил не один, но втискивались, торопились несколько, много. И в минуту комната была заполнена.

Военные и полицейские генералы невольно встали все, хотя этого никто не потребовал.

Из передних был — прапорщик, в форме стрелков, в новеньком походном снаряжении, пьяный, сизый, в прыщах, в руке большой маузер, который он и наводил поочерёдно каждому в лицо.

Другой — совсем юный солдатик в расстёгнутой шинели, с красными кантами погонов, с нежным цветом лица, тоже пьян. В руке у него была обнажённая офицерская шашка с анненским темляком — и он страшно размахивал ею перед головами генералов. Казалось: рука его молодая не выдержит, и сейчас шашка на кого-то опустится. Он тонко и непрерывно кричал и ругался больше всех, кажется ощущая себя здесь главным.

А между ними стояла — баба, даже смирная, молчала, из-под платка её выбивалась проседь, а поверх длинного пальто она была перепоясана офицерской шашкой на широком кожаном ремне.

Были и ещё, ещё фигуры, но они сразу не охватывались, глаза притягивал этот маузер и провороты шашки. Солдат кричал:

— А где тут промеж вас Хабалов?

Маузер целился:

— Кто Хабалов?

Но Хабалов что-то не отзывался. Генералы стали коситься друг на друга, коситься — и не увидели его. Он куда-то исчез.

И тогда маузер наметил:

— А ты кто?

— Я,— собирая остатки хладнокровия,— градоначальник Петрограда Балк. Арестуйте меня и ведите в Думу.

Арестуйте! — чтоб не вздумали выстрелить. Государственная Дума оказалась таким прибежищем, спасением, сенью интеллигентности и взаимопонятности. Страшны были — только эти, из народа. Как бы в Думу попасть!

— Ну, иди! — сказали Балку.

И он пошёл из комнаты первый. Сперва ему дали дорогу, а потом — страшный настигающий радостный крик раздался позади, так что он уже спиной ожидал вонзания, передёрнул плечами — но ничего не произошло. Оглянулся — шли за ним и сослуживцы, полицейская головка. И больной израненный Тяжельников. Да кажется и Хабалов, уже и он шёл в их группе, откуда-то присоединился.

Безоружная часть толпы растекалась по зданию, ища брошенное оружие. Вооружённые вели пленных.

Вышли через главный выход в сторону Адмиралтейского сквера, мимо атлантов, держащих земные шары. Тут стояли два грузовика с красными флагами у моторов. Балк со своим заместителем сели рядом с шофёром первого, кто-то — сзади в кузов, Хабалов с Тяжельниковым — во второй автомобиль.

Толпа кричала, ругала, поносила, гоготала — и всё покрывалось „ура!".

Шофёр первого дал с места резкий ход — и сразу же налетел на чугунную тумбу, выворотил её — и сам дальше не пошёл. Сколько ни пробовал — мотор не шёл.

Второй грузовик со скрежетом обогнал их, развернулся направо и ушёл по Невскому.

А первый шофёр всё пробовал тронуться — и ругался.

Сперва у Балка проскочило облегчение, но тут же понял, что только утяжелился их путь.

Вдруг из Гороховой от градоначальства выскочил пассажирский автомобиль и открыл стрельбу из пулемёта.

В панике все вокруг грузовика стали бросаться на снег, и шофёр соскочил, убежал,— а пленные сидели и стояли в кузове.

Рядом какой-то старик в валенках стал для ответной стрельбы по правилам на одно колено и пытался достать патрон, — но, видно, система была незнакомая, и ничего не получалось.

Кто-то и отвечал.

И так шла стрельба больше минуты, никого не раня и не убивая. Вдруг тот неизвестный автомобиль перестал стрелять, рванул в сторону Дворцовой площади — и исчез за ней.

Шофёр вернулся — но поделать с грузовиком всё так же ничего не мог.

Балк уже понял, что самое опасное — это дорога, а в Думе — спасение.

— Если не идёт автомобиль — так ведите в Думу пешим порядком,— стал требовать он.

Из главных остался тот прапорщик с маузером, и он замысловато и заплетаясь скомандовал — всем слезть и идти пешком.

В окружении добровольного густого разнохарактерного конвоя они пошли, а грузовик бросили.

Но посреди Дворцовой площади поперёк ехал какой-то частный открытый автомобиль без красного флага. Прапорщик выстрелил два раза в воздух, остановил тот мотор, высадил всех пассажиров, усадил главных пленников на продавленные сиденья, снаружи на подножках и крыльях прицепились ещё вооружённые,— и так они медленно поехали, сильно перегруженные.

Выехали на Дворцовую набережную. Слепило солнце.

Один, на подножке, всё подымал и тряс винтовкой, всё подымал и тряс, и кричал до разрыва горла „ура!". Ему в ответ с тротуаров тоже махали винтовками и револьверами, тоже кричали „ура", а некоторые стреляли в воздух.

Солдат с другой подножки кричал им:

— Да товарыщы! Да нэ стреляйтэ же! Да берегить патроны, оны еще пригодятся!

Тут Балка узнавал бы каждый дворник, но не видно было их, скрылись. У Зимнего дворца шли навстречу два английских офицера, один знакомый Балку, его необычно длинную фигуру знал каждый, кто бывал в „Астории". Тот теперь остановился, повернулся к едущим и, держа обе руки в карманах, качаясь туловищем вперёд и назад, иссильно смеялся, смеялся, хохотал над видом их автомобиля, арестованных генералов, и ещё поворачивался, поворачивался, чтоб не упустить комичное зрелище. И вытянул руку из кармана, показывая на них вослед.

Перегруженный автомобиль скрипел, лязгал рессорами на снежных взгорках, два раза останавливался — и Балк обмирал, что опять испортился и, не довезя, расстреляют.

Улицы не были многолюдны, пока не стали приближаться к Думе. Тут — всё гуще, автомобиль гудел, разгоняя. В одном месте стояла без прислуги и без снарядов — отдельная пушка, жерлом навстречу им.

То — на конях показалось несколько артиллерийских офицеров, без шинелей, все с большими красными бантами на груди, публика кричала им приветствия, ура,— и они с удовольствием раскланивались.

Начиная от думских ворот густилась уже плотная масса людей, да автомобиль дальше и не пошёл, как раз отказав тут.

Толпа обступила их с ругательствами, насмешками и угрозами.

Какой-то пьяный, по виду дворник, громко мычал и при ссадке наземь всё норовил достать Балку до глаз своими пальцами, расставленными как рогатина.

Окружающие потешались и подзадоривали. В этой толчее, на последних шагах, ещё всё могло случиться — и по голове ударить и убить.

Но навстречу протиснулось несколько студентов Военно-медицинской Академии — и окружили арестованных защитным кольцом.

Вошли в Думу.

Там за столом сидела и кругом толпилась победительная молодёжь, преимущественно еврейская. Некоторые юноши с револьверами ужасающих и устаревших систем. Балка сразу узнали, стали кричать:

— Градоначальник! Это вы отдали приказание вашей полиции расстреливать народ из пулемётов?

Балк и не понял — из каких пулемётов? У полиции никогда их не было вовсе.

Один студент насмешливо возражал:

— Товарищи, товарищи! Теперь — полная свобода слов и действий, не оказывайте давления на градоначальника!

Балка вели дальше, наискось через Екатерининский заполненный зал, где другие юноши с упоением отбивали шаг вместе с солдатами — зачем-то и солдаты большим строем маршировали тут, в зале, во всём боевом снаряжении.

Всё это походило на сон или сумасшедший дом.

Кто-то крикнул:

— В министерский павильон!

Их повели светлым коридором. У входа в павильон перед часовыми сидел в кресле в белом облачении изнеможённый митрополит Питирим — и говорил, что он не может встать и не может идти.

В комнате павильона за большим столом уже сидело несколько безмолвных арестованных министров: им запрещали разговаривать.

А Хабалова — тут не было.

193

От начала войны все трое старших сыновей Кривошеиных рвались, как бы боясь опоздать умереть за Россию. Да и отец говорил: какое учение, когда надо врага бить.

Двое старших по началу войны бросили университет и ушли вольноопределяющимися в артиллерию. С тех пор оба уже получили по солдатскому георгиевскому кресту, были подпоручики.

Третий сын, Игорь, едва окончив год назад гимназию, уже ни о каком университете и не думал, но тут же поступил на последний ускоренный курс Пажеского корпуса, с минувшей осени был уже прапорщик лейб-гвардии конной артиллерии, проходил стажировку в запасной батарее в Павловске — и вот скоро счастливо успевал к главным событиям войны.

Но в короткие недели гордого отпуска перед фронтом, судьбой и сердцем уже там,— вот не привелось Игорю погулять в столице! — началась суматоха. Когда вчера благожелательный унтер предупредил его на Воскресенском, что на Кирочной убивают офицеров, Игорь испытал растерянность, стеснение, оскорбление — новые чувства и в новом положении, в котором он никогда не бывал. Год назад он был беспечный гимназист, ни для какой толпы не завидный, и минувший год в нём воспитывали офицерское достоинство — и вдруг оно же поставило его против своей русской толпы?

И тут же, воротясь домой, он услышал от Риттиха, как волнуется следующий ряд его однокашников-пажей, рвётся ещё в новый бой, уже внутренний.

Что нужно делать? Смятение, неготовность. А его батарея спокойно стояла в Павловске, и не звала. И ничего важнее фронта всё равно не оставалось.

И так весь оставшийся день вчера и уже полдня сегодня Игорь унизительно сидел дома, лишь посматривая на Сергиевскую с четвёртого этажа — кто там проходит по улице, какая странная публика и в каком сочетании. Вчера там катилась и обезумелая толпа первых восставших волынцев, а потом много миновало всяких групп и одиночек, и автомобилей, со стрельбою и без стрельбы, с красными флагами и красными знаками, давая определённое представление, что же делается на улицах главных.

Унизительно было затаиваться и скрываться. Да Игорь не испытывал страха, он непременно пошёл бы по улицам, может где во что вмешаться, он не отчётливо чувствовал новизну положения. Но отец сурово осадил: сделать бы он ничего не мог, а только бы выставил себя на оплевание. (А уж о матери что

и говорить!) Пойти в штатском? Но не для того он выслуживал офицерский мундир, чтобы теперь избегать его и прятаться.

Да отвращением наполнялась душа от этой гнусности, разыгравшейся в Петрограде, когда все лучшие, вся армия — на святой войне.

Из парадных комнат Игорь уходил в свою, по дворовой стороне, откуда не виделось раздражающее уличное мелькание, и можно было бы вообразить, что ничего в Петрограде не происходит, если бы всё ещё не потягивало гарью от Окружного суда.

Вдруг он услышал, что как-то дверьми хлопают не по-семейному и переступают тяжёлыми ногами, и совсем чужие голоса, а в ответ им — оскорблённый и всё возвышающийся голос матери. И тогда Игорь вскочил как был, в кителе, с пистолетом на поясе, поспешил туда — и прежде чем разглядел всю сцену, нескольких вооружённых солдат, у кого шинель полурасстёгнута, и мать за спинкою стула против них,— его заметили и закричали:

— Да вот он!

Кровь ударила Игорю в лицо: пришли за ним? его искали?

Отец что-то не выходил. Тётя шепнула, что ушёл провожать Риттиха.

А мать выговаривала:

— У меня — два сына на фронте! И этот — едет! Как вам не стыдно? Война идёт! А вы бунтуете! Как это называется?

И тётя строго.

Но им — совсем не было стыдно, да они и не вступали в спор, они пришли по праву силы, что-то тут сделать. Игорь обежал их лица — и вдруг не почувствовал своего всегдашнего любования русским солдатом: вместо смелости, подхватистой службы, отвратительное было в этих лицах. Один твердил:

— С этого дома стреляли. У вас офицер, нам сказали. Вот он и есть.

(И это же действительно кто-то в доме указал! — из тех, кто улыбается каждый день при проходе.)

— Сдайте, ваше благородие, пистолетик!

Оружие — честь офицера. Ещё ни разу не использованное в бою! Отдать свою честь!

А иначе — надо было отстреливаться. Тут. Они стояли угрожающе, уже штыки поворачивали.

Высокий тонкий худой Игорь закинул голову, бледный.

— Отдай, Игорь,— попросила мать.

Его душило отчаяние, горе, он сам не помнил, как это сделал, во тьме.

А они — ходили грязными сапогами по коврам, один попёрся в будуар к матери, в кабинет отца, тётя за ним. Другой, штатский, ходил тут, по гостиной, между креслами, по два-по три окружавшими столики с безделушками, посмотрел на барельеф „Вознесение Господне" и сказал насмешливо:

— А квартира у вас — что дворец!

А третий схватил графин с водой, ототкнул и понюхал, проверяя, не водка ли.

Хотя Игорь отдал пистолет, но не стало лучше: заговорили, что они его увезут с собой.

— Нет! — закричала мать и загородила проход руками.— Вы его убьёте.

Тот штатский сказал с кривой улыбкой:

— Не беспокойтесь, мадам, не убьём.

Штатский был из полуобразованных, ядовитая порода. Уверял, что отведут только на проверку. Игорь надел шинель, без шашки, и, успокаивая мать, пошёл за ними на лестницу.

А на солнечной улице весь наряд сразу его и покинул. Штатский велел одному солдату, простоватому парню, вести арестованного в Думу и сдать коменданту. А сам с остальной компанией отправился дальше по Сергиевской. Весь этот заход в дом, отнятие пистолета, арест — были для них, очевидно, попутным эпизодом.

Отвести и сдать коменданту! — это и значило арест, никакая не проверка.

Как же мгновенно изменилась судьба Игоря! — из гордого офицера, едущего на фронт, он превратился в арестанта, униженно идущего по мосто-

вой в двух шагах перед штыком своего конвоира, под любопытные взгляды публики.

Он старался выправкой своей, закинутой головой и гордым лицом показать всем, что он — нисколько не преступник и презирает этот арест.

Как, наверно, дико должно казаться: арестованный офицер, ведомый по мостовой!

И все прохожие останавливались, смотрели. С удивлением, страхом,— но никто не проклинал. Даже скорей с сочувствием:

— Наверно, с чердака стрелял.

— Наверно, у него фамилия немецкая.

Вот положение! — даже от этих сочувственных догадок Игорь не мог оборониться, оправдаться, рассказать этим людям по-человечески, как всё случайно и несчастно произошло. Невидимая перегородка ареста уже оторвала его от простого человеческого рассказа.

А как мама там страдает? А что скажет отец, вернувшись? Но он скажет что-нибудь спокойное.

Хорошо, что Риттих ушёл, не схватили бы его.

Перед Думой и особенно в сквере была ужасная толчея, почти пробивались, отходили грузовики, мотоциклы. Тут арестованному офицеру совсем не удивлялись, но сам он не мог рассмотреть толпы.

И — разве первую толпу в жизни он видел? но никогда не замечал подобного: проступающей жестокости на многих лицах, и не в особый момент их возбуждения, а в этом будничном полувесёлом стоянии в солнечный день подле Таврического. Как будто с известного антропологического, психологического, национального, сословного типа — сдёрнули верхнюю кожицу, и у всех сразу проступила жестокость.

И — жутко становилось, будто ты попал не в свой народ и на другую планету, и здесь можно ждать всего.

В самом дворце была неразберишная толчея ещё горше, и солдат-конвоир совсем растерялся: где тут, какого коменданта искать. Уж арестованный сам расспрашивал и направлял.

Наконец, пробились — не к коменданту, но в переполненную комнату, где люди разного вида стояли и сидели, ожидали, тоже, очевидно, приведённые, ещё со своими конвоирами или уже без них,— а за столом, стеснённая или обстоенная, сидела как бы комиссия, несколько штатских думских, опрашивали и записывали — на каких-то клочках бумаги, которые тут же в беспорядке валялись и падали со стола.

У этих у всех лица были человеческие, со вниманием, с улыбкой, только усталые.

Один такой симпатичный спросил Игоря:

— За что вас арестовали?

Но теперь сам Игорь не размягчился, так набрался обиды за всю арестную дорогу, и вся обида выдавилась в горло. Сухим тонким голосом он ответил:

— Наверно за то, что фамилия немецкая. И что стрелял с чердака.

— А какая именно фамилия?

— Кривошеин.

— Позвольте, какая ж это немецкая? — улыбался тот.

— Такая же, как стрельба с чердака.

— Вы не родственник Александра Васильевича?

— Сын.

— Бож-же мой!

Тут же, на клочке, написано было ему, что он прошёл проверку в Государственной Думе и не может быть арестован.

И уже без конвоира (тот с порога и потерялся) Игорь снова пробивался через людской хаос — наружу.

Но короткий арест как будто дал ему новое зрение: на множестве лиц он видел эту новорожденную обнажённую жестокость — и не мог перестать видеть её.

Что-то явилось новое в наш мир.

194

Кто из членов Исполнительного Комитета и уходил ночевать из дворца, а тем более кто перебыл тут,— не имел ощущения, что и ночь сегодня была: одна непрерывная лихорадка, захватившая их вчера к склону дня, продолжалась и в темноте и с позднего рассвета. А уж к 11 часам утра она всех их стянула снова в комнату № 13 (и хорошо, что была у них эта комната, отдельная от своего же сбродного Совета,— и удерживать её собственными телами, и никого сюда не пускать). А как только собрались тут, так ещё властней затрясли их: изумление ото всего происшедшего — и страх идущей расплаты — и разрывное переполнение политическими задачами, которые нельзя было откладывать. Ещё позавчера, в воскресенье, они жили каждый своею малой обывательской жизнью, ни к чему быстрому не готовясь, при поблекшей и забытой революционной перспективе, а вот сотряслось, изверглось, вынесло их на вершину,— и шагали, и катили 8, нето 16 полков генерала Иванова — а членам И-Ка надо было именно в этих часах всё и решать: за рабочих, за солдат, за обывателей, за Петроград, за Армию, за всю Россию, решать сразу сто вопросов, и каждый из них главный и первоочерёдный, а все вместе их можно было назвать — Судьба Революции!

Даже только разобрать, разделить эти вопросы, установить для них порядок — уже не могло вместиться в один день, не то чтоб их решить. И может всего-то одни сутки и оставались у них до наката грозной карательной силы Иванова, эта нависающая угроза ужасно мешала деловому обсуждению. Но у членов ИК оставался — всего один единственный может быть час до открытия в соседней комнате № 12 общего собрания Совета рабочих депутатов, куда должно было явиться сегодня гораздо больше людей, чем вчера: вчера приходили случайные, никем не избранные, а сегодня могли по заводам навыбирать и несколько сот человек — а в ту комнату помещается битком двести. И что ж теперь: через час прерывать заседание ИК — и всем толпиться на собрание того Совета, которого они и были ИК? Но это абсолютно бессмысленно! Совет сделал своё дело вчера, утвердив Исполнительный Комитет, а больше ничего путёвого он сделать не мог.

— А как, товарищи, быть с солдатами? Солдат — что же, тоже включаем в Совет рабочих депутатов?

— Ни в коем случае, товарищи! В пролетарский орган не должны войти мелкобуржуазные элементы!

— А иначе, товарищи, мы рискуем изолироваться от масс.

Ясно, что солдатских депутатов тоже выбирают по ротам, и ясно, что они уже прут в Таврический и будут переть и дальше. О, чёрт!

На собрание Совета послать кого-то нескольких, и тем отмазаться. Да ясно кого: Чхеидзе. Он подходил для этого и как председатель Совета, а ещё и тем, что осоловел от происходящего, как будто крепко выпил, растеплился, расплылся,— и здесь, в ИК, совсем был не полезен для делового обсуждения.

Но ещё же кого-то? Взгляды обращались друг на друга, кого бы послать, только не меня, мало приятная задача. Да собственно, члены ИК, только теперь впервые рассевшись вокруг стола председателя бюджетной думской комиссии,— только теперь впервые и осмотрелись, и то не до конца. Они хотели бы увидеть тут, помимо лично себя, более прославленных и несомненных лиц,— но вот во всём Петрограде более прославленных не наскреблось. Кого-то из них вчера, кажется, избрали голосованием в соседней комнате, кто-то был кооптирован как „авторитетные лица левого направления", кто-то, кажется, сел и сам,— во всяком случае они все теперь должны были считаться надёжными членами Исполнительного Комитета. (А „Исполнительный Комитет" для публики должен звучать страшно: как т о т таинственный Исполнительный Комитет, который, убив Александра II, писал ультиматум Александру III. И вот он снова выплыл и командовал!) Но хотя каждый присутствующий занимал точно один стул, и стулья можно было пересчитать,— а членов ИК всё равно пересчитать было невозможно: одни сидели, другие выскакивали по срочному вызову или без него, третьи помнилось, что уже введены в ИК, но почему-то не присутствовали, а четвёртые, как

Канторович и Заславский, выдающиеся перья, очень хотели бы состоять и присутствовать, но не находилось возможности их кооптировать — так что предстояло им перейти в соседнюю комнату и направлять Совет рабочих депутатов. (Канторович пошёл туда и, найдя отсутствие кворума, задержал то собрание.) Итак, даже твёрдо сосчитаться не могли члены ИК: то ли их было ещё 15, то ли уже 25, то ли уже произведена, то ли ещё только началась кооптация видных лиц партийных направлений,— во всяком случае Шляпников уже привёл никем не избранных большевиков — Молотова, какого-то Шутко с дурацкой мордой, и от трудовиков уже уверенно засел Брамсон, а от межрайонцев — юркий Кротовский-Юренев, вчера опоздавший к дележу мест.

То-то и оно, что они тут были многие юркие, умные, но все щупло-непредставительные, а кого же посылать на Совет? И многие с надеждой взирали на рослого крупноплечего Нахамкиса — вот он и пойдёт проголосовать на Совете уже принятые постановления ИК?..

Чхеидзе пошёл открывать Совет.

Комната 13 имела два выхода: через 12-ю и непосредственно в коридор. И ещё тут была портьера, делящая саму 13-ю пополам. За портьерой, вокруг стола, теперь и уселся ИК. А перед портьерой собрались как бы привратники, недопускатели, даже один рослый лейб-гренадер,— останавливать напор из коридора. И появились первые секретарши — из своих, членов ИК, семей.

Но и в осаждённости, но и в неясном составе, но и в постоянном перемещении — а призван был сейчас ИК решить оборону революции! И в это входило — всё сразу, нераспутанным клубком. И призвать население не тратить патроны даром. И призвать сдавать оружие в районные комиссариаты (вместо бывших полицейских участков). И создавать вместо прежней полиции новую милицию,— значит, напротив, и раздавать оружие. (Самим не упуская, что может быть этой милиции придётся воевать против вооружённых сил думского Комитета.) И — создавать автомобильные отряды революции (пусть районные комиссары нареквизируют побольше частных автомобилей). А что делать со всей Армией? Как и кто защитит от карательных войск Иванова, идущих неумолимо? И что делать солдатам относительно офицеров? А не поискать ли офицеров-социалистов — такие могут быть! обратиться к ним? А железнодорожное сообщение с Москвой? — надо восстанавливать, это уязвимое место столицы. А трамвайное движение в Петрограде? — напротив не восстанавливать, чтобы не вызвать недовольство забастовщиков. А почта и телеграф? — за ними надо же наблюдать, да взять их в руки! (С кем сносится царь? царица? Ставка? да и сам думский Комитет? тоже не вредно нам знать.)

— Товарищи! Товарищи! Но всякая деятельность требует денег! Кто будет нас финансировать?

Со вчерашнего дня они почти не ели, не амортизировали своей одежды, помещения брали бесплатно, и себе не требовали заработной платы, так что не нуждались ни в каком финансировании. Но вот — им принесли и расставили по столу кружки со сладким крепким чаем и бутерброды с маслом и сыро́м. Стало рассуждаться легче.

Финансирование? Пусть думский Комитет и финансирует деятельность Совета!

Великолепная идея! Воспитанные на экономике мозги сразу разворачивают её: все государственные финансовые средства должны быть немедленно изъяты из распоряжения старой власти! Для этого немедленно революционными караулами должны быть заняты в целях охраны: Государственный банк! казначейство! монетный двор! экспедиция государственных бумаг! Арестовать все денежные средства! (Гигантская идея Парвуса в Пятом году, Финансовый манифест.)

— Нет, товарищи, мы пока сами не в силах. А давайте: пусть Совет *поручит* думскому Комитету это всё произвести!

— Нет, товарищи, надо помягче,— возразил забредший Пешехонов.— Пусть кредитные и денежные операции текут нормально, а Совет с думским Комитетом изберут наблюдающий финансовый комитет...

— Мало! мало! Не таким языком разговаривать с думцами! Они, вон, издают воззвания, а нас не спрашивают.

— Поручить Чхеидзе и Керенскому потребовать, чтобы тексты воззваний согласовывали с нами!

И вообще: выяснить формальные отношения с думским Комитетом!

И — ограничить их!

Да, но солдаты, солдаты! Если будут выбирать по одному от роты, то они тут захлестнут рабочих. А если создать отдельный солдатский Совет — то это будет конкуренция! Да и вовлекать армию в политическую борьбу?

А есть ли у нас ещё выбор? Они уже, наверно, поизбирали?

Сходил Нахамкис на Совет, сказал: и рабочих и солдат пока ещё мало, лучшие силы — отсутствуют: ходят, стреляют, обыскивают. А присутствующие — сейчас согласно проголосовали за все решения ИК.

Да не это имело значение, а сам морально-политический факт, что Совет — заседал.

Но самому-то ИК было работать всё невозможнее! За столом вопросы и так раскалывались между соседями. А каждые 5—10 минут кто-нибудь прорывался сквозь дверь, сквозь задержки, иногда и за занавески: курьеры и просители, делегаты учреждений, общественных групп или просто чёрт знает кто. И каждый врывался — со внеочередным заявлением! экстренным сообщением!! делом исключительной важности!! не терпящим отлагательства!! связанным с Судьбой Революции!!!

И каждый раз опасно было бы не выслушать, раз именно от этого сообщения зависела Судьба Революции! И каждый раз оказывался вздор или мелкий эпизод. (Тут были и сообщения о грабежах, пожарах, погромах — и Исполнительный Комитет отдавал распоряжения, не рассчитывая, что они будут исполнены, посылал охранительные отряды, без уверенности, что они сформируются.)

А когда Чхеидзе возвращался сюда отдохнуть — то врывались и вслед за ним, с Совета и из коридора, требуя его к народу, к войскам, с речью,— а иначе толпа сама ворвётся сюда.

И отдельно требовали за дверь одного-другого-третьего члена ИК — и какие-то представители каких-то организаций или общественных групп,— адвокатов, врачей, фармацевтов, торговых служащих, земско-городских, учителей, почтово-телеграфных чиновников, эстрадных артистов,— требовали мандатов в Совет Рабочих Депутатов. И была только одна возможность — уступать и давать.

За всей этой кутерьмой, дёрганьем, выбеганьем — какая была работа? Но кто понимал — самая важная незримая работа пробивалась выше всего: партийная группировка в ИК. Она — и была ключ ко всей будущей политике: кто захватит тут большинство — правые? или левые? От каждого кооптирования, или входа, или ухода — большинство чутко менялось. И несколько глаз больше всего и следили за этим балансом.

Собственно, когда все оглянулись и рассмотрелись, то безнадёжно правым тут оказался единственный только Гвоздев, хотя до вчера сидел в тюрьме за левость, а большинство левых — не сидело. Ещё, пожалуй, Богданов был слишком оборонец, и Эрлих, хотя непоследовательно. А все остальные меньшевики хоть чем-нибудь да левые — или интернационалисты, или инициативники, или всё вместе. А уж Александрович — кто из эсеров его левей?

Но, как считал Шляпников, достойно-левыми являются одни только большевики. А таких хотя он уже и насчитывал тут пяток, включая уклончивого Красикова-Павловича, а шестым присчитать межрайонца Кротовского,— но это не перевешивало сплотки меньшевиков. И теперь, пощипывая себя, чтоб не размаривал сон, он старался зорко следить за возникающими комбинациями. В этом и был смысл всех обсуждений: при каждом вопросе: какое решение *за нас* и какое *за них*. Солдат? — допустить в один Совет с рабочими (они будут за нас, и перевесят благоразумных меньшевиков)! В конце концов доспорились: включить солдат в общий Совет, но отдельной секцией. (И это успех.)

Гвоздев — тосковал на заседании, чувствуя себя одиноким, не находя

прямой работы и не надеясь ничего управить. А Гиммер, хотя и чаще всех выбегал, но просто изводился — от своей счастливо-несчастной особенности засматривать всегда на сто ходов вперёд. Ах, не то было важно, о чём они тут все толковали! Если не говорить об угрозе генерала Иванова, то сейчас не было более важного вопроса, чем составить общую политическую формулу: *как построить власть*, чтоб она соответствовала интересам демократии? и содействовала бы правильному развитию революции? и успеху международного социалистического движения? И вместе с тем — не обжечься и не свалиться с достигнутой высоты. Вчера — он послабил товарищам, не требовал от них такой формулировки,— а они не догадывались. Но прежде чем власть сама построится — надо этот процесс опередить активно! А значит: активно строить отношения с думским Комитетом, одновременно и заставляя его продвигаться против царизма, одновременно и ограничивая его во всём. И тут ключевой вопрос — о захвате армии. Думский Комитет конечно захочет перенять армию в свои цепкие плутократические лапы — а значит отнять реальную силу от народа. И вот, надо так сманеврировать, чтобы солдаты не попали в прежние офицерские ежовые рукавицы — но создать внутри армии совершенно новые революционные отношения. Нельзя ни минуты верить Милюкову и Родзянке, это та же протопоповская компания. Надо решительно вырвать армию из их рук — но как это сделать??

Ах, он сам был несчастный, что такой умный! Он сам был несчастный, что всегда соображал раньше всех, точнее всех — но его не слушали. И здесь, на ИК, его не слушали, хотя в общем у них собиралось довольно хорошее циммервальдское ядро: Капелинский, Соколовский, Ерманский, Шехтер, Панков — это были всё мартовцы, интернационалисты. И трое их, внефракционных,— сам Гиммер с Нахамкисом и Соколовым, это уже основа левого большинства, если б увлечь за собой и болото. И если бы Шляпников не дурил, не вталкивал в ИК своих тупых, неразумных...— можно было бы какие политические комбинации проводить!

А сегодня — ни о чём нельзя было договориться, даже составить редакцию „Известий Совета рабочих депутатов''. Большевики потребовали: 100 % большевиков! Тогда и меньшевики: 100 % меньшевиков! Вот и пытайся с ними работать, независимый умница-социалист!

Тут — опять Гиммера вызвали, и как раз по делу „Известий''. Вызывал его Бонч-Бруевич, из-за занавески.

195

Пешехонов не поленился и не побоялся сходить пешком на Петербургскую сторону и назад, зато выспался. И теперь, часам к 12, свежим пришагал к Таврическому назад.

От вчерашнего вечера здесь осталось у него ощущение большой неразберихи и не-то-делания, чего стоила одна их вымученная многочасовая литературная комиссия. Ни за что б он не хотел вчерашних промахов повторять и тревожно чувствовал необходимость что-то исправить в общем ходе. Так неуправляемо и слепо не могли дальше идти дела, при большой внешней угрозе.

Но уже войти во дворец было не так просто: приходил в полном составе, чтоб заявить о своём переходе на сторону революции, лейб-гренадерский батальон — тот самый, с Петербургской стороны, через который Пешехонов вчера прорывался смело в одиночку, а потом освобождал у них арестованного. И неужели это было только вчера вечером? Как всё изменилось! Вот уже они пришли присягать революции! А теперь лейб-гренадеры выходили из дворца и залили собой весь сквер перед Таврическим. Они б не уходили и ещё б охотно слушали тут, неблизко они шли, и им в новинку было послушать речи — да солнце, лёгкий морозец, праздник! Но слышались звуки нового оркестра, подходящего по Шпалерной,— не одни гренадеры догадались сюда идти.

Пока гренадеры нехотя вытекали из сквера, Пешехонов мог продвинуться к дверям, и вошёл бы внутрь, если б не объяснили ему, что вот подходит Михайловское артиллерийское училище! А там — учился его сын! И хотя, по

близорукости, Алексей Васильич не надеялся увидеть сына в строю, но хотя бы послушать церемонию, чтобы потом обменяться с сыном. И он остался на крыльце.

Теперь, рядом с ним, выступал громкий тучный Родзянко, кажется, однако, потерявший долю самоуверенности. И Керенский, взбудораженный, в своей новой роли.

Между их речами был заметный угол. Родзянко говорил о верности России, о военной дисциплине, о победе над врагами, Керенский — ничего о том, будто войны нет, а — о торжестве революционного народа и о наступившей долгожданной свободе,— но противоречий этих никто не замечал, или представлялось, что они друг другу не противоречат,— и с равным восторгом юнкера кричали „ура'' тому и другому.

А всё остальное свободное место внутри двора было забито любопытствующей публикой. А ещё через неё должны были протискиваться конвои, ведущие арестованных. Долго белел в толпе, медленно двигался клобук митрополита, которого тоже арестовали и вели — уж эта крайность зачем? возмутительно.

А уж внутри дворца народу было несравненно со вчерашним, вчера только гости, сегодня наводнение. Но не было в Купольном и в коридорах этого наружного радостного солнечного света, оттого темно и неуютно.

Пошёл направо, в ту комнату, где вчера заседал Совет. Сегодня, да уже сейчас, должно было снова открыться его заседание; но сегодня пытались проверять мандаты — бумажки с корявыми записями, работа шла медленно.

Втиснулся в 13-ю комнату на заседание ИК. Тут к Пешехонову подскочил меньшевик Соколовский и объявил ему, что на ночном заседании Исполнительного Комитета он назначен комиссаром Петербургской стороны, то есть полным её властителем и губернатором,— и ему надлежит отправляться туда и вершить власть.

Пешехонов заколебался. Должность, по сути, прежнего полицейского пристава? Постановление ИК никак не было для него обязательным — хотя если все будут уклоняться от постановлений, то что же тогда получится? И он понимал так, что должен представлять здесь, в Таврическом, интересы и точку зрения своей народно-социалистической партии. А с другой стороны, не произойдёт добра, если каждая партия будет ставить свои партийные интересы выше интересов общих,— теперь-то и наступила та мечтаемая пора, когда все должны проявлять дружность и самоотверженность.

И он решил: еду! Живое дело! В гуще народа! (К этому и всегда стремился.)

Но для этого нужен был какой-то же с собой штат сотрудников. Во-первых, несколько рабочих с Петербургской стороны — таких он легко нашёл близ мандатной комиссии: все заводы присылали больше, чем им полагалось, одного человека от тысячи,— и теперь избыточные, уже разохоченные к политическому действию, не хотели уходить. Вот их Пешехонов и подхватил.

Потом нужно было несколько интеллигентов — но эти нашлись совсем легко.

Затем как-то надо было законно разграничиться или соотнестись с районными властями, поставляемыми Комитетом Государственной Думы,— и Пешехонов отправился на думскую половину. Тут, в кабинете рядом с родзянковским, он увидел Милюкова, рассказывавшего Некрасову, Шульгину и ещё кому-то о своей поездке в пехотный полк на Охту, необычное для него выступление. Твёрдо поблескивали за очками его глаза, которые Пешехонов всегда находил страшноватыми, другие этого не видели.

Вопрос Пешехонова о власти на местах тот встретил с тяжёлым подъёмом бровей, как какой-то несвоевременный вздор.

— Ну что ж,— сказал почти с презрением,— если вы находите это для себя подходящим — отправляйтесь.

И понял Пешехонов, что думский Комитет даже и задуматься не успел, что нужна ему своя власть на местах,— а значит, парил он в воздухе и ещё не держался ни на чём. Нельзя было не заметить, насколько Совет опережает. Ведь вот вчера в полночь, когда думский Комитет только обсуждал, принимать или не принимать власть, Совет уже распоряжался и уже имел

комиссии. За ночь он успел снестись с фабриками и заводами, вызвать делегатов. Прокламации Совета уже с вечера разбрасывались и читались на улицах. Население начинает понимать Таврический как место выборного Совета — а о думском Комитете ещё все ли знают? Эта деловитость Совета Пешехонову нравилась, она была к несомненной пользе революции.

Пешехонов нацепил на себя огромный красный бант, чтобы все видели издали.

Тут кто-то его надоумил, что надо же ему иметь свою военную силу для начала. Солдат сколько угодно он мог себе набрать перед дворцом на Шпалерной — но где взять хорошего офицера, который бы согласился пойти и которого бы солдаты слушались? Пешехонов направился в комнату Военной комиссии.

Не так просто его туда допустили, охрана была многолюдна, и все с большим удовольствием проверяли. Пришлось назваться комиссаром Петербургской стороны. Внутри было несколько полковников, и создавалась обстановка штаба. Пешехонов не мог, конечно, разделять солдатского недоверия к офицерам — а что-то и его царапнуло, недоверием и опасением, что вот царские офицеры больших чинов берут на себя охрану революции от царя же. Но тут он заметил эсера Масловского в военном мундире и без погонов, и сказал ему о своей нужде. Тот сразу с ним вышел, провёл ещё в соседнюю комнату, где сидело несколько офицеров, и тут представил обаятельного молодого прапорщика, неприкрытый смелый взор, Ленартовича.

Кажется, тот ждал другого назначения, пробежала тень по лбу, но тряхнул головой и согласился. И самый этот трях головы был очень симпатичный, устанавливал с прапорщиком сразу простоту.

Ещё оставалось взять два автомобиля — эти в готовности нашлись. И мгновенно прапорщик скликал десяток солдат — то ли известных ему, то ли совсем новых.

Поехали.

Однако, по набережной не доезжая Троицкого моста, их остановили какие-то самозванные распорядители, не отличенные и повязками на рукавах, а только красные розетки, как у всех. Оказалось: выезжать на мост нельзя, его откуда-то обстреливают. С той стороны? Нет, кажется, из Инженерного замка.

Ленартович, выпрыгнувший из второго автомобиля, был тут как тут, рядом с Пешехоновым — и, даже не советуясь, с избытком военной решимости, тотчас скомандовал своим солдатам соскочить, вывел из-за укрытия последнего дома, рассыпал в цепь, скомандовал ружья на изготовку — и повёл в наступление черезо всё Марсово поле на Инженерный замок! Сам он, на фланге, выхватил шашку и, стройный, затянутый, картинно нёс её над головой. Пешехонов залюбовался им — и растерялся, ничего не возразил.

И они пошли, пошли.

Однако неблизок же был путь, атаковать черезо всё Марсово поле и через Мойку! И что же можно было сделать с десятком солдат против целого замка? Да ещё — оттуда ли стреляли? Не может быть, чтоб Инженерный замок был до сих пор против революции, его б уже атаковали. А комиссару Петербургской стороны? Стоять с автомобилями у моста? Или ехать на место, растеряв свою вооружённую силу?

Сообразя это всё, Пешехонов сам выскочил из автомобиля и штатски заковылял вослед своим вооружённым силам. А они уже порядочно продвинулись — и солдаты не выражали колебаний или заминки. Впрочем, и никаких пуль не было слышно.

И на левом фланге так же картинно, красиво, с шашкою над головой, легко ступал прапорщик Ленартович.

Пешехонов окликал его — тот не оборачивался. Тогда нагнал его вплотную — тот обернулся, вздрогнув.

Сказал ему, что не надо наступать, а надо ехать на место.

Но Ленартович весь пламенел подвигом, и не мог спуститься к мелочным соображениям.

— Да поймите же, что глупо получается,— убеждал Пешехонов.— Это что ж мне тут, полчаса или час стоять у моста?..

Не внимал — шагал дальше, чтоб не отстать от своих солдат.

И Пешехонов за ним:

— Голубчик, но вы же согласились быть при мне, а я — комиссар Петербургской стороны, Инженерный замок к нам не входит, тут кто-нибудь другой...

Ленартович, не полностью остановясь, обернул лицо изумлённое:

— Как вы можете так рассуждать! — с упрёком воскликнул он.— Разве Революцию можно разделить, где своё, где чужое! Теперь — всё наше.

И — уходил дальше.

И Пешехонов, рассердясь, прикрикнул на него:

— Молодой человек! Извольте повиноваться! Я — комиссар!

Раненый стон, как а-а-ах, вырвался из груди Ленартовича. Он замедлил шаг — и медленно, медленно стал опускать шашку к ножнам. И раненым голосом крикнул солдатам горько, разочарованно:

— Сто-о-о-о-ой... Отставить атаку...

196

В Государственную Думу попали братья Некрасовы с маленьким Греве ещё совсем не просто. Красноповязочники с Эриксона повели их троих по Сампсоньевскому в их офицерских шинелях — и с тротуаров, и даже из оконных форточек кричали рабочие женщины: „бей кровопийц!''.

Знавшие, в чём дело, вели их только человек семь — а вокруг стягивалась и сопровождала новая толпа, и все были возбуждены ненавистно.

— Чего с ними возиться? — кричали.— Кончай их к такой матери здесь!

Толпа замкнулась, и эриксоновцы дальше идти не могли. Они спорили с толпой, но их не слушали. От самых казарм привязался какой-то бородатый пьяный солдат, и всё совал штык, пытаясь кого-нибудь из офицеров пырнуть. Он ли, или ещё другой штык — но Сергея и подкололо сзади. А то мелькал замахнутый приклад, не дошедший до головы. Оттого что конвоирующие рабочие не отдавали пленных и что-то объясняли — ярость толпы только увеличивалась,— крики, ругань, размахивание руками,— да какая же ненависть? да почему к офицерам?

В любую минуту могли дотянуться и забить. И опять всё потемнело, и опять эта обида — от своего же народа! Всё снова казалось конченным! — второй раз за короткий час. Конвой рабочих не мог ни продвигаться, ни защитить их.

И вдруг, вдогонку, опять врезалось несколько московцев — тех самых, что уже раз их спасли! Ах, ребята! Они резко отталкивали приклады, кулаки, отводили штыки и враз громко кричали, что это — их верные офицеры, с ними вместе воевали, и один из них — калека войны.

Не так это тронуло толпу или дослышалось здесь, как у двери причетника,— но всё ж наседающие остывали.

Тут подъехал крытый брезентом грузовик. Московцы и эриксоновцы стали проталкивать офицеров через толпу — к грузовику. Втолкнули их туда — и рабочих пятеро взлезли как конвой.

Так и не успели поблагодарить московцев или хоть узнать, из какой они роты.

Если б не автомобиль — нипочём бы не прорваться до Думы, десять раз бы ещё остановили и растерзали. Даже и автомобиль не раз останавливался в толпе, так переполнены были улицы ярмарочно-возбуждённым народом. Иногда конвой кричал через задний борт или из кабинки шофёра:

— Арестованных офицеров везём! —
и поднимался радостный рёв и крики „ура'' с поднятыми руками.

А под брезентом конвойные рабочие мирно и с любопытством беседовали с офицерами:

— Как же так, господа офицеры, вот солдаты ваши говорят, что вы хорошие,— а почему же вы с народом не идёте?

Всё в один час: жить или умереть — и тут же находиться спорить. Объясняли офицеры:

— Устраивать революцию во время войны — преступление и гибель России. Вы просто не ведаете, что делаете.

Съехали с Литейного моста — стояла трёхдюймовая пушка, дулом по набережной, и вокруг вертелись несколько солдат с красными бантами — но непохоже, чтоб умели они из неё выстрелить.

Ближе к Таврическому толпа была такая же густая, но меньше простонародья, а больше интеллигентов. С чего-то подставленного, с парапетов и со ступенек — в разных местах горячо говорили ораторы своему ближайшему кругу. И очень много было солдат — свободных от строя, самых разных частей, как вольная публика. Улица и сквер перед дворцом были уже так плотно забиты, что грузовик совсем не мог ехать. Арестованных ссадили и, протискиваясь, повели. Тут легко было достать их и прикладом, и штыком, но уже не было той чёрной ненависти, как на Выборгской стороне, не требовали их убить и не матюгали. Даже полудружелюбно окликали:

— Господа офицеры! Зачем же вы против народа?

Вот не предполагали побывать в Государственной Думе. Но при входе во дворец и в его залах оказалось не просторней, а ещё тесней, арестованные и сопровождавшие были сжаты в малую кучку, а уж внимания на них и вовсе никто не обращал. Конвоиры допытывались, куда и кому сдать арестованных. Вместе пробивались коридором крыла.

В большой комнате изгибался в несколько линий хвост, хуже хлебного,— арестованных, ожидающих обыска. Это всё была полиция — приставы, околоточные, жандармы. Впереди, у столиков, несколько студентов, гимназистов и рабочих с повязками опрашивали, записывали, и потом в углу, отгороженном скамейками, раздевали до подштанников. Несколько солдат и рабочих, учась тюремному ремеслу, прощупывали, переминали снятые мундиры, брюки, обувь. Туда, к скамейкам, набралось много и зрителей, и все с интересом ждали, что найдут. И эриксоновцы, теперь покинув свои конвойные заботы, тоже пошли смотреть.

Офицеры стали в хвост, ожидая своей очереди позора. Конечно, и полиции эта процедура была нестерпимо унизительна, но их офицерская строевая гордость ломилась с болью: ах, зачем же они не сопротивлялись до конца? Ещё вчера бы сразу и умереть.

Тут появился какой-то быстрый молодой худощавый штатский господин, причёска ёжиком, в сюртуке, крахмальном воротнике со сбившимся галстуком,— а за ним пожилая сестра милосердия с подносом. Они пробирались к регистрирующим, сестра стала выдавать им,— только им, не арестованным,— хлеб и мясо, а господин что-то говорил, жестикулируя. И вдруг прекратили обыск, и уже раздетые ожидающие стали снова одеваться.

Офицеры вздохнули облегчённо. Возвращалась сестра — спросили её, кто это такой. Ответила:

— Член Думы Керенский.

Тут возвращался и он сам. Лицо его было утомлённое — но и повышенно живое, быстрый взгляд и даже мальчишество. Всеволод Некрасов, наступая на палку, продвинулся к нему, задержал за рукав:

— Господин депутат! Мы вот здесь трое — офицеры лейб-гвардии Московского полка. Среди арестованных, как видим, мы только трое — строевые офицеры. Мы хотели бы знать: что, нас тоже будут раздевать? Что вообще нас ожидает?

С быстрым вниманием молодой депутат осмотрел их, увидел палку Всеволода:

— Вы раненый?

— Да. Ампутирована нога.

— А вы — георгиевский кавалер? — это к Сергею, заметив крестик под расстёгнутой шинелью.

Хотя депутат не был выше окружающих, но используя небольшой расступ вокруг себя — уверенно обратился с речью ко всей гудящей комнате, да так, будто эту речь готовил всё время. И жужжание смолкло, все слушали.

— Товарищи! Что за стыд?! — взносчивым лёгким голосом кинул он.— Революционный народ — и арестовывает офицеров-инвалидов, и георгиев-

ских кавалеров? Офицеры — необходимы армии! Идёт война. Никаких эксцессов к офицерам быть не может!

Он чуть выждал возражений — те не раздались. Приведшие конвоиры не высунулись из толпы, как пропали. В колеблющемся море мятежа один уверенный звонкий голос сразу заменил весь закон.

— Идёмте! — уже не сомневаясь, властно сказал Керенский офицерам и повёл всех троих.

А выведши, в коридоре,— с оттенком даже царственного дарения:

— Вы — совершенно свободны, господа! Пойдите, получите охранные удостоверения. Но не советую вам сегодня выходить из дворца.

И пока ещё рядом проходил с ними через толкотню, смешенье одежд и лиц, объясняя нужную комнату:

— Господа! Ведь вы любите нашу родину! Присоединяйтесь к народному движению.

Велик был соблазн поддакнуть спасителю от камеры и позора. Но Сергей ответил:

— Вот именно потому, что любим родину, господин депутат, мы и не можем делать революцию во время войны.

197

Что же случилось? Ай-ай-ай! Обрушилось именно то ужасное, что он измысливал избежать государственным переворотом,— то самое страшное, стихийное, то есть бунт черни.

Гучковский заговор — не успел. А теперь, когда революция всё равно уже взорвалась и всё сметалось прочь великанскою рукой,— теперь Гучкову второй день казалось, что трудности заговора были совсем незначительны, и в марте вероятно бы успели, надо было успеть.

Вчера началось — и Гучков заметался: что делать? Началось — при нём, он — тут, в Петрограде,— и что же делать? Надо было одновременно — и както остановить народное движение, и мгновенно вырвать уступки у царя. Гучков (ощущая себя военным человеком) кинулся в Главный штаб и добивался от Занкевича, ни по какому праву,— подавления! (Странная двойственность внутри: и ясно, что надо давить, и хочется успеха движенью.) Потом кинулся в свой дремлющий и перепуганный Государственный Совет. Кое-какие члены слонялись по Мариинскому, ни на что не способные,— Гучков стал сплачивать их и звонить по телефонам, и так послали телеграмму царю. Тут Гучков со злорадством наблюдал последние беспомощные метания министров.

И вот — всё, что он успел вчера.

А сегодня с утра отправился в Думу. (Если бы и хотел дома посидеть, то не мог бы: Марья Ильинична изощрилась и сегодня утром устроить ему сцену — удивительная способность женщин никак не чувствовать общей обстановки, ничего не видеть за гребнями своих чувств,— выжгла из дому и сегодня. С тем большим порывом поспешил в Думу.)

Из утреннего телефона он уже знал — и что образован Комитет Государственной Думы, и что там же в Таврическом загнездился, закурил Совет рабочих депутатов, собезьянничанный с Пятого года (а в Пятом придуманный революционными полуинтеллигентами же). Надо было спешить к событиям и активно вмешаться! (Ещё не понимая, как именно.)

Ему идти было тут от Воскресенского всего два квартала — и даже при необычном оживлении и хаосе нетрудно пройти.

Хотя уже четыре года Гучков не принадлежал к Думе — но место его сейчас было несомненно там. Сохранялось за ним негласное, неофицальное право состоять в одном ряду с думскими лидерами. Он спешил туда не по притяжению любопытства, но по этому негласному праву. Он был — из самых заслуженных в процессе обновления, и главный враг императорской четы, и теперь, когда всё зазыбилось,— естественно ему стать на рулевое место, без лицемерия и ужимок. Не метил он себя премьер-министром (хотя отлично справился бы), к этому месту уже тянулась череда из Родзянки, Милюкова, Львова, но вторым-третьим лицом в государстве во всяком случае. По посто-

янной близости к военному делу, он назначал себя — военным министром.

Но что за тупая толпа! — тут надо ещё отстоять своё право на каждый следующий шаг. Привык считать Гучков, что его знает вся Россия, вся Россия слала телеграммы при его болезни,— однако вот здесь, перед решёткой Таврического и в сквере, его не узнал в лицо решительно никто, разве один-два студента. Его пропускали, но просто по солидному меховому воротнику, нахохленному виду и золотому пенсне догадываясь, что у этого барина важное дело в Думе. Однако сами-то они зачем здесь толпились в таком избыточном, глупом количестве? Кто б это предвидел: что от революции все кинутся к Думе и будут толпиться тут как бараны, даже в изрядный мороз.

Но это что по сравнению с тем, что внутри: в дверях стискивали, в Купольном зале от входа сразу заворачивался круговорот, так что надо было с силой выбиваться локтями. Бюст Александра II, поставленный депутатами-крестьянами к 50-летию отмены крепостного права,— и к тому пристроили красный бант. Красные бантики, ленты, приколки торчали почти на всех прихожих. По всему Екатерининскому густо толпились, и в нескольких местах мельтешили митинги, другим неслышно.

Всё же Гучков быстро нашёл и главных думских, и дознался о Военной комиссии, и понял свою задачу: взять её в твёрдые руки, сделать регулярным штабом и полностью перехватить к думскому Комитету. Для этого надо было быстро насажать сюда если не генералов, то расторопных полковников. При знакомствах и военном авторитете Гучкова это было недолго.

Тут он застал подозрительных социалистов — жёлчного библиотекаря Академии, нервного лейтенанта — и, обдавая их презрением, потеснил. Потеснил собою и Энгельгардта, совсем неухватистого. Там же вдруг нашёл незаменимого Ободовского, обрадовался и поставил его фактическим старшим до прихода своих полковников. Тут же сел и без труда написал приказ командирам всех частей петроградского гарнизона ежедневно доносить ему о наличном составе. Представить списки офицеров, вернувшихся к исполнению своих обязанностей. (Кто ж у нас есть?) Ни в коем случае не допускать отбирания у офицеров оружия, нужного им для несения службы. С четверга 2 марта восстановить правильные занятия во всех военных учреждениях и заведениях. (С завтра было бы нереально.)

А когда потом Гучков пошёл и пробивался к Родзянке, то увидел над толпой его возвышенную полукуполом голову без шапки, как она передвигалась к выходу. Пробивался к нему наискось, вдогонку. За Родзянкой двигался безумноватый черноглазый Владимир Львов.

Снова через водоворот и скопление Купольного зала — выбрались на крыльцо.

И увидели перед собой настоящее чудо: строгий строй юнкеров Михайловского училища в четыре шеренги, протянувшийся в сквере, лицом ко двору, а остальные оттеснились.

На чистых юнкерских лицах сверкала готовность, преданность, не то распущенно-боязливо-блудливое выражение, как на солдатских. Вот кто и будет опорой в ближайшие дни!

И не только все офицеры были на местах (радостно видеть настоящий строй), но и генерал, начальник училища, и вот скомандовал гулко перед Председателем Думы:

— Смир-р-рна! На караул! Господа офицеры!

И лихим движением нескольких сот рук винтовки были перекинуты от „к ноге" „на плечо" — и глухие перехваты рук об ложа слились в единый выразительный звук.

И Родзянко, вспоминая молодость, выпрямился сам, с обнажённой головой, выслушал рапорт, отдал нужное „вольно", винтовки опустились снова к ноге,— и голосом, созданным для смотров, выпес навстречу юнкерской верности:

— Я вас приветствую, господа офицеры и господа юнкера! Я приветствую вас, пришедших сюда и тем доказавших ваше желание помочь усилиям Государственной Думы водворить порядок в том разбушевавшемся море беспорядка, к которому нас привело несовершенство управления.

Да слова научился выбирать дипломатически — и шагнуто сколько надо и недошагнуто. Всё-таки, много он образовался с тех пор, как заменил Гучкова на председательской кафедре.

— Я приветствую вас ещё и потому, что вы, молодёжь,— основа и будущее счастье великой России. Я твёрдо верю, что если вам угодно таким образом поддержать усилия Государственной Думы, то мы достигнем той цели, которая даст счастье нашей родине.

Он говорил как ни в чём не бывало, уж во всяком случае не как мятежник, да как будто революции никакой не произошло, он не слыхал. Такую речь он мог произнести и в присутствии Государя императора, да он вполне непридуманно и говорил, от сердца:

— Я твёрдо верю, что в ваших сердцах горит горячая любовь к родине и что в вашей дальнейшей деятельности вы поведёте на ратные подвиги наши славные войска! И победа наша будет обеспечена. Да здравствует Михайловское артиллерийское училище!

Всё — несомненно, и последний лозунг тем более. Шумное „ура"!

Вдруг кто-то крикнул пронзительно, напоминающе, но не из юнкерского строя:

— Будь другом народа, Родзянко!

Но не унизился Председатель до такого подтверждения, а всё ломил своё:

— Помните родину и её счастье! За неё надо постоять! Не будем тратить время на долгие разговоры. Ждите приказов Временного Комитета Государственной Думы! Это единственный способ победить!

Раздались молодые обещающие возгласы.

Так-то всё так, но и на ступню не продвинулся Родзянко по революционному полю, уж совсем не помянул ничто происшедшее, это тоже ложный путь.

Нетерпеливо топтался и вперёд выдвигался очень возбуждённый, с блистающими глазами Владимир Львов — и полез держать следующую речь. Да одни пустые слова:

— Да здравствует среди нас единство, братство, равенство, свобода!

А приличнее было бы Гучкову, да и сказал бы он умное и соответствующее моменту. Он уже примерно сообразил, что скажет, и чуть заволновался, как бывает перед необычным выступлением.

Но не пришлось ему отстраняться от глупого Львова и не пришлось делать шага вперёд: по другую сторону Львова вдруг вышагнул вперёд Керенский — вытянутый, с лёгкой вскинутой рукой, как артисты приветствуют публику, но не с войсками разговаривают:

— Товарищи рабочие, солдаты, офицеры и граждане! — взрывчато воскликнул он, юнкеров и вовсе пропустив, да и обращаясь, кажется, больше к толпе, чем к строю.— То, что вы пришли сюда в этот великий знаменательный день, даёт мне веру, что старый варварский строй погиб безвозвратно.

И так — сразу шагнул через всё постепенное, промежуточное, спорное,— уже и весь государственный строй погиб, для него несомненно. Камня на камне!

Прошёл гул одобрения — опять-таки не по строю юнкеров, да и не громче, чем кричали „ура" Родзянке. Кажется, толпе всё рáвно было к одобрению, лишь бы что-нибудь произносили. А Керенский, между тем, влёк дальше:

— Я думаю, что то, что мы делаем здесь, есть дело не только петроградское,— это дело всей великой страны, дело, за которое уже погиб в бесплодной борьбе ряд поколений!

Какой опасный человек! что он нёс! — и это же не останется без последствий, уши людей привыкают слышать такое.

И уже нельзя было его перед всеми оборвать и заткнуть.

— Товарищи! В жизни каждого государства, как и в жизни отдельного человека, бывают моменты, когда вопрос идёт уже не о том, как лучше жить, а о том, будет ли оно вообще жить. Мы переживаем такой момент, когда должны спросить себя, будет ли Россия жить, если старый порядок будет существовать! Чувствуете ли вы это? — вскрикнул он, сам сильно вздрагивая.

Что-то передалось, и откуда-то крикнули:

— Чувствуем!

И получив этот отклик. он понёс дальше:

— Мы собрались сюда дать клятвенное заверение, что Россия будет свободна!

Откуда этот вертун всё брал? Из своей плоско-стиснутой головы. Разве для этого собрались? На самом же деле задача была: те солдаты, которые, выйдя из казарм, совершили революцию — как бы теперь вернулись в них обратно и сдали бы оружие.

— Поклянёмся же! — разговаривал Керенский, как с детьми.

И кто-то готовно поднимал руки, да кажется и среди юнкеров:

— Клянёмся!

— Товарищи! — не насытился левый адвокат.— Первейшей нашей задачей сейчас является организация. Мы должны в три дня создать полное спокойствие в городе, полный порядок в наших рядах. Надо достигнуть полного единения между солдатами и офицерами! — Наконец-то очнулся.— Офицеры должны быть старшими товарищами солдат! — (И тут выворот.) — Весь народ сейчас заключил один прочный союз против самого страшного нашего врага, более страшного, чем враг внешний! — против старого режима!

Что наделал! что наделал! Безумец перерубливал все сдерживающие канаты — и Гучков потерял желание выступать: он не знал, как это исправлять. В нём самом внутри как обваливалось.

А Керенский нёс:

— И этот союз должен сохраниться до тех пор, пока мы не достигнем своей цели! Да здравствует свободный гражданин свободной России! Ура-а! — тонким голосом.

Но покрыто было дружным и долгим „ура-а-а!".

Гучков возвращался с Родзянкой с этого митинга — в чувствах его всё перекосилось. События не только прыжком обогнали всё представимое, но они продолжали опасно расползаться — и он не видел, как их скрепить.

198

Что за рок? Принципиально не военный человек и даже ненавидящий армию, Ободовский стал всё время попадать на военные должности, то по снабжению, а вот уже и прямо — чуть ли не организовывать военную власть.

Да придя в Таврический — не заниматься же болтовнёй политики. А кроме политики было одно практическое дело — вот тут в Военной комиссии. В несколько вечерних часов вчера самолично отстояв Главное Артиллерийское Управление (кричал на солдат-грабителей и разгонял их), Ободовский ночью пришёл сюда, чтобы добыть караул для ГАУ, и послал такой, а тут спросили, чем обеспечить броневики, выходят из строя, что надо затребовать из Михайловского манежа, он сел писать — магнето, инструменты,— а дальше следующее, следующее, достать смазочный материал и пакли, то пушечные горфорды, то осмотреть прибывшую пушку, так и остался. А потом уже и дерзкие воинские распоряжения, какие начинал делать всякий, находящийся в этой комнате, подписываясь: „за председателя Военной Комиссии".

Да и где ж ему было быть в эти часы внезапно наступившей революции? Какое дело было главней и умней? А никакое переживание не имеет цены, если оно не превращается в дело. Сильно втягивало. Тут и провёл ночь.

Сегодня в раннеутренние часы главный вопрос был: переговоры с комендантом Петропавловки, проявившим большую готовность к сдаче,— а это был ключ ко взятию всей столицы. Штурмовать Адмиралтейство не было сил, и решено брать его измором и разложением. После того как восстановили работу телефонной станции, следующая забота Ободовского была — постепенно занять и охранить все электрические станции города: от перерыва света страдала бы революция и выиграли бы внешние враждебные войска. Затем, применив большую настойчивость и долго проспорив, Ободовский настоял послать солидную охрану к зданию Химического комитета и к химической лаборатории военного ведомства, иначе могли быть несчастные случаи от газов, а кроме того — потеря секретных сведений, если проникнут немецкие шпионы.

А пока он со всем этим хлопотал — пропустил, что тут же, на одном из соседних столов, выписали распоряжение какому-то наезднику, чуть не цирковому, взять 50 человек — и пойти арестовать контрразведочное отделение штаба Округа, не разберясь, что оно не с революционерами борется, а со шпионами. Это было, кажется, состроено из неразборчивой ненависти исподлобным Масловским, который тут расхаживал крадучись, истекая злобой.

И как во множестве мест — на рудниках, в геологических комитетах, перед высокими бюрократами,— Ободовскому и тут пришлось нервно кричать, надрывать голос и сердце, требовать отмены распоряжения. И уж теперь, предварительно, настоять послать охрану к секретному отделению штаба Округа.

Ещё надо было занять телеграф и охранить на нём порядок. Ещё надо было собрать автомобили из автомобильной колонны, а в военно-автомобильной школе организовать ремонт машин.

Если из какой-нибудь части являлся добровольно офицер или грамотный человек, он тотчас же к себе в часть получал какое-нибудь поручение. Важно было — возвращать офицеров с удостоверением от Думы, чтоб их там признали,— и так снова насыщать части офицерами, без них же это был сброд.

Но, конечно, такими случайностями было не перебиться, массового возврата офицеров не вызвать, и Ободовский набрасывал, какое бы издать публичное обращение к офицерам — куда-то назначить им приходить для получения удостоверений, дающих им всюду пропуск и доверие солдат. Военная комиссия не могла приказать офицерам так сделать, но для их же пользы надо было их убедить, воззвать к офицерскому престижу и к военной опасности.

А тем временем надо было какими-то несобираемыми силами прекратить в городе грабежи, погромы и стрельбу с чердаков. Жалобы на эту стрельбу были такие общие, единодушные, что сперва Ободовский и все тут поверили в неё, и посылали рекогносцировочные группы — обнаружить эти стреляющие пулемёты, уже точно указанные, и снять их с крыш. Но шли часы — и ни одна группа не обнаружила ни одного пулемёта ни на указанной крыше, ни на какой-либо другой.

Так как много было болтающихся штатских и студентов — придумали ещё такую меру: надевать им на рукав белые повязки, давать винтовки, и рассылать патрулями и постовыми в назначенные пункты. А автомобили под белым флагом объезжали бы их. Может быть так остановятся грабежи, пьянство и стрельба.

Достигло думских стен предположительное объяснение, что полки из Ораниенбаума и Стрельны движутся сюда не против революции, а одобрительно, на поддержку.

И будто бы царскосельский гарнизон тоже переходит на сторону революции!

А издали на Петроград грозно катили войска Иванова.

Стрелка революции трепетно качалась, как и полагается ей вздрагивать и метаться.

То казалось: сил обороны нет совсем, ничего не стянуть, не собрать.

То казалось: у противника ещё меньше того, совсем нет, всё разлагается.

Вдруг в 11 часов дня поступило донесение, что на Николаевском вокзале уже высаживаются войска Иванова!

Быстро же!! Вот уже!! послать заслон абсолютно не из кого.

Осталось положиться на первый революционный батальон — Волынский, тем более что казармы его были как раз по пути. Послали приказ Волынскому: двум ротам с пулемётами выступить навстречу.

Опять возобновилась ночная нервность, все дёргались по комнате, а кто курит — курили.

Тут в несчастную для себя минуту явился стройный, отчётливый морской офицер от одного из флотских экипажей — с кортиком, револьвером, ничего по пути никому не отдав, в блеске формы и весь в крестах и орденах. Он делегирован своим офицерским собранием выяснить цели и намерения переворота прежде, чем выполнять распоряжения Таврического дворца. Политические

цели переворота остаются неясными, и господа офицеры экипажа хотели бы иметь формальные гарантии, что события не направлены против монарха.

И стоял в стойке „смирно".

В самую нервную минуту! — когда ждали боя между Николаевским вокзалом и волынскими казармами, и может быть через полчаса нужно будет самим отсюда улизывать!

Под негодующими взглядами советских Масловского и Филипповского, Энгельгардт залился краской по всему лицу и шее — как бы его не заподозрили в измене! — и распорядился арестовать этого морского офицера: „задержать до выяснения полномочий".

И сразу вскочил дежурный унтер и несколько развязных солдат, теперь отобрали у офицера оружие и повели его на хоры дворца, где арестные камеры.

А Ободовский, по своей непоследовательности, залюбовался этим моряком, как когда-то иркутским комендантом Ласточкиным: всегда восхищает верность долгу, хотя бы и противному! Уж во всяком случае больше вызывал этот моряк уважения, чем болтавшиеся тут капитаны царской службы Иванов и Чиколини.

Цели же переворота — Ободовскому-то были ясны, а тому же и Энгельгардту совсем не ясны, оттого он и краснел. И сам Родзянко ещё не понимал: что же будет с царём? Эти мысли не так легко вступают в голову, к ним надо привыкать десятилетиями. Что же требовать от морских офицеров?

Но что ж под Николаевским вокзалом? Хоть разорвись, ничего об этом нельзя было узнать, прямых донесений не поступало. А в половине первого пополудни точно узналось, что волынцы даже и не подумали выступить на защиту революции, даже и не пошевелились. В Военной комиссии раздались проклятья: за полтора часа, если б тот высадившийся полк не робел, он бы уже мог походным порядком дойти до Таврического или соединиться с Хабаловым и выручить его.

Но и в этом была особенность революции, что полки реакции должны были робеть и разлагаться!

Повторно приказали волынцам: выступить немедленно!

Но они и в этот раз не пошли.

И тогда, уже во втором часу дня, решили послать приказ на охрану Николаевского вокзала — 1-му запасному пехотному полку с Охты. Он хотя стоял очень далеко, идти ему долго, но именно из-за этого ещё сохранил офицеров и ещё пока производил впечатление единственной неразложившейся части,— это было впечатление Милюкова, ездившего туда утром.

Да может, никто на Николаевском и не высаживался? Похоже, что так.

Тем временем выслали квартирьеров для войск, подходивших из Ораниенбаума,— установить с ними, таким образом, обеспечивающий контакт.

Тем временем надо было формировать отряды для охраны нескольких крупных интендантских складов: тамошних караулов было совершенно недостаточно, и вот-вот толпа могла до них добраться.

И что-то ж надо было думать об охране военных заводов?

Тем временем: что же делать с военными училищами? Вчера они были нейтральны,— но училища не могли состоять в неопределённости, они должны были вести учебные занятия для войны, хотя бы и в дни революции. И кто ж должен был приказать им продолжать занятия? Очевидно, Военная же комиссия, просто некому другому. (А впрочем — что в Главном Штабе? Ещё огромный Главный Штаб с сотнями офицеров, раскинув крылья свои на обширную Дворцовую площадь,— молчал нейтрально.)

Написали такие распоряжения начальнику Михайловского училища, начальнику Владимирского. А с Павловским было похуже: там произошли какие-то внутренние столкновения, обнаружились какие-то контрреволюционные настроения? — никто точно не знал. Но если училища станут против революции — это страшная сила: они все с офицерами, вооружены, сплочены,— это единственная сила в городе. Их надо нейтрализовать!

Опыт с офицером из экипажа возбуждал вопрос и о Гвардейском экипаже в его казармах на Крюковом канале. Ведь им командует великий князь Кирилл — и до чего доброго докомандует?

Революция питается и укрепляется только дерзостью, так было испоконь. И старший лейтенант Филипповский, тряхнув боковым начёсом, подписал и выдал бумагу поручику Грекову: по приказанию Временного правительства (которого не существовало) — стать во главе Гвардейского экипажа, а заодно и 2-го Балтийского — то есть, сразу в две генеральские должности. (Но потом генерал-майор из 2-го Балтийского запротестовал — и должность ему вернули. Тем лучше, будет свой генерал. А как воспринял оскорбление великий князь Кирилл?..)

Затем появился Гучков, Ободовский очень ему обрадовался, и тот Ободовскому: после работ в Военно-промышленном комитете они были уже как бы в постоянном сотрудничестве.

Гучков обладал неизменной представительной выдержкой — постоянно помнил, что он известен всей России, все его видят, и вид имеет значение. Но сейчас и через это пробивалось, что он в растерянности; что таких взлохмаченных обстоятельств он не предполагал.

Никем сюда не введенный, Гучков однако уже своим появлением предполагал стать тут центром. Энгельгардт невольно перед ним тянулся, и после короткого между ними разговора, а потом сходили к Родзянке, объявлено было на всю комнату, что теперь Энгельгардт будет заместителем, а председателем Военной комиссии — Александр Иваныч.

Советская часть комиссии зашипела, но почти немо — уж они привыкали, что их тут ссаживают и ссаживают дальше. Библиотекаря Масловского, как тот ни пытался вставиться с замечаниями, Гучков игнорировал принципиально.

Он сел, и в общем разговоре ему представили распоряжения последних часов. Чему посмеялся, чему поразился. Впрочем, смеху было мало.

При Гучкове прошло ещё несколько донесений и принято распоряжений: занять Аничков дворец; занять Собрание Армии и Флота — вот ещё что могла разнести солдатня; назначить коменданта в разграбленную гостиницу „Асторию" — не нашли никого подходней, чем профессор Военно-медицинской Академии, сидевший тут. Ещё кого-то надо было назначить командовать 9-м запасным кавалерийским полком. Назначили и отправили ротмистра — но ровно через 15 минут явился возмущённый сам командир полка, и пришлось тут же выдать другое приказание — чтобы тот ротмистр поступил в распоряжение командира полка. (Тем лучше, будет и полковник.)

Принесли приказание от Родзянки, и теперь только письменно надо было подтвердить, что некоему Эдуарду Шмускесу, который и офицером-то не был, а кажется студент,— принять команду в 50 человек и занять министерство путей сообщения.

Гучков сидел не грудью за столом, а с торца его боком, облокотясь, и только успевал следить, как в суетне Военной комиссии каждые пять минут рождались, выписывались и выскакивали эти приказания.

Тут принесли такое потрясающее донесение:

„Караул, стоящий на углу Кирочной и Шпалерной, сообщил, что по сведениям, доставляемым частными лицами, в Академии Генерального Штаба собралось около трёхсот офицеров, вооружённых пулемётами, с целью нападения на Таврический дворец".

Масловский сразу же всунулся, что это вполне вероятно, что офицеры Академии настроены очень реакционно, только преподаватели слишком дряхлы, чтобы браться за пулемёты, а вот некоторые слушатели — вполне, хотя их числом не триста и даже не двести... И кое-кого из них надо бы арестовать.

Но Ободовский захохотал нервно и почти закричал, что никакого *угла* Кирочной и Шпалерной не существует, они параллельны и даже не смежны, так что и квартала общего между ними нет. Да ещё „доставляемые частными лицами"...

После этого донесения Гучков уже кажется всё для себя решил, он отсел в угол с Ободовским и сказал ему тихо:

— Пётр Акимович! Я — счастлив, что вы здесь, и на ближайшие часы только на вас и надеюсь. Это здесь...— он употребил неприличное слово,— а не военный штаб. Тут один военный человек — это вы. Энгельгардт не вино-

ват, что на него такое свалилось, но он... Эту советскую шайку мы вообще вытесним. Продержитесь тут, прошу вас, только несколько часов до вечера. К вечеру я соберу сюда самых настоящих офицеров генерального штаба, устроим и военную канцелярию,— уже вечером тут будет штаб.

Ободовский принял всё как должное. Но и поспешил предъявить Гучкову набросок обращения к офицерам.

— Александр Иваныч, один штаб ничего не спасёт. И общего вашего приказа мало. Ничего мы не сделаем, если не вернём офицерского положения и доверия к ним.

Глаза Гучкова были желты, нездоровы. Он прочёл, кое-где поправляя,— и понёс показывать Родзянке.

199

Командир Дагестанского полка барон Раден, возвращаясь из отпуска из Эстляндии в Действующую армию, утром 28 февраля прибыл на Балтийский вокзал. О беспорядках в Петрограде он уже был предварён слухами. А на перроне, едва выйдя из вагона, был окружён толпой, смешанной солдатско-штатской и вооружённой револьверами, шашками, ружьями,— такие кучки по всему перрону ожидали подхода поезда и бросились ко всем дверям.

Полковник Раден побледнел, выпрямился и ответил, что едет на фронт и оружия не отдаст. (Он не представлял, как мог бы тут сопротивляться, но думал рубиться.)

Толпа заразноголосила. Одни стали кричать: „На фронт? Оставить шашку, ему нужно!" Другие требовали — отдать. Стали спрашивать: когда едет, как? Полковник ответил, что переезжает на Виндавский вокзал и лишнего часа пробыть в Петрограде не намерен. Тем временем передвигались в здание вокзала, и там окружавшие согласились: сдать оружие на хранение вместе в вещами, иначе они не ручаются за его жизнь.

Но кому было сдавать на хранение? Обычные вокзальные службы отсутствовали, и весь вокзал был — проходное возбуждённое разношерстное многолюдье. Согласились так: глубоко под стол поставил полковник свой чемодан, а на чемодан положил шашку и револьвер.

Эта толпа разошлась.

Оставив вещи, полковник пошёл по вокзалу. Встретились ему несколько офицеров — и у всех было насильно отобрано оружие. На площади перед вокзалом стреляли из пулемётов и ружей, лежал убитый городовой. Не видно было, каким способом отправляться на Виндавский.

Тут на Балтийский вокзал прибыла новая большая толпа вооружённых распущенных и частью пьяных солдат — и во главе прапорщик якобы Выборгского полка, но похоже, что переодетый. От полковника Радена эти тоже потребовали оружие, один же из вокзальных лакеев указал им, что лежит под столом на чемодане. Тогда схватили это оружие и схватили самого полковника, выворачивая руки, приставляли револьверы к его голове и кричали, что он против народа.

Когда сразу несколько дул приставлено к твоей голове, трудно разговаривать с живыми как ещё живой. Но ещё громким голосом ответил им барон, что едет на фронт. И опять распались мнения толпы, опять одна часть заступилась — а другая требовала убить его. В конце концов, помятого, полковника Радена отпустили.

Но за это время утащены были и шашка его и револьвер. Однако чемодан остался.

И что ж было делать? Надежды на извозчика не было. Но как ни смяты были все жизненные отношения в городе, а всё же не мог полковник нарушать устав и сам понести свой большой чемодан — он должен был кого-то для этого найти, тут обрывалась независимость всякого офицера. Какой-то человек назвался посыльным, взялся нести.

Пошли пешком, через Измайловские роты. По дороге солдаты отдавали честь, но не все, а чернь угрожала, поносила бранью и, стараясь напугать полковника, стреляла мимо его головы в воздух. Около казарм Измайловского

полка вся улица была полна солдатами-измайловцами, но без оружия и в большом возбуждении, что-то у них происходило непонятное.

И такое же потом — около казарм Семёновского полка.

Всюду шла стрельба, уже как обычное уличное явление. Разъезжали автомобили с красными флагами, пулемётами, вооружёнными то солдатами, то матросами из флотских экипажей. Разъезжали и конные солдаты, с красными лентами, вплетенными в гриву. Штурмовали подъезды — будто засела полиция.

На Виндавском вокзале так же не было никакой охраны, железнодорожных жандармов. Так же всё связанный невозможностью переносить свои вещи, полковник Раден был оттёрт от них новой нахлынувшей толпою. А когда толпа поредела — оказалось, что исчезло его имущество, и остались на нём только шинель да папаха.

Так и он стал, наконец, независимым и свободным.

По такой анархии искать украденные вещи было бы бесполезно.

Какие-то несколько обезоруженных офицеров подошли к полковнику и предложили ему вместе отправиться в Государственную Думу, где заседает новое правительство. Полковник ответил, что это могут быть только узурпаторы, он не желает иметь с ними дело и не советует, это низость.

Пока он ждал поезда на Могилёв, он видел, что офицеры отправляются в Думу многие.

Одного из них полковник горячо убеждал не ехать — это слышали солдаты и чуть не убили его опять.

200

Поездные переезды имели свою поэзию: особый убаюкивающий отдых, недоступность для докладов, министров и генералов, сменные виды за окном, чтение какой-нибудь книги. Чтобы не было резких толчков, предельная скорость императорских поездов была установлена лишь 40 вёрст в час. Спокоен был тогда сон.

Поездки делились на грустные (от Аликс) и радостные (в сторону Аликс). Сейчас была бы такая, если б не тревога за милых, и не болезни их.

Спал долго. Проснулся около полудня. И какое же яркое весёлое солнце светило! — это ли не доброе предзнаменование? С удовольствием смотрел в окно. Под сугробами, под застругами нанесенного снега — цельная, никак не мятежная Россия. Родные пейзажи — холмы, перелески, под глубокими покровами ждущие весны. На станциях полнейшее спокойствие и порядок. Перед станционными зданиями — рослые дежурные жандармы.

И в этом ослепительно-снежном безмятежьи все городские беспорядки казались если не придуманными, то мелкими и преодолимыми. Чтó беспорядки на нескольких улицах против великой державы?

И вереница непотревоженных мыслей, а частью воспоминаний, неторопливо проходила в голове.

На сколько бы дней Николай ни отъезжал от семьи — каждый раз он возвращался к ней с такой обновлённой полной радостью, как будто разлука была годовая. Прежде всего — к Аликс. Только прижав её к сердцу, всё рассказав и всё узнав за дни разлуки, он становился самим собою вполне. Но не намного меньше — и сын, в котором ощущал Николай загадочное физическое повторение самого себя, только перешибленное страшной болезнью, когда отец завидно здоров,— но оттого ещё настойчивей отцовский долг и связь с сыном. И четыре, четыре дочери! — из них уже три невесты с туманной судьбой, уже две взрослых, переросших своё детство,— как бы в темнице из-за царского состояния отца. Вот кончится война — выйдут замуж. Но при том не меньше же любил он и 16-летнюю *Швыбзик* Анастасию. Ко всем к ним рвался Николай, и не знал бы большего счастья как жить с ними постоянно вместе и видеть каждый день.

Но было и ещё одно женское существо, органически включённое в них во всех,— Аня Танеева. Для Аликс Аня была единственной доверенной подругой за много лет. Но постоянно здесь, постоянно рядом, постоянно третья при

них,— она неизбежно срослась нежной связью со всеми, и с Николаем тоже. Отношения её с Николаем были неназываемые, им не было места в людских классификациях. Не восторженной подданной к своему Государю (хотя именно так писалось в письмах), не старшей дочери к отцу, конечно (хотя шестнадцать лет было между ними),— и вне возлюбленной, потому что не могла бы в сердце Николая вместиться вторая любовь при пылкости его к Аликс. И вместе с тем это было нечто нежное, неотъемлемое, только им двоим принадлежащее, в полноте выразимое лишь во встречах наедине.

Был опасный момент, когда это могло перейти и всякие границы,— весной Четырнадцатого года в Крыму. Как всегда, Аликс была прикована многими болезнями то к постели, то к креслу, все заботы — о наследнике, а Николай, как всегда, много нуждался в движении, в теннисной игре, и в его дальних прогулках — автомобильных, конных и пеших, его неизбежно сопровождала эта небесноглазая красавица. Они — теряли голову,— но вовремя твёрдо вмешалась Аликс. В тот момент (и после бурных сцен между женщинами) это кончилось изгнанием Ани из Ливадии и из семьи. Но и Аликс почувствовала, что так — жестоко и непереносимо для неё самой, Аня была возвращена в семейную и дружественную близость, однако за режимом её отношений с Николаем теперь следила Аликс сама.

И — все трое приняли этот порядок отношений. Маленький домик Ани был увешан увеличенными фотографиями Государя. Она приносила свои объёмистые письма Аликс и предлагала сжечь, если государыне покажется, что письмо рассердит Государя. Аликс передавала, разумеется, все, а уж он, прочтя, по обещанию жене, уничтожал их. А если телеграмма от Ани прямая — сообщал Аликс. И освобождал Аликс от необходимости исполнять все анины капризы. И если Аликс высказывала, что привезёт Аню с собой в Ставку,— возражал, что было бы спокойнее им быть вдвоём, но, конечно, можно и привезти.

И в этих определившихся рамках, а во всяких других было бы и недостойно,— продолжало что-то нежно существовать и нежно отзываться между ними. Писал Николай: „целую вас",— это значило с детьми, или „целую вас всех",— это значило и Аню. Или отдельно дописывал :„и её также". (В письмах чаще не называли её по имени.) Дописывал — и ныло приятно: передай Ане мой привет и скажи, что я часто о ней думаю. Тут ещё навалилась вся ужасная история железнодорожной катастрофы, Аня месяцами лежала больная и особенно нуждалась в ласке, и Николай навещал её, потом она стала ходить, но с костылём (но даже и костыль не мог обезобразить её бело-голубого обаяния). Иногда встречались коротко и наедине. (И она хотела — чаще!) И всё это было окружено каким-то беззвучным звуком, неумолкающим тоном, доходящим до сердца, незримый цветок, постоянно цветущий. И всё это делало ещё нежней и дороже возвраты в Царское. И сегодня тоже этот мотив примешивался к остальным, бежал, бежал, как телеграфные провода вдоль поезда,— непрерываемый и недогонный.

Провода тянулись, тянулись, свисая в серединах и подкидываясь к столбам, переливало солнце и полутени по сугробам,— какая же Божья красота, и как хорошо можно было бы жить нашей стране и всему человечеству, если б не было стольких злых помыслов и нетерпений.

И провода эти — хорошо — ничего сегодня не приносили, никаких новостей.

Да может, в столице всё уже и успокоилось? Дал бы Бог.

А нет, оказалось, что Воейков просто заспался, а все телеграммы всегда идут через него. Теперь он пришёл — и разрушил такое успокаивающее, ласковое отъединение.

Во-первых, оказывается, ещё ночью, когда стояли в Могилёве, переслал Алексеев в поезд телеграмму Беляева из нескольких фраз. Но фраз — ужасных: мятежники заняли Мариинский дворец, министры частью разбежались, а частью, может быть, арестованы.

О-го-го. Это серьёзно.

С мягким укором — голубым, почти и не укором, посмотрел Государь на дворцового коменданта: всё же как было не передать это ночью, до отъезда?

Но тот и не покраснел. Его каменотёсное лицо и вообще не краснело.

Что-нибудь ещё?

Да, вот ещё — нагнала пересланная из Ставки телеграмма Государю от 15 членов Государственного Совета.

Государь читал её и недоумевал. Эти люди затверженно повторяли, что народные массы доведены до отчаяния. Что глубоко в народную душу (они её знали и видели!) запала ненависть к правительству и подозрения против власти. Что пребывание нынешнего правительства грозит не меньше как неизбежным поражением в войне и даже гибелью династии.

Николай читал это всё как бред сумасшедших. Он не встречал тут ни единого соответствия действительности, ни одного трезвого слова. Просто понять было нельзя, как серьёзные образованные люди могут писать и подписывать такой вздор. Впрочем, кто там и подписал — всё тот же ненавистник Гучков, да Гримм, да Крым, да Шмурло, да Вайнштейн,— всё тот же почти Прогрессивный блок, к ним качнулся и Меллер-Закомельский, кто бы мог подумать.

Как-то незаметно дали подменить себе и Государственный Совет: от общества выбирали туда ненавистников правительства, от Государя назначали туда всякую почтенную беспомощную рухлядь — разных, кого надо было утешить при отставке. И левые легко главенствовали там над правыми.

И прямо требовали эти пятнадцать: чтобы Его Императорское Величество решительно изменил направление внутренней политики, нынешнее правительство отставил бы и поручил формирование нового... которое управляло бы в согласии с народными представителями... То есть, с Думой.

Да кого же и мог иметь в виду упорный честолюбивый Гучков, если не себя самого? С настороженной ненавистью он не пропускал из своего угла ни одного движения императора. А когда-то казался таким милым. А разгласил в Думе задушевный разговор с Государем. Это было предательство.

В отчаяние приводило Николая, что в одной и той же стране на одном и том же языке — такая невозможность объясниться.

А в народной душе — никак, нигде не видел Николай ни этой ненависти, ни этих подозрений.

И — снова шла непрерываемая езда между солнцем и снегами. Только теперь глодала тревога: Мариинский дворец? Что же там делается? Выйдя к завтраку со свитой, ощутил Государь, что они затемнены и тревожны. И правда, ведь он ничего не объявил им вчера за вечерним чаем о решении ехать в ту же ночь, и вообще не принято было объяснять свите мотивировки действий. Вот и сейчас за завтраком Государь не мог рассеять недоумений на их лбах, это было бы шокирующе необычно, неприлично. Разговаривали о погоде, поездке, разных мелких событиях.

А на станциях всё по-прежнему не было ни растерянности, никакого беспорядка, всё тот же аккуратный железнодорожный персонал и поставленные власти. В Смоленске вышел встречать губернатор. Все по линии знали о проходе императорских поездов и были подготовлены к бесперебойному пропуску.

На какой-то малой станции стоял встречный эшелон пехоты, и тоже знали: часть уже выстроена была на платформе, впереди оркестр, остальные выскакивали из теплушек и пристраивались,— и все страстно заглядывали в окна, сопровождая поезд глазами, никто не знал, в каком из двух синих поездов, и в каком из десяти вагонов и у какого окна может находиться император,— но оркестр непрерывно играл „Боже, царя храни", и кричали непрерывно „ура". А тут Николай сжалился над ними, подошёл к окну — его увидели — и „ура" взмыло невероятной силы! Все лица солдат были одушевлены, восторженны — вид царя придавал им высший размах радости и самопожертвования.

И — что могли значить петроградские беспорядки, безумство Думы и безумство членов Государственного Совета?

Неподвижно и глядя светло Николай простоял у широкого окна до конца платформы, пока скрылся из виду ликующий полк.

Из Вязьмы дал в Царское ласковую телеграмму:

„Мысленно постоянно с тобою. Дивная погода. Надеюсь, вы себя хорошо чувствуете и спокойны. Много войск послано с фронта. Сердечнейший привет. Ники".

201

Собственно, было крайне обидно и никаких оправданий тому быть не могло, почему Владимира Бонч-Бруевича не зачислили в Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов? Если он не был представителем никаких рабочих, так и кто там заседал — тоже не были представителями никаких рабочих. А „видным деятелем левого направления" он был может быть меньше Суханова или Стеклова, но никак не меньше Капелинского или Панкова. Или чем издатель хуже журналиста для революционного управления? Тут сильно виноват и Шляпников, он-то мог бы выдвинуть видного большевика. Но последнее время отношения Бонча с Центральным Комитетом большевиков были неважные, оттого и произошло.

Обидно было ему, ещё пятнадцати лет отроду определившему себя как марксиста (а брат пошёл лакействовать на царскую службу), и с тех пор столько революционных заслуг, и научная операция с Распутиным, как он прикрыл его сектантство, и даже в последние дни заслуга: убедил казачьих сектантов не стрелять, и чтоб те передавали другим казакам,— а теперь, в день торжества, оказаться не у дела?

Вчера Бонч перепоясался армейским ремнём, нацепил огромный револьвер, ходил тут среди них, толкался — но избраться в Исполнительный Комитет так и не удалось. Хорошо, он стал комиссаром по типографиям. Пошёл захватил типографию „Копейки" на Лиговке — это оказалось очень просто, никто ему не сопротивлялся — и ночью выпустил первый номер „Известий" Совета.

Начало было простое, но потом создался ряд осложнений и воздвигся ряд опасностей, из-за которых Бонч уже посылал в Таврический две самых решительных записки, наконец явился вот и сам и вызвал Гиммера с заседания ИК.

Гиммер действительно уже получил одну записку Бонча, но такое напряжённое было заседание, что не дошли мозги и руки что-нибудь сделать. Понадеялся он, что как-нибудь обойдётся, и Бонч больше требовать не будет. Однако Бонч вот явился сам, с выпяченным животом.

Собственно, Гиммеру не была поручена опека над „Известиями", и он мог бы этим вопросом не заниматься. Но как самый дальновидный член ИК он не мог от себя этой обязанности отклонить. Когда Бонч стал грубо нападать, что всё их заседание тут и все разговоры ничего не стоят без выпуска „Известий", что только то реально существует, что напечатано в газете,— Гиммер не мог не признать в этом большую правду.

Бонч бурчал как из бочки, и Гиммер увёл его за дверь в коридор, где была ещё бóльшая толкотня и штурм добивающихся на ИК, но там Бонч стал разговаривать тише.

Он жаловался на такие обнаруженные трудности: хозяева не сопротивлялись захвату, но типографские рабочие несмотря на революцию хотят получать за свой труд оплату, и значит, нужны деньги. Потом: ввиду непрерывности работы, он не может отпускать рабочих из типографии — а значит, нужно их чем-то кормить. Потом: раз весь город знает теперь, где печатаются „Известия",— возникает большая опасность нападения чёрной сотни. А поэтому — ему нужна охрана, не меньше сорока человек, и с пулемётами, расставить их по всему кварталу. Одновременно это будет и железная диктатура против типографов. Но охрану тоже надо постоянно содержать и значит кормить. И вот это всё Бонч просит Совет Депутатов ему обеспечить — всего 100 человек.

У Гиммера мелькнула эпиграмма, ходившая про Бонча:

С своей бончихою голодной
Выходит на дорогу Бонч.

Ещё проверить надо — шестьдесят ли у него рабочих. Но так или иначе — проблему неизбежно решать.

А уже почувствовал себя Гиммер представителем революционной власти. И как имеющий власть отвечал решительно:

— Хорошо, Владимир Дмитрич. Денег — у Совета тоже пока нет, но и платить их не сию минуту. Поэтому можете обещать рабочим любые условия, лишь бы печатали. А продукты — будем доставать, сейчас я этим займусь. И охрану — тоже будем добиваться.

Но над маленьким юрким Гиммером Бонч-Бруевич возвышался пузатой бочкой:

— Не добиваться — а охрану надо прислать немедленно! Уже скоро стемнеет, а на тёмное время мы остаться так не можем! Нас чёрная сотня разгромит.

Хорошо. Пообещал Бончу. Расстались.

Действительно, что-то надо было делать. Но что? Трудность действовать, когда тебя никто не знает, ни по имени, ни в лицо. Гвоздева — многие знают, а тебя — никто.

Где-то в дальнем углу Таврического дворца создаётся продовольственный склад революции. Но просто выписать наряд и послать — не могло помочь: там и читать его не станут, там и подписей членов ИК не знают. И на каком бланке? И кому именно писать? Значит, надо было идти на склад самому.

А идти — это значило теперь в Таврическом: пробиваться локтями. И что за безумная бессмысленная толпа? Что они все сюда согнались? чего они хотят? на что они тут рассчитывают? Нельзя было не озлобиться, когда пробиваешься по делу — а эти глупые спины и рожи всё тебе перегородили. Через сквозняки, по скользкой жиже, набравшейся на полах,— искать эту дверь, искать эту камнату.

Так у Гиммера много ушло времени — добиться до склада. И там какой-то неизвестный распределял продукты по своему усмотрению, а все его дёргали. Ещё надо было вниманье его привлечь к себе, ещё надо было увещать. Наконец выписал ордер. Но забирать продукты не на чем. Теперь искать автомобиль, и кто будет сопровождать. И охрану к автомобилю, чтобы не разграбили по дороге. И подгонять его к складу.

А само собой надо же было хлопотать главную охрану. Это уже надо добиваться до Военной комиссии. И Гиммер отправился туда.

Который раз за эти дни он пробивался в Военную комиссию, но никто его не запоминал, всё были новые часовые, новые недопускатели — и надо было снова и снова всех уговаривать да при таком невоенном щуплом виде. Но и проникнув — внутри нельзя было обрадоваться: не было у комиссии головы, порядка, единства. Каждый член комиссии (он же и заместитель председателя) действовал, как мог, как успевал, окружённый каждый десятком претендентов и жалобщиков, получал донесения, отправвлял распоряжения, велел создавать команды и ни в чём не мог быть уверен.

Гиммер добился внимания Филипповского, эсера, самого тут близкого к Совету человека. Но и энергичный Филипповский уже измотался и отощал. Он согласился, что „Известия" надо охранять, но не только не было у него сорока человек с пулемётами, а даже начальника такой команды он не мог назначить. Какие-то офицеры толпились тут, как будто спрашивая назначения, но когда Филипповский стал им предлагать начальствование над типографской командой — никто не повиновался, ссылаясь на другие более важные миссии или отсутствие людей.

Гиммер отчаялся и пошёл сам толкаться меж праздных офицеров, ища добровольца. Какой-то хорунжий зрелых лет согласился, но только чтоб команду ему представили, у него никого не было. Назначение хорунжему подписал инженер Ободовский — но отряда так и не было.

Что ж Гиммеру самому надо было найти и отряд? выйти сейчас к солдатам и агитировать? Вот к этому он не был готов. Выйти и говорить перед толпой он никак не мог, он заранее знал, что будет неуспех, предчувствовал, что несолидность фигуры и совсем уж не военная манера сразу подорвут его речь.

Но был же человек, как раз для этого и созданный,— Керенский! Вот и решение задачи: во многотысячьи Таврического дворца разыскать теперь Керенского — и его убедить собрать отряд. Никого другого, пожалуй, найти

было в этой массе невозможно — но Керенского можно, потому что он был самый броский, самый популярный, и к нему вели следы.

Он нашелся в глубине думского крыла. В той комнате по крайней мере двадцать человек одновременно требовали, осаждали и достигали его, и Керенский, быстро поворачиваясь, перебегая и обрывая собственные фразы, старался не только понять и удовлетворить этих двадцать, но — понять и обнять, насытить и обслужить всю необъятную Великую Революцию, которая разрывала ему грудь! Он — один был на это способен! Он — чувствовал так. Он был — в струне и на месте! Зложелатель со стороны мог бы придумать, что его худое вдохновленное горящее лицо несколько загнанно,— на самом же деле он переживал неисчерпаемый подъём и имел силы совершить ещё тысячекратно.

Гиммер оценил и пожалел, что в таком состоянии Керенский вряд ли может охватить все основные пружины стратегической и политической ситуации,— но свой конкретный вопрос он ринулся протолкнуть через него и для этого цепко схватил его за пуговицу сюртука и уже не отпускал.

Не только риск несвоевременно потерять видную пуговицу, но и отзывчивость Керенского услышать каждого из двадцати и ухватить проблему — помогли Гиммеру. Да он и воспользовался самыми грозными словами о Судьбе Революции — и острое сознание прорезало воспалённые глаза Керенского.

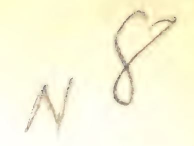
Едва вслушавшись — он немедленно согласился и сорвался с места, и вырвался ото всех остальных девятнадцати — и помчался вон, так что и Гиммер едва за ним успевал. Странно, Керенскому не приходилось расталкивать толпы, как всем остальным. Подобно метеору, он прожигал себе трассу — и Гиммер пристроился в его огненном хвосте и по пути прихватил своего заарендованного хорунжего.

Керенский влетел в переполненный Екатерининский зал, взлетел, не подверженный силе тяжести, на какой-то стол или подмост — и над морем голов, повёрнутых в разные стороны, без всякой подготовки понеслась его пламенная речь, что вся судьба революции на лезвии и зависит от сорока добровольцев, согласных на караульную службу, которых он должен сформировать здесь, сейчас, сию минуту!

Такова ли была сила его красноречия или сравнительная безопасность караульной службы — но ещё прежде, чем в дальних концах зала сумели его услышать и повернуться сюда,— уже с разных сторон проталпливались добровольцы, и пожилой хорунжий начал их строить.

Продолжение следует

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН



МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

202

— А что, проголодал?

— Нет, ты, рябой, погоди, ты сюда послушай! Сколько мы серую шинелку носим, да и ране,— когда нам такой почёт бывал, чтоб собраться, вот, во палаты — и тут бы мы...? Второй день так живём, не нахвалимся, на ученье — не надо... Только бы нам питанию наладить, питании нет. Пусть эти тут, чем речи держать, учредят кормёжку всех солдат!

— Ишь ты умный какой, кормёжку! Откуда тебе рабочие питанию возьмут?

— Так забрать, где есть!

— На складах и есть. У богатеев. Где-то есть провизия, куды ей деться? От нас прячуть.

— Вот и говорю: забрать! Выбрать таку Комиссию: шла бы, забирала подчистую.

— Чего Комиссию? А мы сами — безрукие, чо ль? Чем на етом Совете топтаться зазря — разойтись по улицам. И штыками прочёсывать. И забирать!

Уже который час нагнетался и нагнетался народ сюда, в большую комнату, где объявили *Совет*. И даже мало с мороза пришли, а сухонькие, тёпленькие, видать здесь и ночевали. В казармы идти боязно, а тут попоили барышни чаем и хлебу прикладали с колбасой,— а теперь чего будет, поглядеть. У дверей задерживали, требовали какой-ни-то бумаги иль хоть на словах бы доказал — от какой части, от какого завода. Одни и доказывали, а другие напирали и проходили гуртом, солдаты многие, кто и с винтовками, как из казармы ушёл вчера, а куда её денешь?

А в серёдке поначалу было вольготно, и даже зады рассаживали по стульям, по скамьям, а головка образованных из соседнего чуланчика, кому и грамота в руки,— та сидела за столом. Но и — пёрли, но и — пёрли новые и новые всё сюда,— и уже столько набралось народу стоячего, что сидеть стало невмоготу: ничего не видать, половины не слыхать, всё застали, да спинами в рожу давят,— так стали из сидки приподыматься. И — ещё стало тесней, так что все колена об те стулья пообдавливали, да переломать их к чертям или повыкидывать! Или вот что, кто поумней: на стул же тот и громоздись — во хорошо-то! во видать отсюда, хоть вперёд, хоть назад, хоть речь изрыгай, а хоть просто вылупляйся, диковинное сборище!

И на головку напирали, напирали — уже их в стену втиснули, ничего им не видать, и полезли они тоже на свой стол стоймя. И теперь уж их ни с какого стула не перевысить.

11 А внизу, в сжатьи, и папаху не везде сымешь, да и держать её несручно, так уж пусть голову парит. Зато — разбеседование, вот что! Где тесно, там солдату и место. За вчера, за сегодня тут на переходах перезнакомились из разных батальонов. И тут, кто по соседству оказался,— тоже беседа. С соседом поговорить — душе тепло.

— Такие девки хожалые, строганые ляжки, там уж и шерхебелем и рубанком пройдено...

— Да питерские девки на нас, грязнопятых, рази смотрят?

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 6, 7.

А со стола, руками размахивая, какой-то в кожаной куртке, из автомобильной команды:

— Товарищи солдаты! Вы заслоняете светлый горизонт революции такими несерьёзными рассуждениями! Сколько мы боролись с кровавым царизмом — об этом надо говорить! В девятьсот пятом году и в девятьсот шестом. И сегодня ещё идёт грозной тучей палач генерал Иванов, душить нашу свободу. И нам надо мобилизоваться и организоваться. А мы что делаем? А мы только в воздух пуляем.

— То не мы, то ребятишки.

— А кто их приносит, патроны? А кто их в костры?

— Да хва-атит тебе патронов! У нас этих патронов цейхауз полный. Это раньше их по счёту выдавали, а теперь — бери, своя рука.

А то на стол взлезал рыжебородый, здоровый как мясник. И читал по бумажке иль на память говорил, за что надо голосовать. Голосовать — значит пустую руку подымать, поднял, опустил, не тягота, это мы можем. Тоже как своя присяга тут. Отменить полицию — хорошо. Захватить все места, где деньги делают или хоронят,— лады. Трамваев не пускать — не надо, мы и так пешком ходим. Поголосовали, поголосовали — скончили.

А так-то подумать: что, эти учёные, умней нас, что ли? Просто — грамота, наторели. А наша доля — для их сторонняя. И слова у них какие-то-сь, нашему уху не милые.

— Вот только бы, братцы, брюхо набить — а то ведь ноне на свободе и заживём же мы, а?

Фуражки, папахи мохнатые, чёрные бескозырки с жёлтыми кругами выпушек, и безо всего открытые стриженые головы, у кого выгляд разомлевший, у кого пристигнутый, а тут и вольные в чёрной одёжке, они-то нас попривычнее, вот так сбираться да судачить, они нас и переговаривают:

— Товарищи солдаты! Вам ли пояснять, что победа народа должна охороняться! Враги революции готовят нам ужасное кровопролитие, а мы не видим ваших стройных революционных рядов.

Лево-руционных... И чтой эт'они все на левую руку больше налегают?

— Надо сокрушить гидру реакции — а что мы для этого делаем?

Но уже языки расплелись, ему и отзыв сразу:

— Погоди, я тебе расскажу. Значит, в нашей казарме...

Но у кого чего в нашей казарме — на это охотников со всех сторон, заслушаться. Как во всех батальонах побываешь, зараз. В пять голосов сразу.

А кто — и просто расповедать хочет, до чего теперь все стали радые да лёгкие. Уйтить отсюда не под силу, только брюхо подвело.

Тому, вольному:

— Эй, слышь! Животами слободу отстоять — мы могём. Да гуще бы подкармливали.

Тут — услышали все, и кричавшие и молчавшие: очередь пулемётная! Да близко! рядом!

И ещё — очередь!

Вот тут же рядом где-то со дворцом!

И — как ударило по народу! пулемёт!! — он не шутит!! Он — знает, чего говорит!

А их тут, в тесноте, хоть всех перебей, с одного пулемёту.

Затискались, заорали. То ль по нам стреляют, то ль от нас, но всё равно — бой!!

А винтовки-то наши иные — и без патронов. А кто-то и в коридоре посоставлял.

И — задёргались к выходу, тиснулись —

— Да тише-то штыком, чёрт, не коли! —
как через дверь распахнутую кто-то крикни:

— Казаки!

Ай, сердечко моё разнесчастное, попался под резак, сейчас нам тут всем головы и порубят!

И уж чего дальше творилось, никто не разбирал, а только куда глаза его ещё глядели: у одних в дверь, у других в стену, у третьих в пол, да и притис-

нумшись, а сверху топчут, а у тех — в окна: окна-то в сад, казаки-то с улицы в сад небось не заскачут?

И зазвенели стёкла! Уже и сюда бьют, мамочки!?

Ин это наши, прикладом стекло дробанули — а режет, не выскочишь — так ещё прикладом? — да и выскакивать на снег, а там дальше бегом?

Первые-то минуты тяжельше всего было, потом поразредилось. Но кто в залу выскочил — там тоже во все стороны давятся, куды выскакивать?

И наверно, все кричали, но ничьих голосов не слышали. Может кто и уговаривал, что пустое,— но после тех *Казаков!*

И пулемётных очередей ещё несколько было.

А наши, в ответ, вроде никто не стрелял.

Так оно, мал-по-малу, и утихло.

Утихло, осмотрелись: казаки не скачут, из пулемётов не секут.

Стали ворочаться — кто снаружи внутрь, через окна дроблёные, кто и опять на Совет: где ж и поговорить?

Головка тоже разбежамшись. Собиралась теперь.

203

После прихода Гучкова понял Масловский, что его время в Военной комиссии подходит к концу, а этот лицемерный Ободовский, забыв своё революционное прошлое, готов услуживать цензовым кругам. Большое упущение было для Совета терять свои позиции в штабе революции, важнейшем плацдарме управления и власти. И прав был прошлой ночью Соколов, когда не пускал сюда Энгельгардта,— но не хватило у Совета своих военных кадров, и слишком заняты были собственной организацией.

Теперь, может быть последние бесконтрольные часы здесь, надо было успеть сделать как можно больше важных распоряжений. И Филипповский, так и не свалясь за сутки, подписывал на бланке Товарища Председателя Государственной Думы (надо было такой блокнотик и утянуть) распоряжение за распоряжением, почти каждые пять минут.

Оказалось, что винтовки, свезенные в Государственную Думу,— кончились, и надо было привезти ещё откуда-то хоть полтысячи, так быстро они расходовались. И при снаряжении команд многие добровольцы вызывались идти без винтовок. И надо было в здание Думы привезти побольше револьверных патронов. (И как-то надо бы отделять особые запасы Совета.) Затем надо было овладеть запасным броневым дивизионом, откуда все офицеры разбежались,— к счастью, нашёлся такой капитан Халиль-Беков, который брался водворить там порядок. Один из братьев Шиманских, студентов, уже успешно арестовал Штюрмера утром, теперь другого брата Шиманского послали наводить порядок в Гвардейское экономическое общество, где грабили солдатские банды.

Теперь надо было вскрыть контрреволюционный нарыв в Павловском училище. И лейтенант Филипповский, выписывая потщательнее буквы, особенно заглавные, которые тут были почти кряду и в том весь смысл, написал всё на том же важном думском бланке распоряжение генералу Вальбергу:

„Начальнику Павловского училища. Именем Временного Комитета Государственной Думы сдать вверенное Вам училище в распоряжение Военной Комиссии Временного Комитета Государственной Думы и ожидать дальнейших распоряжений Военной Комиссии, для чего явиться в означенную Комиссию".

Распоряжение послали в двух экземплярах (на одном расписаться и вернуть) с бойким прапорщиком и лихими солдатами на двух мотоциклетах. Филипповский не рассчитывал, что генерал явится, лишь бы без боя сдал училище.

И продолжал собирать над бланками лоб, где ещё что взять или охранить, или подавить. В комнате Военной Комиссии, несмотря на охрану в коридоре, была обычная толчея, всё время неруководимые, неизвестно с чем и зачем пришедшие люди, — и появился Керенский, тоже кого-то куда то потребовать, взять, послать.

И в этот момент совсем близко ко дворцу, но с другой стороны здания, раздалась отчётливая гулкая пулемётная очередь! И ещё одна! И ещё!

Пулемётный звук не требует разъяснения, особенно военным людям! Кто-то прорвался, и бой идёт у самых стен Думы!

Все заметались! Все вдруг оказались не в твердыне штаба, но без оружия и в ловушке, откуда не так просто выскочить.

Окна Военной комиссии выходили в сквер — и там, в неразберихе автомобилей, мотоциклов, пушек, лошадей, людей,— возникла сумятица, всё завертелось водоворотом, куда-то хотело выскочить или выехать, автомобили заводились, не заводились, расталкивали и отпихивали друг друга, кричали — и только стрельбы не было, и видно было по скверу, что сами они противника не видят.

Даже из сквера нельзя было выбраться, а отсюда пробиваться ещё до сквера через коридор, через вестибюль — невозможно! Через каких-нибудь пять минут сюда могла ворваться расплата, ружья на изготовку — и застигнуты, арестованы, потом и петля!

Безумно затосковал и заметался Масловский — ведь уже 40 лет, и совсем не военный... Всё ясно! — протопоповские пулемётчики сошли с крыш и пошли в атаку. Теперь тут верная гибель! — или захватят в плен — и на каторгу. Ах, как ему не хотелось вчера сюда! и жена отговаривала, а Капелинский застиг! И как его тянуло под утро исчезнуть на свою квартиру — но удержало ложное чувство революционного стыда.

Из этих неназванных офицеров, которые тут толпились,— кто стал выталкиваться из комнаты.

А пулемётная очередь — снова! и снова ещё одна! — невероятно близко, просто вот тут же, под самыми стенами дворца!

И не известно, чем бы кончилось всё тут, в Военной комиссии, если бы среди них не было Керенского.

Но он был — тут! И все те же опасения, и все те же мысли, но только с ещё большей быстротой, решительностью и ответственностью за всю судьбу революции, а не только за себя, пронеслись и в его голове — и он тут же принял решение, а верней — исполнил его, потому что у него исполнение всегда было быстрей самого решения: Керенский взлетел от пола, как на невидимых крыльях, и вот уже стоял на подоконнике, одной рукой держась за ручку шпингалета, другою распахнув форточку, впившись в обрез её рамки, а узкую прямоугольную голову свою — втискивая туда, туда, в саму форточку, она вполне входила.

И глядя на водовертное безумие сквера — он кричал туда в форточку своим голосом, таким прославленно звонким, резким на трибуне — а сейчас несколько осипшим:

— Все — по местам! Все — по боевым постам!.. Защищайте Государственную Думу!.. Это говорит вам — Керенский! Государственную Думу — расстреливают!!!

Этот ужасный исторический рок, трагический конец новой революции кошмарно предстал перед побледневшей Военной комиссией. Таврический дворец уже тонул в крови!

— Государственную Думу — расстреливают!!!.. Это говорю вам я, Керенский!.. Защищайте вашу молодую свободу! Защищайте революцию! Все по местам! Оружие к бою!..

Но — неизвестны были каждому свои места, и оружие не у каждого, и не каждый знал, как с ним обращаться. Да в той суматошной панике, криках, мате, фырчаньи и рёве вообще никто не слышал и не заметил, что какой-то человек кричал из какой-то форточки.

Но здесь в комнате все слышали — и на военных смелость Керенского произвела неадекватное впечатление. Кто-то нетактично заметил, что эта команда через форточку могла произвести эффект, обратный мобилизации. Керенский, уже спорхнувший с подоконника на середину комнаты, убравши крылья в лопатки, взглянул на дерзкого осиятельно гневно, ещё не вполне вернувшись от своего взлёта к простому ногохождению, и закричал с пронзительными нотками:

— Я прошу — не делать мне замечаний!.. Я прошу каждого выполнять свои обязанности — и не вмешиваться в мои распоряжения!

Если бы то был реальный налёт на Таврический — пулемётной команды, пехотной полуроты или четверти казачьей сотни — не известно, как пошли бы мировые события и многие ли спаслись бы из-под революционных руин. Но больше не раздалось пулемётных выстрелов, и никаких других, и ни казачьего гиканья — и постепенно стало успокаиваться в сквере, и в Екатерининском зале, и в коридорах, и в самой комнате Военной комиссии — а Александр Фёдорович получил беспрепятственную возможность унестись дальше по своим делам.

А причина стрельбы скоро выяснилась: какая-то революционная команда в Таврическом саду проверяла, насколько хорошо бьют доставшиеся ей пулемёты. А казаков — и вовсе никаких не было.

Хотя скоро уже почти сутки Военная комиссия непрерывно совершала только самые необходимые дела и распоряжения — теперь тут должны были признать, что все принятые меры совершенно неудовлетворительны и вот Таврический дворец никак не готов к обороне.

Не была готова и вся столица: все эти полки, притекающие из окрестностей приветствовать Петроград во славу революции,— куда-то сразу же после приветствий растекались, терялись, им всем нужно было только где-то питаться и спать, а на защиту революции этот поток не добавлял ни одного взвода.

Филипповский схватился и написал приказ:

„Командиру 9 запасного кавалерийского полка.

Немедленно привести возможно большее число эскадронов в полном боевом вооружении и пулемётную команду — для охраны Таврического дворца, при надлежащем количестве офицеров.

Председатель Военной комиссии''.

Сам просился командовать — пусть теперь отрабатывает.

Даже если он весь кавалерийский полк приведёт — это никак не будет много для защиты Таврического.

Советская и буржуазная часть Военной комиссии дружно искали ещё резервов.

„Подпоручику Постригалову,— писал Энгельгардт,— организовать охрану Государственной Думы, выслать патрули''.

А Ржевский хлопотал: куда же подевался преданный Думе Преображенский батальон? вот недавно утром приходил приветствовать — а батальона нет, и ни одной операции совершить он не может. И писалось срочное приказание:

„Прапорщику Синани с двумя автомобилями — ехать на Миллионную № 33 в казарму Преображенского полка, и привести с собой всех офицеров этого полка'',—

с их полковником Аргутинским, хоть и насильно. Полезли обещать, так пусть же служат. И разобраться: почему они не приходили с солдатами? И что там у них в полку делается?

Впрочем, вся эта паника в Таврическом показала и другое: насколько же у царского правительства не осталось никаких сил.

204

* * *

На главном шпиле Петропавловской крепости поднялся красный флаг. Все смотрят, радуются, передают, кто не видел. Воодушевление! Главная твердыня царизма!

Раскидистый каменный крепостной многогранник над Невой пытал умы: сколько же обречённых политических узников томится там? Толпа возбуждалась перед воротами, требовала выдать арестованных. Наконец впустили депутатов-понятых осматривать камеры. И те убедились, что все бастионы равелины пусты. Вышли к толпе, покричали „ура'', стали расходиться.

* * *

После ухода правительственных войск из Адмиралтейства его постепенно затоплял сброд. Стали грабить морской генеральный штаб и мастерские. Новая забота для морского министра Григоровича: стал просить у Родзянки караул для охраны.

* * *

На воротах и решётках Зимнего дворца орлы и вензеля кое-где завешивают кусками красной материи.

А по городу взяли новую манеру: рвут трёхцветные флаги.

* * *

Громили дом графа Фредерикса на Почтамтской, толпа бушевала внутри, со второго и третьего этажа выбрасывали в окна и с балкона мебель, убранство. Большой рояль с тяжёлым звоном разбился о мостовую. Потом подожгли, и большая толпа не давала пожарным тушить, а только отбивать соседние дома, чтоб не загорелись. (Рядом был и почтамт, с новой телеграфной аппаратурой.)

Графиня Фредерикс впала в паралич, хотели поместить её в английский госпиталь, но было отказано. Очевидно, английский посол Бьюкенен не хотел делать демонстративного шага в пользу старого режима.

* * *

Мимо Летнего сада брёл, одетый в штатское, один из эфиопов, бывало охранявший в золотом наряде и в тюрбане вход в кабинет императора. Вид у него был жалкий.

* * *

Одного прохожего арестовали за то, что у него толстая рожа (городовой?). Другого — что слишком быстро шёл по улице (хочет скрыться?).

* * *

По Театральной площади две образины тянули маленькие санки, и к ним привязанный труп городового на спине. Из встречных останавливались и со смехом спрашивали, как „фараон" был убит. А двое мальчишек лет по 14 бежали сзади и старались всадить убитому папиросу в рот.

Трупы убитых городовых сбрасывали и в помойные ямы.

* * *

На Николаевском вокзале напирала, напирала солдатня на буфет, требуя закусок. Потом вломились, разогнали поваров, что можно — съели, перебили все тарелки до последней, а столовое серебро и бельё унесли. Говорили: в Думу.

Приходят поезда — на перроне солдаты не дают носильщикам работать, вместо них таскают вещи пассажирам, зарабатывают. И какие-то типы тоже таскают, иногда исчезая вместе с багажом.

* * *

Ораниенбаумские пулемётные полки входили в город через Нарвскую заставу несколько часов, полдня, так растянулись. Чтобы пулемёты не замёрзли — несли их обмотанными войлоком. Ленты с патронами — крест на крест, крест на крест поверх шинелей. И воротники шинелей, усы и бороды обелились от путевого дыхания.

А вошли — как же пулемёты в дело не пустить? — да вот, говорят, городовые с крыши стреляют. Постреляли у Нарвских ворот.

У Путиловского завода — встреча с рабочими. Объяснили пулемётчикам, что надо в Думу идти. Но туда ещё путь долгий, и устали, и надо же всех своих дождаться.

* * *

Образованные петербуржане — как в возбуждённом бреду, в сомнениях, страхах, радостной решимости. Целый день кто-нибудь сидит у телефона и собирает телефонные слухи. (Вот, говорят, Михаил Александрович в Петрограде. Вот, говорят, и Николай Николаевич приехал.)

А домашней прислуге, если не стара, больше всего беготни: побежит по улицам, что-нибудь высмотрит, узнает, прибежит господам расскажет и опять убежит. Да почти у всех ворот кучки-клубы.

Постоянно поддерживается самовар в окружении снеди — для приходящих знакомых и полузнакомых. Разговоры сладкие: переворот — самый респектабельный, Государственная Дума дала своё имя. Теперь у нас, очевидно, будет монархия английского типа. Уж раз Дума взяла власть, то всё пойдёт гладко, и война скоро кончится.

Впрочем — где он, царь? И войска его ведь идут на Петроград?

Против Думы? — не посмеют.

А если сменится царь — деньги в банках не пропадут?

* * *

Уже после „Известий Совета Рабочих Депутатов'' и малочисленней их появилась и как бы настоящая газетка — просто „Известия'' комитета петроградских журналистов. Тут — новости: перерыв Думы, письма Родзянки царю, взятие Арсенала, „Крестов'', разгром охранки, арест Щегловитова, создание думского комитета — да всё уже и так известное.

А вот про царские войска, идущие на Петроград, нигде не напечатано — а только слухи, слухи.

* * *

А на улицах во многих местах — марсельеза! И оркестры играют, и хором поют — и всё это изуродованно, неумело,— но снова, снова, всё шире и без конца.

И в этой марсельезе — ощущение стихийного, бесповоротного сдвига.

Стали вывешивать красное и на воротах домов.

* * *

Резкий долгий рожок, чтобы все разбежались. Длинный синий роскошный автомобиль с золотыми императорскими орлами на дверцах, с красным флагом у руля, весь наполнен вооружёнными матросами. Кричат, машут.

* * *

С середины дня уже не осталось никакого „противника'', никаких военных действий. Не осталось и „неприсоединившихся'' частей — все до мелких теперь присоединились: шли к Таврическому дворцу или слали депутации.

Но и возрастал громёж магазинов и складов.

* * *

Стройно идущая с барабанным боем часть — вдруг рассыпается от случайного выстрела сзади.

Солдаты без офицеров!.. (Офицеры — по квартирам.)

* * *

Революционные солдаты — многие без поясных ремней, в расстёгнутых шинелях. Лица радостные, но и растерянные. Как украшенье на многих — пулемётные ленты: вкось через плечо, и по поясу, и просто в руках носят, безо всяких пулемётов.

Вот солдат с ружьём на ремне, а к дулу привязаны две искусственных белых розы (вынес из чайной). Вот студент ведёт за собой сквозь густоту тротуара десяток солдат — какая то ясная у них цель, дружно идут. Вот солдат трясёт револьвером над головой и выкрикивает угрозы. Вот юноша лет 17 несёт над головой, гордо трясёт, всем показывает — обнажённую офицерскую шашку с георгиевским темляком (отняли у георгиевского кавалера).

У одного из волынцев на штыке болтается трофей — разодранный жандармский мундир. Кричит во весь голос:

— Конец фараонам! Довольно нацарствовали!

* * *

По Лиговке к Знаменской площади валит толпа — много солдат, чёрных штатских, мальчишек — сопровождают захваченного высокого жандарма в форме. И ещё, и ещё со всех сторон к толпе лезут, останавливают. Крики.

Позади жандарма подымается винтовка прикладом вверх и медленно тяжело опускается ему на голову. Шапка с жандарма слетает. И второй раз отмахивается та же винтовка — и опускается второй раз, по голой голове. В кровь. Жандарм оглядывается, что-то говорит и крестится. Его бьют ещё в несколько рук, он падает.

* * *

В правление Путиловского завода ворвалась куча вооружённых: „Выдайте кассу!'' Отказ. Схватили военного директора завода генерал-майора Дубницкого: „Едем в Думу!'' Его помощник генерал Борделиус: „Я вас не оставлю, вместе служили...'' От Нарвской заставы генералов высадили: „Нечего кровопийц возить!'' Погнали штыками до Балтийского вокзала, избивая,— и утопили под лёд Обводного канала.

* * *

У Николаевского вокзала — два бронированных автомобиля с пулемётами и несколько пеших воинских отрядов. Вдруг из одной гостиницы револьверный выстрел — и вмиг опустела едва не вся площадь: и толпа разбежалась, и солдаты, или полегли. Второго выстрела нет — и солдаты в беспорядке, покинув свою позицию, бросились обыскивать гостиницу.

Затем винтовочный выстрел с другого конца площади — и вся солдатская масса бросается туда, наудачу обстреливая заподозренный дом.

* * *

На многих улицах предупреждают: „Дальше не идите, там стрельба!''

На углу Невского и Морской вдруг вся публика шарахается и разбегается. Говорят: „Там спрятались!''

* * *

Это называется — *снимать фараонов.* По заподозренному дому бьют из пистолетов, из винтовок, из пулемётов, лупят и в стены, и выбивая стёкла. С охотой и весельем бьют сразу из ста ружей. (И с охотой позируют потом для фотографа: солдаты в папахах, солдаты в фуражках, автомобилист с очками, поднятыми на козырёк, и штатский в мягкой шляпе.)

А с кем там перестрелка? Лезут по лестницам на обыск, по пути проверяя и все квартиры: не прячутся офицеры? а может где оружие? (Или часы, или портсигар.) Взбираются на крыши, ещё оттуда руками машут, по карнизам ходят — и только *фараона* никто нигде ни разу не снял и не нашёл. До того неуловимые.

Говорили: в каком доме найдут пулемёт — будут тот дом сжигать.

* * *

Выводят из подъезда арестованного генерала — присутствующие солдаты по привычке отдают ему честь.

Автомобиль, везущий его арестованным, по улицам встречают радостными криками.

А при входе в Таврический уже и в спину толкает генерала кто-то.

* * *

Министра Барка арестовал собственный лакей и глумился над ним.

Член Государственного Совета Кауфман-Туркестантский был задержан молодёжью на улице и приведен в Думу как „фараон''.

* * *

В здании Думы группа гимназистов под начальством студента-политехника М. присваивала себе личные вещи и деньги приводимых чинов полиции (как потом жаловались арестованные).

* * *

Уличный сбор на питательный пункт для солдат. Стол покрыт белой скатертью, ящик для монет, и две курсистки зябнут, руки в муфтах.

* * *

По Невскому летит автомобиль, в нём — офицер с серебряными погонами и большой красной перевязью на рукаве. Значит: *присоединился.*

Проскакала верхом женщина без шляпы, с обезумело радостным лицом. Отвевались её волосы.

* * *

Один автомобиль застрял посреди улицы, другой, с корреспондентом, на него налетел. Поездка окончена, репортаж тоже.

* * *

Военные мотоциклисты! Они кажутся людьми будущего, людьми нового формирования. Их одежда особенная, долгие кожаные перчатки на руках и кожаный ремешок фуражки под подбородок. Они самоуверенны, могучи!

И разве угадаешь, что скрывается за их вихрем? Один лётчик всё носится на мотоциклете: на Жуковской у него дом отца, а в „Астории'' снимает номер для любовницы.

* * *

Толпа замечательна и тем, кого в ней н е т. И вчера, и сегодня на улицах совсем не видно священников. В храме отслужат службу — и по домам.

Только на крыльце Таврического среди дня показался отец Попов 1-й, член Думы. Он вышел благословлять вооружённые войска: „Да будет памятен этот день во веки веков!'' Но революционные войска не очень нуждались в его благословении. Предложенного креста не тянулись целовать.

* * *

Жуткий момент у Таврического: пулемётная стрельба! переполох! Автомобили, выезжавшие из сквера, попятились назад. И со Шпалерной толпа хлынула прятаться в сквер. Иные солдаты залегли в цепи и отстреливались в разные стороны. Разведчики побежали через пруд Таврического парка и проваливались в нём.

Потом — разные были объяснения, а пуще всего: городовые с водонапорной башни, но — скрылись, и пулемёт унесли.

* * *

Выпить и опохмелиться! — только б найти где. Пьяных — всё больше в толпе.

Пьяные матросы флотского экипажа в Коломне врываются в квартиры домов, грабят. Военных арестовывают, увозят на грузовиках.

* * *

Шайки подростков с револьверами и винтовками, солдатскими шапками. Много стреляют.

У 18-19-й линии на набережной маленький щуплый парень в чёрной лохматой папахе полчаса терроризировал всех прохожих. В одной руке у него была шашка наголо, в другой револьвер. Перед всеми проходившими солдатами он брал „на караул'', всем обывателям преграждал дорогу и приказывал сворачивать на Большой проспект, „присоединяться''. Убеждали прохожие, что на Большом и без них народу полно, юнец кричал:

— Без рассуждений! Стрелять буду!

И всех поворачивал. И в воздух стрелял иногда.

Потом два дюжих солдата-финляндца подошли к нему, попросили револьвер „посмотреть'', и забрали.

* * *

Дворник в жёлтой дублёнке с чистым фартуком подбирал деревянной лопатой комья кровяного снега. От снега шёл лёгкий пар.

205

Нелидовского хозяина звали Агафангел Диомидович, и это имя тоже почему-то внушало безопасность.

Он пришёл звать к завтраку — после уличной проходки, свежий от морозца, крепкий, а уже с большой залысью, и тёмен годами и металлической пылью. Никакой радости он не выражал, как те вчерашние, с красными тряпками. Щёки его были сильно впалые, подбородок и взгляд твёрдые. Сказал из-под чёрных длинных усов:

— Не-ет, ваше благородие, и думать вам нечего идти: сегодня кипёт пуще вчерашнего. А вы не стесняйтесь. Только что теснота, не бессудьте. Отдыхайте.

Позавтракали — варёная картошка с подсолнечным маслом, капуста да солёные огурцы, пост. Кружка чая без сахара.

И опять хозяин ушёл, но не на завод — работы-то везде остановились.

И капитан Нелидов остался в своей крохотной комнатке с одним окном. Когда хозяин утром отнял ставню — открылся закуток неширокий перед чужой кирпичной стеной, замётанный грязным снегом, с фабричной сажей. И всё. В городе могли кипеть, перемещаться и кричать толпяные волны — здесь свисали с застрехи две сосульки, тоже уже грязные, не капало таяньем, не шевелился ветер, не залетал воробей,— ничто.

А Нелидов проснулся сегодня рано, ещё в темноте,— и сразу потерял сон, в отдохнувшей голове зароилось, зароилось: что происходит? И почему он сам не действует? И что за положенье у него — пленного? интернированного? раненого? дезертира? Ни одна категория не подходила, ни на что не было похоже.

Снова и снова его прожигало вчерашнее. Не опасность погибнуть — но от русских солдат! И после такой сцены — как оставаться офицером? И в чём смысл погонов? И всей армии? Армия разваливается, даже если не исполнено одно приказание,— а если солдаты убивают офицера?

Если б он был здоров — он конечно бы тут не улежал, он помчался бы в батальон глухой ночью, когда толп нет, где-то бы прорвался или отстреливался. Но он — пригвождён был своей онемевшей ногой, он и четверть воина не был.

День кажется был солнечный, но в этом закутке за окном не проявлялся. И теснота убогой чужой квартиры, как будто не в двух верстах от казармы, а где-то в другом городе, и говорить не с кем, никого своего, и бездействие,— такая тоска обняла Нелидова, не представить, как этот день протянуть.

Кроме кровати, комода, грубо обделанного мягкого кресла и простого стула, тут и мебели не было, не помещалась. На подоконнике малого окна, разделённого переплётом ещё вчетверо и без форточки, стоял горшочек с геранью. В углу висела небольшая тёмная икона Божьей Матери, под простым дешёвым окладом. А на комоде поверх белой кружевной дорожки стоял перекидной календарь на двух плитах, календарь-то насажен Семнадцатого года, а всё устройство — к трёхсотлетию дома Романовых: на левой плите изображён был Михаил Фёдорович, а на правой — нынешний Государь.

Вот и всё в комнатке, и книги ни одной. Да и не читалось бы.

Никогда Нелидов в тюрьме не сидел, но за этот день испытал тюремное: почти повернуться негде и смотреть не на что. И лежать тошно, и сидеть тошно. И в душе жжёт. Может быть, тогда тюрьма особенно и тяжела, когда сам себя держишь?

И даже не от тишины могильной была тоска, нет,— а от того, что за тонкой стеной всё время напевала квартирантка хозяев, молоденькая швейка. Когда работала машиной, то замолкала, и только слышалось постукиванье. Но как работа у неё была без машины — так тут же и напевала. Иногда песни простые, это ничего. Но то и дело запевала что-то революционное — Нелидов и песен таких не знал, но нельзя не догадаться.

Пыльной дорогой телега несётся,
В ней по бокам два жандарма сидят.
Сбейте оковы,
Дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить!

И как привяжется к такому мотиву. А бодро напевала, с настроением. При малом оконце в кирпичный закуток — этот денёк, видно, светлый праздник был у неё, и упорхнула б она на улицу, если б не срочная работа, так добирала пеньем.

Этот весёлый голос и слова бунтовские через стенку — добавляли тоски.

Но и тем она не удоволилась — а стала оббегать и в комнатёнку к капитану.

— Ну как, капитан,— называла она его развязно.— Кончились старые времена?

И льняной локонок спадал на незамысловатое глуповатое личико.

Сперва Нелидов понял так, что она издевается, и что она может сейчас побежать и привести сюда толпу на расправу. (Не боялся, как-то стало всё равно.) Но нет, она ему зла не желала, и не издевалась вовсе — это она хотела общей радостью поделиться, и удивлялась его бесчувствию. Растаращивала глазёнки и рассматривала как диво, да странно и выглядели его золотые погоны в этой убогой квартирке.

— А это что у вас? — дотрагивалась до синего косого креста на груди, Андреевского гвардейского.— А что это за буквочки тут, не наши?

На концах креста стояли: SAPR — то есть Sanctus Andreas Patronus Russiae,— а кто это знал латынь? для кого писали, правда?

— Святой Андрей, покровитель России.

— А кто это тут на коне?

— Георгий Победоносец.

— А почему?

— А это герб Москвы.

— А почему Москвы?

— А потому что наш полк стал Московским за Бородинскую битву. Перед самой наполеоновской войной император Александр Павлович построил наш полк из Преображенского батальона, но сперва он назывался Литовский.

Швея взвизгнула радостно, как что-то поняла, убежала — и тут же вернулась с большим фасонным бантом из ярко-красной бязи:

— А вот вам, дайте я приколю.

Он в кресле сидел, недвижный, а она совалась приколоть бант рядом с Андреевским крестом, и хихикала.

Нелидов отводил, отводил её руку и всячески объяснял, что нельзя, что не может.

Красный бант был ему как жаба.

Швея обижалась, убегала за стенку — и снова весело пела:

А что силой отнято́ —
Силой выручим мы то!

И снова, как ни в чём не бывало, впархивала и пыталась прикалывать капитану бант, глупенькая что ли.

И кто ей это всё в голову вложил?

Надрывала тоску, по нервам пилила. Старался не слушать её пения.

Потом кончила шить — и ушла прочь, облегчила.

Когда становился у комода — смотрел на календарь. Рассматривал темноватое озабоченное лицо Государя.

У Михаила Фёдоровича были, конечно, свои заботы, но всё это отодвигалось в картинку историческим боярским костюмом. А Николай Александрович совсем как живой выступал из календаря.

И подумал Нелидов: он, всего лишь капитан, и то опустился в эту комнату чудом, странно сияли его погоны здесь. А Государь — был естественно, запросто вхож в каждый убогий дом. Вот был он свой и этому старому рабочему.

Почему-то же дал он прибежище офицеру. Рабочий и в рабочем районе перехоронял его!

А что ж? Рабочие — они серьёзные люди. Нелидов вспомнил, как в начале войны перед погрузкой с Варшавского вокзала отпускал своих мобилизованных питерских рабочих ещё раз попрощаться с семьями — и все до одного вернулись в срок. „Нешто не понимаем? — братьев сербов идём защищать от германца''. Они и воевали отлично. Они — верные люди, но вот дали их растравить.

Часы тянулись, часы тянулись, такая тоска, будто и себя потерял, и всю жизнь потерял, и никогда уже ничто не вернётся. Уже хотелось любого худшего, только прорвать бездействие и плен. Не мог капитан Нелидов так закисать! В батальоне он хоть объяснениями помог бы порядку.

К концу дня вернулся Агафангел Диомидович — и сразу пришёл к гостю. Ещё вчера в привратницкой он явился такой чужой, из другого мира,— а сейчас, вот сел на кровать, в тёмной суконной косоворотке, простоватая стрижка его, грубые волосы, большие залысины и укоренелая твёрдость, не поддающаяся возрасту и годам труда,— смотрел Нелидов на него с уважением и уже деля с ним общую часть. Как разгорожены и разделены сыновья одного и того же народа. Отчего?

Агафангел Диомидович исходил весь город, и Литейный, и Невский, и дальше, всё смотрел. Бушуют. Властей никаких не осталось во всём Питере. Хоть грабь кого хочешь. Пожары, расправы, беспорядочная глупая стрельба, шальными тоже убивают.

И никакая радость от виденного не освещала его.

— Ох, неладно будет.— И подумав.— Ох, настрадается народ.— И подумав.— Чего делают, никто не разумеет.

А как, с чего это началось? — хотел понять Нелидов.

— Поди не забастуй,— говорил хозяин.— Так выбьют гайкой глаз, мы сами их боимся. Их — кучка, а всем верховодят. Кто дерзок, тот и верх берёт, это завсегда. Ишь, чего удумали — всякую власть прогнали. Будто без властей жить можно.

Как же Нелидову выбраться?

Сказал хозяин: и думать нечего, разорвут в клочки. Сегодня ещё ярей народ, чем вчера, крови отпробовал. И казармы Московского уже всё равно сдались. А вот другие казармы, при конце Сампсоньевского, те отстреливаются. (Самокатный, сообразил Нелидов.)

Но не может же их батальон перестать существовать, и значит — не может там не быть офицеров. И — нужно Нелидову туда.

Ладно, вечером после обеда послал хозяин соседского мальчишку — поискать в Московском батальоне старшего и шепнуть.

Поздно мальчишка вернулся: капитан Яковлев велел капитану Нелидову с утра прибыть в казармы.

— Ладно,— смекал Агафангел Диомидович.— Есть у меня тут ломовик знакомый. Запряжёт да отвезёт вас с утра потемну. А я вас в свою шубу укутаю до казарм.

206

Ещё по пути на Петербургскую, пока ехали, Пешехонов раздумывал, в каком же помещении устроить ему комиссариат. Это должно быть просторное помещение, с лёгким входом и выходом (он уже предвидел скопление как в Таврическом),— и в самом центре Петербургской стороны. И выбрал он кинематограф „Элит'' — рядом с квартирой своей, на той самой площади, где с Каменноостровским пересекаются Большой проспект и Архиерейская ули-

ца — там, где вчера вечером в новизне возбуждения он в толпе встречал первые революционные автомобили.

Но сегодня этих автомобилей уже столько и по столько раз пронеслось по стольким улицам столицы, что вслед за восторгами стали они вызывать у жителей недоумение и даже раздражение. И когда автомобили нового комиссара подъехали к „Элиту'' (он оказался заперт, ещё дворника искать и слать за владельцем),— увидели они, что Каменноостровский дальше вперёд к островам запружен такими автомобилями, утыкались один в другой и так стояли со всей своей празднично-революционной публикой. Прохожие сказали Пешехонову, что там впереди кто-то не пускает и проверяет.

Это понравилось Алексею Васильичу — и вот было сразу первое применение его военному отряду, пока всё равно делать нечего. Он подозвал прапорщика Ленартовича и сказал ему:

— Голубчик, пойдите со своим отрядом вперёд туда и помогите этому славному делу. Ведь со вчерашнего дня любая компания приходит к любому владельцу, требует ключ от гаража и шофёра, якобы для революционных надобностей,— и отправляется кататься по городу. Ещё и барышень с собой прихватывают, очень приятное занятие. Ну, куда, в самом деле, они сгрудились, все на острова — что там делать? Так вот — помогите силой. Надо проверять у каждого удостоверение, и у кого нет настоящего права — тут же ссаживать и автомобиль отбирать. Именем комиссара Петербургской стороны. Кстати, и у нас появятся лишние автомобили.

Хотя это задание не шло вровень со вчерашней задачей взять Мариинский дворец и с сегодняшней возможностью атаковать Инженерный замок, но тоже в нём был большой революционный смысл, который Саше понравился. И он тут же звонко позвал свой десяток солдат, выстроил его в две колонны в затылок, винтовки на ремень,— и повёл за собой, иногда громко командуя своим, иногда командуя впереди разойтись. За все годы своего пренебрежения военными командами и строем он брал насладительный реванш именно сейчас — когда все вокруг стали строем пренебрегать, ходить врассыпную, даже расстёгнутыми, и таскать винтовки как лишние палки.

И с изумлением Саша заметил, какую силу имеет военная дисциплина против распущенности: тут были сотни солдат, на Каменноостровском, в этом заторе и на тротуарах, а Ленартович вёл всего десяток,— но им давали дорогу и смотрели с уважением. А когда они дошли до переда, то их появленье сразу изменило всё положение: там был какой-то настойчивый штатский с красной повязкой на рукаве (потом оказался с удостоверением Военной комиссии останавливать и отбирать бездельные машины), и был подпор публики, раздражённых автомобилями, среди них и отдельные солдаты, может быть из зависти,— но у автомобилистов численность была больше, глотки сильней, и было что терять, они и матюгались сильней и размахивали кулаками и штыками и, наверно бы, вот-вот-вот прорвали, если б не отряд Ленартовича. Он же, быстро оценя обстановку, ввёл свой отряд в самую гущу, в линию перед первым задержанным автомобилем, звонко скомандовал своей второй колонне выйти в продолжение первой (команды он точно не помнил, но солдаты поняли его), повернуться, взять ружья на изготовку — и так образовать цепь от сугроба до сугроба.

И хотя их было всего одиннадцать, но решительность офицера и безусловная подчинённость невзбунтованных солдат сразу оказали действие: кулаки убрались, штыки отвелись, забияки снизили голоса, стали пятиться, сперва сами, потом и с автомобилями, ругаться уже друг на друга, но не так легко было разманеврироваться и разъехаться этой шумной и трусливой ватаге. А Ленартович с тем штатским спешили проверять документы, ссаживать гуляющих, а шофёрам вручать клочки бумаги — „в распоряжение Военной комиссии'', „в распоряжение комиссара Петербургской стороны''.

Тем временем Пешехонов дождался хозяина кинематографа. Это был бельгийский еврей. Достаточно второй день видя петроградскую обстановку, он уже хорошо понял, что много не поспоришь, а тут действовали именем Совета рабочих депутатов,— и бельгиец без уговоров согласился бесплатно предоставить комиссару свой кинематограф, на произвольное число дней,

добавляя, что он, как гражданин свободной и дружественной страны, рад послужить, чем может, делу русской свободы.

Итак, группа комиссара вошла в пустое помещение и за первым же столом устроила совещание, как ей действовать. По сути — всё в распаде и брожении, и они тут — единственная власть, ближе Таврического нет другой власти. В кинематографе есть телефон — это хорошо.

Очевидно, надо было разделить направления работы и каждому стать начальником отдела. Эпизод на Каменноостровском подсказывал создать автомобильный отдел, недостатки продовольствия — продовольственный отдел. Кто-то будет делать объявления населению — значит, отдел публикаций. (Его захватил социал-демократ, смекнув, что можно будет вести агитацию.) Итак, все начальники отделов будут называться товарищами комиссара и носить на шапках кокарду из красной материи.

Достать письменных принадлежностей? Все лавки закрыты. Однако увидав автомобили возле кинематографа, уже заходили любопытствующие — и скоро были доставлены чернильницы, перья, карандаши, бумага. Какие-то дамы соорудили из красных лент кокарды, накололи и Пешехонову на каракулевую шапку. Одна дама сбегала домой, притащила простыню, и, палочкой обмакивая в чернила, стали крупными буквами выводить: К о м и с с а р и а т.

А Пешехонов сел писать объявление, что он, комиссар Петербургской стороны, имеет задачу водворить здесь свободу и народную власть, и аресты и обыски могут производиться только по его письменному распоряжению.

Тут откуда ни возьмись подъехал броневик — попросить у автомобилистов бензина. Объявили броневик мобилизованным для революции и назначили посылать его против грабежей.

207

Великий князь Павел Александрович, младший сын Александра II, с двумя детьми от греческой принцессы, рано овдовел — а через 10 лет после того пожелал жениться на замужней Ольге Пистолькорс, вследствие чего тогда же был устранён Государем от командования гвардейским корпусом, даже лишён личного имущества (так строго — чтоб удержать от недостойного брака его племянника Кирилла),— и вынужден был выехать за границу, детей же его, Дмитрия и Марию, взялась опекать царственная чета. Разрешено ему было вернуться в Россию лишь с войною, рвался в гвардию, но Государь медлил с назначением, а когда Павел вновь получил гвардейский корпус, то стал болеть — и был переведен в положение генерал-инспектора гвардии, уже не связанного с её дислокацией на фронте, жил в Царском Селе, где вместе со своею супругой, теперь продвинутой в „княгиню Палей'', устроил и свой дворец, с богатыми коллекциями искусства.

Императрица Александра Фёдоровна, перезнакомясь, перебравши и постепенно отвергнув всю многолюдную династическую семью, кроме государева брата Миши, которому благоприятствовала (не без надежды восстановить отношения со свекровью), и бесхарактерного воспитанника Дмитрия, теперь запутавшегося в убийстве Божьего Человека,— в сердце всегда делала исключение ещё для Павла, выделяла его из династии. После смерти своих братьев он был старшим в роде. Его нейтральность в семейных конфликтах вызывала уважение всей династической семьи, отчего, правда, фамильный совет и поручал ему выступать перед Государем с ходатайством об изменении политики, уступках думской банде, увольнении Штюрмера и Протопопова. Но сам Павел при этом никогда не интриговал, был искренен, не помнил зла, не обижался за своё семейное неравенство, был лоялен Государю, ничего не искал для себя, а честно хотел только служить России. И если отчасти иногда вмешивался, то в пользу двуличного Рузского, то прямо против влияния Друга императорской четы,— то это уравновешивалось его постоянным противостоянием Николаше, всегда за Государя, да и к Другу он не выказывал прямого недоброжелательства, а его льстивая супруга, надоедавшая своими выражениями преданности в надушенных письмах, выпрашивала прощение у императора также отчасти и через Друга. Среди великих князей даже было обвинение Павла в принад-

лежности к партии Григория. Когда Павел год назад сильно болел, испытал разлитие желчи, потерю веса, ему грозила смертельная операция,— государыня жалела его и для посещения больного даже переступала не вполне достойный порог дома княгини Палей.

После вспышки первого гнева, теперь-то стало ясно, что Павел никак не ответственен за действия своего сына Дмитрия — даже не больше, чем сама царская чета отвечала за него как за своего воспитанника. И несправедливо было приписать Павлу ответственность также и за другую соучастницу — падчерицу Марианну, ненавистницу Друга. (А ещё Марианна распространяла по Петрограду слух, что Государыня спаивает Государя. Не было меры всем клеветам, изрекаемым в двух столицах.)

Перед сегодняшними обстоятельствами отступали второстепенные обиды.

Шестидесятилетний Павел, с прирождённым достоинством вида, вошёл в гостиную. Он был строен, высок, импозантен, даже обворожителен,— молодой красивый старик под седыми волосами, в стильных высоких английских сапогах, ещё стройнящих его длинные тонкие ноги.

За прошлое — царица запретила себе держать зло. Но за сегодняшнее — не могла встретить его иначе, как сурово. Генерал-инспектор гвардии, военный человек — что же смотрел он, когда его гвардейские батальоны бунтовали в Петрограде и даже были в смятении уже здешние, в Царском Селе? Который уже день мятеж — и что ж он предпринял? Выезжал ли он к войскам?

Сели за круглым столиком в её бледнолиловом кабинете. В вазочке держались совсем засохшие цветы.

В лице Павла выражалась и общая романовская породистость и личная порядочность, и даже мужественная готовность, и он волновался перед императрицей, хотя пытался это скрыть. Но ничего разумного не мог ответить.

Что, к сожалению, генерал Чебыкин, командующий петроградской гвардией, оказался в Кисловодске. Что это вообще не гвардия — то, что сейчас в Петрограде.

Это ясно было, что не гвардия. В начале февраля Государь приказывал перевести в Петроград из Особой армии две кавалерийских дивизии — но командующий Округом отказался найти им место в Петрограде или даже в окрестностях. Да и Государь не настаивал, чувствительный к тому, чтобы армия не обижалась на гвардию. Тогда и перевели Гвардейский экипаж в Царское Село.

Но и явно было, что Павел плохо понимал, что и где происходит в городе. Государыня спрашивала его о подробностях, а он ответить не мог — он все эти дни просидел со своей женой в своём дворце! (А княгиня Палей сумела и двух своих сыновей выпросить с фронта в тыл...)

Ах, сколько раз сама царица смотрела гвардейские парады! Каким несокрушимым оплотом виделись эти все герои! — и куда ж они все подевались в грозную минуту?

— Так почему же нет у вас настоящих полков?! — воскликнула она в отчаянии.

— Не распорядился Государь...

Необъяснимо: по какой случайности, недоговорённости, среди пятисот важных государственных обстоятельств — упустили, не довели до решения это пятьсот первое? И сама она упустила настоять.

— Так почему не вызвать гвардию сейчас?!

— Ваше Величество, это не в моих правах. Как генерал-инспектор я заведую только хозяйственной частью гвардии.

Да, вот, он носил великолепный гвардейский мундир, и состоял на службе, и был отроду военный человек,— а которые сутки спокойно оставался в Царском Селе?

— Так езжайте на фронт! Так передайте им и привезите сюда преданные полки! — властно восклицала государыня. Она ждала мужской поддержки — но Павел сидел благородно-опечаленный, и мужская сторона опять оставалась за нею.

Павел ответил, что было бы непростительным своеволием ему ехать на фронт за войсками, для этого есть Ставка.

Но на лице его выражался стыд — и бессилия, и непонимания событий, да может быть и слабости возраста.

И государыня, позвавшая его с импульсом прощения, сейчас опять испытала укол обиды. И сказала величаво:

— Если бы императорская фамилия поддерживала Государя, вместо того чтобы давать ему дурные советы,— то э т о г о бы не произошло!

Павел выпрямился, сидя, и отчётливей проступила породистость его благородного лица:

— Ни Государь, ни вы не имеете оснований сомневаться в моей преданности и честности. Но время ли вспоминать старые размолвки? Сейчас надо добиться скорейшего возвращения Государя.

— Государь — возвратится завтра утром,— холодно ответила Александра Фёдоровна.

— Так я встречу его на вокзале! — с пылкой готовностью воскликнул Павел.

Это правда, он обожал Государя. Это правда, он был лоялен.

И только.

Ещё и суетливость была за ним.

Его можно было и не вызывать.

Отпустила.

Но — на кого же ей опереться?

Ведь все покинули, и никто даже не телефонирует.

Настроение во дворце падало. Волновалась свита, волновалась прислуга.

Как дождаться завтрашнего утра!

Пришёл доктор Деревенко из лазарета, рассказал, что по Царскому бродят без строя растрёпанные солдаты, фуражки на затылок, руки в карманы,— и хохочут. (Да несколько казаков могли бы их разогнать!) Но офицеры жмутся или прячутся. А все железные дороги захвачены революционерами.

И непонятно, как приедет Государь.

Но тут доставили от него телеграмму.

Из Вязьмы.

„...Надеюсь, вы спокойны. Много войск послано с фронта...''

Ну, слава Богу, выручка идёт! Переждать несколько часов.

Дворец был сильно защищён постами и патрулями.

А погода над Царским была изумительная: лучезарное солнце, голубое небо, безмятежный снег.

В такую погоду не может совершиться злодеяние, Бог не допустит.

208

Межрайонцы — оказалась самая боевая, деловая, напористая партия изо всех социалистических. Она возникла шесть лет назад как протест, что честолюбивые вожди в несколько раз раскололи, развалили нелегальную социал-демократическую партию. Возникла — как „3-я фракция'', „объединенка'', объединить партию снизу, принимать в себя желающих и большевиков и меньшевиков, кто признаёт нелегальные формы работы, отметать только ликвидаторов. Признать все решения партии до 1910 года — и отсюда повести к будущему съезду. Конечно, межрайонцев сейчас же и упрекали, что они только углубляют партийный раскол. Конечно, им пришлось яростно бороться за районы города с другими фракциями, особенно с большевиками, перехватывать у них, при их арестах, рабочие массы. Межрайонцы не гнались за звучным названием, ни за многотысячностью рядов (было их всего человек 150, хотя в плане имели стать всероссийской организацией), не имели даже своего ЦК, но зато — великие задачи. Для того, чтобы делать большие дела — и не нужна многолюдная партия, а — энергичная. Всё заводили свои журналы, с ними обрывалось, хотели перекупить „Современник'' у Суханова, деньги были, но он не отдал, хотя симпатизировал. Очень укрепились, когда в партию вошёл Карахан, с его помощью искали связей с эмигрантскими вождями, с особенной симпатией отнёсся к ним Троцкий, и он, и Мануильский, и Дридзо-Лозовский, и Антонов-Овсеенко присылали для их журнала корреспонден-

ции, да лопнул журнал. И в Копенгагене их поддерживали, уже в войну.

Вся организация межрайонцев была надёжно пропитана революционно-интернационалистическим духом, и от начала войны их лозунг сразу был — борьба с оборончеством, „долой войну'' — без „долой войну'' задушат в империализме,— а затем и „превратим империалистическую в гражданскую''. Так что получалось даже, что в лозунгах у них с большевиками и противоречий особых нет — но не хотели поддаться их расслабленному Петербургскому комитету и призрачному швейцарскому ЦК. Вместе с большевиками боролись и против главных врагов — гвоздёвцев, предателей рабочего класса, и в этой борьбе блокировались и с Инициативкой на интернациональной почве, последние месяцы и с эсерами-интернационалистами,— но со всеми ими неслиянно.

Так что когда Матвей Рысс этой осенью перешёл от большевиков к межрайонцам — он не испытал никакой измены лозунгам, а только была эта организация побоевей (хоть и про большевиков не скажешь, что растяпы). Правда, во главе её Кротовский-Юренев никак не был светило, даже совсем слабая голова, и суетлив, но хорош был общий энтузиазм и деловитость межрайонцев, хорошо поставлено типографское дело, много листовок, умели забастовки устраивать и деньги для них находить. Да как раз в те дни и большая группа студентов-психоневрологов повалила к межрайонцам, друзья Матвея: „вдохнём неврологический дух!''. Все они обожали рабочий класс.

Девиз межрайонцев был: качай, качай — когда-нибудь и раскачается. Одной из главных задач они считали — вести пропаганду в армии, и проникали в разные части, расквартированные в Петрограде, а с Кронштадтом имели постоянную хорошую связь.

В институте на лекциях Матвей не густо бывал, как и его приятели,— да институт был частный, руководство либеральное и зажмуривалось, чем там студенты на самом деле заняты. От месяца к месяцу этой зимы всё больше овладевало Матвеем нетерпение действовать. Эта внутренняя страсть-нетерпячка изжигала его изнутри, и была бы в Петрограде партия ещё боевей — он перескочил бы туда. Этой зимой Матвей вошёл в такое состояние, что ненавидел всякую обычную жизнь, всякий кусок обычной жизни воспринимал как примиренчество с треклятым режимом. Он дошёл до такой неистовой грани, что если не возникнет народного движения, то он должен сделать что-то сам или с ближайшими друзьями — хотя индивидуальный террор считал занятием бесперспективным, не это он имел в виду, он сам не знал что. Но такие тяжёлые общие тучи разочарования и озлобления нависали над столицей, и такая например всеобщая радость от убийства Распутина,— всё это не могло пройти бесследно, он надеялся на что-то крупное!

А пока писал, писал листовки, вкладывая в них всю страсть: „Пируют во время чумы народного бедствия!'' — „Ваша смерть нужна буржуазии для увеличения её прибылей!'' — „Стройным хором отвечают нам лакеи буржуазии...''. И единственные, кто выпустили листовку к „женскому Первому Мая'' — к 23 февраля,— были межрайонцы, и именно Матвей накатал её: „Сама царица торгует народной кровью и распродаёт Россию по кусочкам'', „долой преступное правительство и всю шайку грабителей и убийц!''.

Большевики притрушивали и советовали женщинам 23-го февраля с работы не уходить, меньшевиков тех и вовсе не слышно никогда, а межрайонцы — звали женщин на забастовку,— и неплохая получилась (удачно прицепили хлебный вопрос) — и Нюта Иткина в тот день с успехом выступала на женском митинге в Народном доме Паниной. Да с того-то дня всё и покатилось! — и работа агитационной группы при межрайонном комитете стала уже вовсе лихорадочной. 26-го выпустили ещё две листовки — одну к рабочим, одну к солдатам, правда не к восстанию.

Все дни февральских волнений Матвей Рысс носился — и не столько по поручениям Кротовского, который изрядно сдрейфил и не верил в успех движения, и предлагал умерить пыл рабочих,— сколько по собственной инициативе: то снимал рабочих на забастовку, то сколачивал демонстрацию, то из толпы на тротуаре, как бы из городской публики, кричал оскорбления полицейским, бросал в них камни, а один раз и сам выстрелил из маленького

карманного револьвера. Попеременно с другими молодыми межрайонцами выступал и с речами (он говорил почти так же легко, как писал) с постамента Александра II на Знаменской, и с парапета у Казанского собора, а когда разгоняли — бежал в толпе, и было весело. Он выкрикивал всё те же лозунги: дайте хлеба! дайте мира! долой войну! долой правительственную шайку! долой царя! — и всё же до воскресенья вечера никак не думал, что дело разовьётся, а только понимал как раскачку для будущего. А когда узнал о волнении павловцев — кинулся проникнуть в их казарму, но уже она была оцеплена войсками.

И к волынцам тоже посылали листовки в казармы, и какие-то волынские унтеры пару раз приходили на пропагандные занятия, но никакого особенного внимания им, кажется, никто не уделял,— и то, что они выступили и повлекли за собою других — это был просто подарок судьбы.

26-го вечером Матвей допоздна ещё писал и отправлял в типографию новую листовку — ко всеобщей стачке протеста, „царь накормил свинцом поднявшихся на борьбу голодных людей''. И так выдохся за все эти дни, что утром 27-го как раз и заспался на отцовской квартире, на Старо-Невском. Никто его не разбудил, он почти полдня и проспал, пока уже начали очень сильно стрелять, и поблизости. Очнулся, умылся и, едва позавтракав, побежал в события. А события-то раскатались ого-го! И он из первых разгадал буржуазных подсыльных, зовущих революционную толпу повернуть с приветствиями к Государственной Думе. Ещё чего! Безо всякой связи в этот час со своей партией отлично понял Мотя Рысс всё коварство этого приёма: не-е-ет! уж сметать будем одним ударом вместе — и царское самодержавие и Государственную Думу!

И он кричал до надрыву, спорил — и две больших группы отговорил, повернул от Думы прочь.

А тут сгустилась перестрелка с правительственным отрядом на Литейном, и Матвей поспешил туда, как раз при неудачной автомобильной атаке революционеров. Правительственный отряд крепко держался много часов под командой высокого полковника с чёрной бородкой, много раз в него стреляли, да всё промахивались. По ту сторону командовал полковник, а по эту — никто отдельно, и всё зависело — кто на каком участке что сообразит. Матвей так понимал, что военный перевес всё равно у отряда, поскольку у них единое командование. А у нас перевес в агитации, и агитацией мы их сломим, каждого, кто с винтовкой против нас стоит,— надо кричать-агитировать. И своего горла он не жалел, и других призывал, были и другие студенты,— и каждый довод и каждая насмешка ослабляли солдатские сердца в строю. (А межрайонцы кое-кто собрались днём на квартире Глезарова, и посылали его и Крошинского в Волынский полк, и написали новую листовку, присоединились и эсеры: ко всеобщему восстанию и созданию рабочего правительства! Но и смелей сделали: пошли и без сопротивления захватили типографию „Нового времени''.)

Через несколько часов, к темноте, пересилили тот отряд на Литейном, он сломался и спрятался в здании Красного Креста. Теперь надо было довести победу до конца и выгнать их оттуда, а главное — схватить и перед всеми на улице расстрелять этого зубра-полковника. Повстанцами — никто не командовал, командовал всякий, кто хотел, а слушался тоже только кто хотел, потому и разброд получался. Но всё же, после выхода оттуда солдат, обложили этот дом с нескольких сторон на всю ночь, установили посты и дежурства — и новым подходящим Матвей объяснял, какой тут зверь сидит, которого надо выловить. Сам он на несколько часов уходил поспать, и опять пришёл к утру. Кто ночью дежурил — уверяли, что никак ускользнуть не мог. Но когда утром собрали силы и вошли в дом с обыском — оружия много нашли, а полковника не оказалось. Значит, ускользнул, переоделся. Жаль.

Так почти за одной этой осадой на Литейном и провёл Матвей едва не всю революцию, ехали мимо автомобили, автомобили с рёвом и флагами,— он их как не замечал. Полезнее стоять на посту и делать своё дело.

А вот досада, что упустили!

После этого отправился он сегодня на явочную квартиру в Свечной переу-

лок — уже теперь расконспирированную — спросить Кротовского, что ему надо делать. Он слышал, что студенты создают городскую милицию, но и сам понимал, что это вздор, в буржуазных руках. Кротовский, хотя и шёл в Таврический на заседание совета депутатов, но жался: не рано ли создали Совет? только поставим себя под удар. А Рыссу сказал:

— Товарищ Рысс! Поведение ваше было правильным. Главная задача вырисовывается: борьба с офицерством и особенно с активным. Мы можем углубить и продолжить революцию, только если подорвём офицерство. А иначе у нас не останется солдатской массы, она опять подчинится им. Поэтому надо срочно дать — сильную листовку против офицерства, так чтоб им выбивали зубы и кололи штыками. Такая листовка — сейчас всего важней. Займитесь, вы лучше всех пишете.

Это было и лестно, и правда. И хотя жалко было даже на несколько часов оторваться от живого вихря революции, но чтоб он вертелся ещё огненней — надо было посидеть над листовкой.

Квартира на Свечном была тесная, да приходили-уходили для связи — Матвей пошёл домой, на Старо-Невский. Отец его был присяжный поверенный, квартира была из многих комнат, и родители давно привыкли к самостоятельной жизни сына, не вторгались, не мешали.

Уже по пути он чувствовал, что — сочиняет, что в нём поднимается то яркое чувство, которое нужно для листовки.

Особенно — для её вступительной части. В каждой листовке должна быть вступительная часть, которая сдирает кожу с нервов у читателей — и после этого они уже более восприимчивы к лозунгу. И главный талант — написать вот эту вступительную часть, вот это умеет — редко кто, а самый-то лозунг поставит любой партийный комитет.

Начать так: Товарищи Солдаты! (и Солдаты — с большой буквы). Свершилось!!! Восстали вы, подъяремные... Даже сам вздрогнул от этого замечательного слова — подъяремные, закабалённые, крестьяне и рабочие восстали! — и с треском и с позором рухнуло самодержавное правительство!

Хорошо, прямо как разрыв снаряда! Остановился и в записную книжку записал, а то забудешь, пока дойдёшь. Поправил кашне, забрался к шее мороз, пошёл дальше.

Ну, конечно, шайка слуг царского самодержавия — это тоже не упустить. Но поскольку солдаты — большей частью крестьяне, надо развивать крестьянскую тематику. А крестьянская мечта известна: чтобы было где пасти корову и курицу. Итак: в то время, как казна и монастыри (антиклерикальная струя всегда должна присутствовать) захватывали землю, в то время, как паны-дворяне с жиру бесились, высасывая народную кровь,— многомиллионное крестьянство пухло от голода: курицы некуда выгнать обезземеленному мужику! Эта курица, от Толстого, очень тут пришлась: так пронзительно, жалостно звучит. Записал. Длинная фраза, пальцы тоже мёрзли.

В увлечении он шёл, не замечая уличного. В нём совершалось важней.

„Паны-дворяне" надо ещё раз повторить, это будет наилучший подход к офицерской теме: Солдаты! Будьте настороже, чтобы паны-дворяне не обманули народ! Лисий хвост нам страшнее волчьего зуба...

Ах, хорошо станут и хвост, и зуб!

И надо будет уже ударить по цензовым: но до сих пор вы не слышали ни от Родзянки, ни от Милюкова ни одного слова о том, будет ли отнята земля у помещиков и передана народу. Надежда плохая!.. Вот эта „надежда плохая" — очень простонародно звучит и берёт за сердце.

Горничная сказала Матвею в прихожей, что восстановился телефон и с тех пор два раза звонила ему Вероника.

— Ладно,— ответил он. Велел подать обед ему в комнату и пошёл работать.

209

Молодые офицеры-самокатчики находились в состоянии паралича соображения: им крикнуто было, что их расстреляют, и это не вызывало у них

сомнения: при обстоятельствах, как взяли их, при всей слышанной ярости толпы. И первые минуты они ехали в грузовике, мало оглядываясь и не соображая, что делается вокруг: это уже не касалось их жизни, революция или не революция, это уже был другой, остающийся мир.

Тот их спаситель, амурский казак, с ними не поехал, а везли их матросы и студенты. И матросы спорили, что нечего того прапорщика слушать, нечего везти их в Государственную Думу, а хлопнуть тут, на пустырях Выборгской стороны. А студенты возражали, что должен быть справедливый революционный суд.

И действительно, везли их совсем не в центр, а улицами окраинными, меж пустырей. Значит, брало мнение расстрелять.

А привезли — в Политехнический институт, здесь завели в комнату с наружным часовым. Пришли курсистки-медички и подпоручику Левитскому перевязали раненый бок. Всё-таки перед расстрелом это не делается. Ещё через час курсистки же принесли поесть. Над едой очнулись: ведь не ели 36 часов. Приободрились. Стали думать, что и никуда больше не повезут.

Но ещё через час пришли несколько студентов с винтовками — а матросов уже не было. Студенты держались сумрачно, на вопросы не отвечали, посадили их в грузовик — и опять повезли.

Конечно, это была настоящая охрана, но мысль о побеге как-то не поднялась, устали, ещё гудело в ушах от утренней стрельбы.

Шофёр гнал совсем по-сумасшедшему, иногда резко тормозя. Стали появляться костры, заставы, многие люди — с флагами, штыками, пеньем, кричали „ура" — и преобразившиеся студенты отвечали им криками.

У самого Таврического было полное столпотворение: стояли орудия, автомобили, горели костры, играли оркестры, толпились солдаты, произносились речи.

Как не радовала эта чужая радость. Даже как особенно горько умирать при всеобщем ликовании.

В самый дворец долго не могли их ввести: разгружались два грузовика — один с мясными тушами, другой — с несгораемыми кассами, и всё это таскали внутрь дворца штатские и солдаты.

А тут из толпы, видя арестованных офицеров, угрожающе кричали, и легко могли смять неопытный студенческий конвой. Уж хотелось, чтоб ввели скорей внутрь.

Ввели. Пробивались через толпу, мимо наваленных штабелей ящиков, по видимости оружейных, мимо столов, за которыми сидели барышни при брошюрах.

А дальше — под сильной охраной рабочих-красноповязочников стояла группа офицеров-самокатчиков, из Сампсоньевских казарм. Одни были сильно избиты, другие — в солдатских шинелях, видимо переодевались, чтобы скрыться.

Пока толклись, стесняемые людскими течениями, перебросились с ними несколькими фразами. Узнали, что Балкашин убит, и ещё 8 офицеров и много самокатчиков. Те тоже сказали, что есть приказ Родзянки — их расстрелять.

Упали сердца, угроза не пустая. Боже, как тоскливо!

Теснились дальше. Вошли в огромный зал со многими колоннами, студенты растерялись, куда их дальше вести.

И вдруг увидели и узнали сразу — и конвоируемые, и конвоиры — по газетным портретам: Милюков! Шёл, тоже пробивался, мимо.

Его твёрдо-круглому лицу, усам и очкам обрадовались как родному. И в один голос воскликнули два подпоручика:

— Павел Николаич!

Остановился.

— Правда, что нас расстреляют??!

— За что? Кто вы такие?

— Офицеры самокатного батальона...

Покачал, покачал головою с седоватым зачёсом набок:

— Господа, господа! Как же так? Почему же вы так упорно сопротивлялись новой власти? Пролили столько крови! Все части гарнизона сразу признали новую власть, а вы...

— Да Павел Николаевич! — с надеждой и радостью возражали самокатчики, просто уже полюбили его за эту минуту.— Мы же не знали, что тут делается — в центре, в Думе. Откуда мы знали? Сообщение всякое было прервано. А мы — военные люди, мы на службе... Как же мы можем сдаваться неизвестным лицам?

— Так ведь мы же к вам посылали депутатов Думы объяснить обстановку.

— Никаких депутатов мы не видели!

— Не может быть. Я выясню, может не дошли? Во всяком случае, расстреливать вас никто не собирается, кто это вам сказал?

— Тут наши товарищи стоят под конвоем, говорят: приказ Родзянки.

— Да ну, что за чушь. Где стоят?

— Вон! Что ж нам теперь делать, Павел Николаевич?

— Если вы даёте слово, что не выступите с оружием против новой власти, то вы, господа, свободны.

— Ну конечно, не выступим! Ну конечно, даём!.. Спасибо, Павел Николаевич!.. Так отпустите и наших товарищей.

— Хорошо, сейчас посмотрю. А вы получите охранные пропуска у коменданта дворца.

Вместе с подружневшими студентами пошли искать коменданта. Долго искали. Это оказался в терской казачьей форме, с лихим заносчивым видом депутат Думы Караулов. Он подписал им пропуска.

Однако куда же деваться? Казармы все разбиты. Появляться там нельзя — всё равно расстреляют.

Но теперь студенты пригласили их в Политехнический институт:

— Будете обучать нас военной службе.

210

Прошлую ночь Андозерская плохо спала, всё вламывалось в сон кошмарами, выпирающими углами. А утром рано к ней прибежала Ниночка Кауль — и с блистающими глазами, в возбуждённом, лихорадочном состоянии жаловалась, что мама не пускает её поехать в Ставку, к Государю!

— Да зачем же, Ниночка?

— Его никто не защищает! Ему надо помочь!!

— Да у него же там конвой, все войска, да что ты!

— Нет! Ему надо помочь! Я так чувствую!

— Да чем ты ему поможешь?

— Не знаю, там увижу! Я чувствую, что он в ужасном состоянии! И — никто не защищает его! Пусть сядет на белую лошадь и въедет, как его прадед!

— Да откуда ты взяла? Да он — в центре своих военных сил! Он — и въедет!

— Ах, нет! — металась Нина, и из причёски её под узел беспомощно подевичьи выбивались всегда плохо держащиеся пряди, завернулся манжет рукава.— Нет, я уверена, что он ничего не знает!

— Да как же он может не знать? На это теперь есть телеграф.

— Ах нет, наверно не знает! Здешнего ужаса! А почему ж ничего не... ? Ему, наверно, плохо докладывают!

Её стремило, чуть не по воздуху: она там нужна! вот она поедет! — и прорвётся к царю! И — убедит! Но — для этого прежде надо убедить маму! А это может сделать только Ольда Орестовна одна!

Девятнадцатилетняя Нина окончила Смольнинский Александровский институт для детей средних офицеров, совсем не знать, и была теперь медичкой-курсисткой. Ольда Орестовна хорошо знала всю семью. Отец Нины, подполковник, был убит в прошлом году на войне, брат уже на фронте, Нина осталась вдвоём с матерью.

Как будто что вселилось в неё, дающее силу неежедневную. Она уже сейчас тут, наперёд, высказывала, как выскажет Государю, что бунтует только

чернь, и надо скорей применить крутую власть! И прямо сейчас утром Нина бы выехала, к вечеру была бы в Могилёве. Курсы прекратились, все зовут помогать революции — вот бы и она! Но мама...

Ольда Орестовна была отзывно и укорно тронута. А — что же? а — да?.. А разве не так проповедывала и она: слаб по рождению? — усилим его нашей верностью?.. Но она брала Нину за руки и удерживала её, усаживала за стол, вливала чаю. Девушка была в таком взлёте, что не могло бы опустить её просто „нет" — надо было постепенно представить ей все трудности и невозможности.

Она же — видела этих распущенных солдат? Они же, наверное, и на вокзалах, они и в поездах,— как же можно ехать одинокой барышне, обидят! И — разные патрули будут её задерживать. И — в самом Могилёве. Но даже если доедет благополучно — кто же пустит её в Ставку? А к самому Государю — и никак не пустят! Почему можно надеяться, что он её выслушает? Так не бывает.

У Нины было к Государю почти личное. Когда-то отец её, кончая петергофскую стрелковую школу, представлялся царю. Там их была сотня офицеров, а за годы тысячи таких представлялись. Но вот в войну брат Нины, ещё тогда кадетик, разгружал раненых на псковском вокзале, подошёл царский поезд, Государь спросил фамилию и сразу: „А твой отец кончал петергофскую школу в таком-то году? Будь как твой отец". И мальчик заплакал. А сестра верила теперь, что и её узнает.

Ольда Орестовна сдвигала, сдвигала горы препятствий вокруг девушки — та гасла, никла. И заплакала, уронила голову на стол.

Убрела разбитая, мёртвая.

Жалко было Нину — но и презренно жалко саму себя. Что сама она, имея больше сил и ума, тоже не может ничего сделать. Что эти три дня? Только разговаривала со знакомыми по телефону да сокрушалась. Увлечь курсисток по пути и чувствам Нины? — не только было невозможно, а, позорно сказать: Ольда Орестовна боялась своих курсисток, собранных вместе, в массе, почти как этих развязных уличных солдат. На своём-то университетском месте она меньше всего могла и сделать. Да Бестужевские курсы и рассыпались вчера.

Стала сегодня звонить Маклакову. В самом центре вихря и с его проницательным взглядом, он должен вернее всех понимать ситуацию. С четвёртого раза нашла — не дома, не в Думе, а в министерстве юстиции. Устал, торопится, неловко и задерживать.

— Василий Алексеевич, но есть ли надежда, что вы удержите движение в руках?

— Стараемся. Надеемся. Поручиться, однако, нельзя.

Если и о н и не удерживают...

Да что ж за заклятое такое положение, когда никто — ни понимающий, ни сильный — никак не может отвратить роковой ход? Вот это она, стихия, самое неизученное в истории.

Силы порядка вне Петрограда — огромны, несравнимы со взбунтованным городом. Но уважая загадку стихии, но уже помня мгновенные параличи Девятьсот Пятого года — можно реально опасаться, что и силы порядка ничего не сумеют? Шестой день волнений, второй день настоящей революции — а что же Государь?

И это — при войне! При — войне!!

На Петербургской стороне вчера ничего не случалось, лишь вечером прорвало сюда. Сегодня же — разлилось. И Андозерская выходила по Каменноостровскому, сворачивала и на Большой.

Великие события, больно не вмещаясь в отдельное человеческое сознание, чаще всего, вероятно, и кажутся отвратительны.

Поражала даже не мгновенная распущенность солдат, но, при тысячах красных клочков, всеобщий слитно-радостный вид. В этой внезапно достигнутой всеобщности чудилась бесповоротность.

Хотя — как могла бы свершиться бесповоротность? Куда же в два дня могла бы деться вся сила вековой державы?

Стояла на краю тротуара, глядя на беснование разнузданных машин,— рядом высокая сухая дама с беличьей муфтой сказала тихо, как бы для себя, но и для соседки:

— Умирает Россия...

Отдалась в глаза и слёзная горечь её.

Андозерская поддержала её твёрдо за локоть:

— Dum spiro, spero. Пока живу — надеюсь.

Но — сражена была её словом. Уходя прочь с этих улиц, где осуждающий вид, и без красного банта, были особенно заметны, горячо перекатывала в голове: крайне выражено. И — неверно! Но и — очень верно.

Действовать надо всегда до последнего. Но и: действовать терпеливо и неуклонно надо было гораздо-гораздо раньше, в эпохи мирные.

Дано было нам — триста лет.

И дано было нам — последних двенадцать лет.

И, значит, мы упустили их.

И наши сановники. И наши писатели. И наши епископы.

А уж сегодня — и вовсе их нет никого.

И что в этом безумии могла сделать Ольда Орестовна? Унизительно сидеть дома и узнавать по телефону о новостях.

К вечеру, однако, революция сама пришла в квартиру к Андозерской. Раздался одновременно резкий дверной звонок и резкий стук, значит в несколько рук. И едва горничная открыла, как, не спрашивая, а скорее толкая дверь, вошли несколько: два солдата, вооружённый рабочий — но и прапорщик, совсем с не зверским, открытым лицом, и даже весьма хорош собой.

Вошли — и дальше шли — и Ольда Орестовна вынуждена была поспешить, чтобы преградить им дорогу в комнаты. Все, конечно, были с красными бантами, и прапорщик тоже. И не снимали шапок.

— Чем я обязана? — спросила Андозерская ледяно, она и одета была не по-домашнему, а строго.— Почему вы входите без разрешения?

Все они были выше неё ростом — да кто не выше! — и настолько грубо сильней и уже в движении, даже странно, что она могла их задержать. Прапорщик с чуть закинутой головой спросил:

— Это не из вашей квартиры стреляли? Мы должны обыскать.

— Вы не имеете права,— с холодным возмущением совсем тихо сказала Андозерская.

— Революция не спрашивает права! — звонко ответил прапорщик, упоённый собой, своими обязанностями и звуком голоса.— Она его берёт. Из этого дома очевидно стреляли, и мы должны найти виновника. У вас прячется кто-нибудь?

Её холод и гнев не производили впечатления, оттенков её выражений как и не слышали. Уже обтекали её или оттесняли, пошли в гостиную, в столовую. Уже были сумерки, сами поворачивали выключатели, кто умел.

Андозерская не воскликнула пустого — „как вы смеете?'', она уже видела, что сила их, а захотелось ей как-нибудь ударить этого заносчивого прапорщика, он единственный ещё стоял перед ней, и она спросила его снизу вверх, с презрением:

— Как же вы, офицер, и перешли на сторону бунтовщиков?

Нисколько это не ударило его, он даже с победной весёлостью ответил:

— Не бунтовщиков, а народа, мадам! Моё офицерское положение как раз и обязывает меня — помочь народу, а не быть с его давителями.

Но лицо у него было умное, и стоило ещё сказать ему:

— Давители, гасители — в истории этим слишком много бросались. Не будьте чрезмерно уверены, не пришлось бы вам когда-нибудь пожалеть об этих днях.

Стоило сказать, но его молодые уши ничего этого не слышали.

Прошли с ним кабинет. Прапорщик среди выставленных игрушек, безделушек, картин кажется серьёзно искал чего-то крупного — спрятанного человека или винтовки. И когда она заступила ему дверь в спальню, он сказал непреклонно:

— Разрешите. Я должен.

С отвращением впустила его.

И тут он тоже искал человека или винтовки, но не открывал шкафа и не заглядывал под кровать. А увидел на стене фотографический портрет Георгия в форме, который Ольда этой зимой увеличила с карточки.

— О! Этого полковника я знаю! — сказал.

— Не можете вы знать! — осадила Андозерская.

— Нет знаю! — веселовато настаивал прапорщик. Он очень легко держался, будто не вломился в дом, а был приглашён как гость.— Его фамилия — Воротынцев?

Андозерская обомлела. И почувствовала, что краснеет. Она презирала этого прапорщика, а он как будто застал её тут с Георгием — и странно, что ей стало как-то приятно.

— Это ваш муж? Вот встреча!

Дерзкий враг, но причастностью к Георгию стал как будто знакомый. И такое счастливое чувство, что назвал его мужем, не ожидала сама.

— Откуда вы его... ? — новым тоном спросила.— У него служили?

— Он — вывел нас, группу, из окружения в Восточной Пруссии. А где он сейчас?

— Вы много хотите знать,— потвердела она.

— Да нет, я что ж...— легко взмахнул он рукой.— Я только: если он будет противостоять революции и нам опять придётся с ним встретиться...

Вернулись в гостиную, где столпились обыскивающие.

— Ничего?

— Ничего.

— Пошли в следующую. До свиданья, мадам, извините.

Ушли.

Горничная кинулась ещё проверять. Как она с них глаз ни спускала, в столовой хотели серебро смахнуть в карман. Стала смотреть и Ольда Орестовна и обнаружила: в кабинете на столике пустой наклонный деревянный футлярчик — а часики с брелком исчезли из него.

Наверное и ещё что-нибудь.

Нюра бросилась догонять их в соседнюю квартиру.

„А где он сейчас?..”

Так поспешно, обрывисто уехал. Так плохо кончилось в этот приезд.

Продолжение следует

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

211

С утра неизбежно было Протопопову освобождать место спасения, уходить из канцелярии государственного контроля. Швейцар принёс ему чаю с чёрным хлебом и гудел, что как бы его тут не нашли. Собирались служащие, потом пришёл и сам Феодосьев, спаситель, с напряжённым умным лицом. Он рассказал, что в городе полный хаос, война-не война, ничего понять нельзя, но и власти нет. Поздно вечером мятежники ворвались в Мариинский дворец и беспрепятственно громили его. А вчера к концу дня арестован Щегловитов, Александр Дмитрич не знает? и так и не отпущен, а посажен в Таврическом под замок.

Боже мой, лучше бы не рассказывал! И так уж отмерло всё, не было сил двигаться и думать, даже для своего спасения, готов был Алексан Дмитрич тут же распростереться и умереть, всё легче,— но ещё эта разящая новость: они арестовывают! И — кого же? Самых ненавистных обществу и было их два, Щегловитов и Протопопов, и вот уже один взят. А *его* ищут, конечно, по всему городу — и через этот город он вынужден будет идти сейчас!

А остаться... ещё на сутки тут — никак не возможно?..

Боже, как всё мировое строение способно рушиться в какие-нибудь часы! Вчера он начинал утро всемогущим министром внутренних дел — а сегодня ловимым преступником, который ёжится в шубе, подняв воротник. (А не так и холодно, заметят, почему поднял.)

Куда идти — одно он мог придумать: к брату. И там у него перекрыться или дальше ещё куда-нибудь. Но брат живёт — на Калашниковской набережной, надо пройти боком центр — а не избежать пересечь Невский.

Но переходить Невский абсолютно немыслимо — его не могут не узнать! Там-то его и схватят. А схватят — вряд ли оставят в живых.

Только сейчас он понял, что сделал ошибку вчера, в слабости: именно вчера в темноте и надо было пробираться к брату. Уже теперь он был бы надёжно спрятан или вместе думали бы, как вырваться из города вовсе. А сейчас при полном свете он шёл одинокий и на верное растерзание.

Каждый нерв был напряжён. Каждую минуту он ждал — даже не что крикнут „Протопопов!'', а что сразу схватят, просто вцепятся, как собака в бок. В тепле шубы он трясся мелкой непрерывной дрожью. И потел.

Всё-таки, с угасающим сознанием, он имел способность обдумать: Невского не пересекать ни в коем случае! Взять далеко дальше за Московский вокзал и как-нибудь где-нибудь пройти просто по железнодорожным путям и так переспотыкаться в Александро-Невскую часть. Может быть, там заборы, искать калитку, обратит внимание — но простых людей, они его не узнают, и уж там-то нет революционной толпы.

Вот истинный страх, вот самое страшное в мире — разъярённая толпа, которая тебя хватает!

Он будет выбирать только тихие маленькие улицы — но всё равно не избежать пересекать большие, и это самое опасное, где тысячи взглядов.

Первую надо было пересекать Гороховую. Чуть подальше от градоначальства, он пересёк её у канала, сразу и канал.

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 6—8.

Тут, на набережной канала, он увидел навстречу другого странного господина в шубе, невысокого, с воротником, поднятым чрезмерно. И покосясь глазами, узнал министра торговли и промышленности Шаховского.

Прямо глазами они не встретились, узнал ли тот Протопопова, может быть заметил ещё раньше? — но разминулись, не обратив друг на друга внимания.

Ай-ай, царские министры пешком по улицам шмыгают друг мимо друга, не замечая,— это что? Революция?

Но не было и желания разговаривать с кем-нибудь из совета министров: предатели, и не хотел он их знать. Он будет просить Государя и государыню о других коллегах впредь.

Мелькнуло: так если б он принял в своё время торговлю-промышленность, как предполагал,— всё равно бы сейчас прятался!

Он избрал самую простолюдскую дорогу, куда не то что министр, но и чиновник порядочного ранга не забредёт,— мимо Мучного рынка, так перейти Садовую, а потом мимо Апраксина. Конечно, шуба его здесь выделяется очень.

По Садовой проехал грозный бронированный автомобиль.

Когда умоляешь небо, чтобы тебя не узнали, то как-то стараешься и сам не смотреть, будто всё дело во встрече глаз. И поэтому Протопопов мало что видел, он не оглядывался и не всматривался. Но на рынках кажется и торговали, везли и несли продукты так же, как и обычно, и очереди за хлебом стояли, кажется, а была и какая-то странная оживлённая возня, то ли растаскивали лавку, очень разнородное несли и поспешно, и возбуждённо толковали.

Но, ах! До того ли было Алексан Дмитричу, чтобы вникать! Он только спешил пронести нерастерзанным своё уязвимое тело. Там и сям, на каких-то улицах, но не рядом, время от времени стреляли. Но даже от выстрелов не так вздрагивал Протопопов: если пуля попадёт — так и пусть, это не страшно, страшно, чтобы не схватили. Пока шло всё благополучно, никто его не задевал, но нужно было не ошибиться дальше. Думал взять левей, но сообразил, что это получится Чернышёв переулок, Чернышёв мост — прямо-таки мимо собственного министерства! Вот бы угодил! Вот уж где растерзали бы!

Перешёл Фонтанку на Лештуков переулок, опять благополучно. Слава Богу. До сих пор не встречалось революционных шаек — но навстречу от Загородного проспекта неслось что-то бурное, многошумное,— а надо было его переходить! По спокойному Лештукову шаг замедлил, глаза поднял, смотрел вполную, остановясь перед углом.

Проспект был переполнен. На тротуарах, да и на мостовой, всё запружая, стояли и смотрели, как на праздничную процессию,— а пробирались в сторону центра несколько открытых грузовых автомобилей, на каждом торчали красные флаги, держали их и в руках, помахивая толпе. В каждом кузове было избыточно полно солдат и штатских, и солдаты трясли винтовками и кланялись толпе — а толпа непрерывно кричала „ура", и многие снимали шапки.

Не то что воротники у всех были отложены и руки разбросаны — но они ещё снимали шапки. Уж как наверно виден был нахохленный задвинутый господин! — очень опасный момент. Спасало то, что стоял он в переулке, позади всех. А как автомобили прошли, и весь проспект залился весёлым праздничным народом,— так Протопопов отложил воротник и решительно двинулся в толпу, тоже стараясь весело улыбаться.

Это его и спасло, наверно,— улыбка, а она у него исполнена шарма, кого не покоряла,— его видели, ему тоже улыбались, и кто-то поощрительно что-то крикнул, и тогда Протопопов приложил руку приветственно к шапке, как бы передавая радость, едва не сняв шапку и сам. Напряжённый струной, а сам улыбаясь, он прошёл это жуткое море веселья, а когда, уже на той стороне, вдвинулся в тихую улицу — почувствовал, как вспотел и бесконечно ослаб. Он уже вступал в привокзальный район, уже много было пройдено, но ещё больше оставалось, и неизвестно, сколько опасностей,— а силы отказали. Нет, он должен был где-то отдохнуть, придти в себя от напряжения.

И тут счастливо вспомнил, не отказала же голова: рядом, на Ямской улице, жил портной, у которого он когда-то, ещё просто думцем, шил несколько раз.

Отчего не зайти к портному? Портной не знает, что он заклятый министр внутренних дел, но знает, что богатый исправный заказчик.

Да! отдохнуть! Он не помнил номера, но зрительно помнил и дом, и подъезд, и как дальше. И по мрачной петербургской лестнице поднимаясь, вспомнил даже имя: Иван Фёдорович.

Звонок был — дёрнуть толстую проволоку, а там отзывался колокольчик. Сам Иван Фёдорович и открыл, неизменный: в домашней куртке, сантиметр через шею, за ухом мелок, и повреждены губы, от чего улыбка неровная.

Сразу узнал, память, и даже по отчеству — Алексан Дмитрич, и кинулся помогать шубу снимать. Подумал, значит,— с заказом. Мелькнуло у Протопопова — сделать заказ? Но не было душевных сил на игру, он почти рухался. И честно сказал портному с надеждой, как хватаясь за плечи его:

— Дорогой Иван Фёдорович! Мне худо. Мне надо посидеть, отдохнуть, приютите меня на часок.

Промелькнуло по несимметричному лицу, но ничего не переменил Иван Фёдорович, а так же готовно вёл и усаживал и, догадываясь, бранил бездельников, бунтарей — стреляют, лавки грабят и всю жизнь остановили.

Надо было отвечать, и даже отвечал, хороший человек, ни тени робости от посетителя, великая душа в теле простолюдина! Насколько он ближе к Богу и правде, чем мы. И жена его подошла толстая: попить? покушать? О, бескорыстное радушие, о, простонародная теплота, но хотя ничего Протопопов не ел сегодня — ничего и не мог, всё отбило, а больше всего хотелось не говорить и чтоб не смотрели, а голову обронить в руки, повиснуть на своих костях и как-нибудь отдохнуть, сил набраться.

А они считали, что надо его разговором развлекать и всё говорили невпопад, теперь про полицию что-то невозможное: будто полицейские имеют пулемёты и стреляют с крыш; будто они переодеты в солдат; будто городовые осаждены в „Астории''...Они не догадывались, как верно ему говорить: ведь образованные все против полиции. Он ещё слышал бессвязно, тоска брала от этого вздора, но не шевельнулся возражать.

Не мог он сказать — не разговаривайте со мной, но, видно, очень плохо выглядел, и жена догадалась: не хочет ли он в спаленке прилечь? да не вызвать ли доктора? На доктора и руками замахал, а прилечь — если разрешите. А если...?

И решил им открыться. Вот, дал им адрес брата. Нельзя ли послать кого узнать: как там, у брата? Безопасно ли?

Повели его в спаленку. Две никелированные кровати под белыми покрывалами, всё окно заставлено цветами, две иконы в углу, лесная картина. Большой серый кот тут спал, его потревожили. И, сняв только ботинки, в изнеможении страдательном уже ложился Алексан Дмитрич поверх покрывала, головой на взбитый столбик подушек.

Так всё горело в нём, что отняло слух: кажется, иногда доносились выстрелы, и что-то говорили между собой хозяева,— но Алексан Дмитрич не внимал, всего этого как не было. Не один слух, отнимались у него и руки, и ноги, он не отдыхал, и не во вчерашней вечерней радости от безопасности, а почти умирал.

Заснул сперва, очень крепко, парализованный. Потом не выплыл из забытья, но — как вышвырнуло его наружу, сразу осветилось сознание — и безнадёжностью. Представилось ему собственное крушение, и министров, и арест Щегловитова, и взбунтованный Петроград, солдаты, броневики,— ещё всё, конечно, исправят здоровые части с фронта, но сколько дней до того и как дотянуть? Ведь он и сейчас должен вставать и идти, не мог же он теперь остаться у портного ночевать, жить до общего вызволения? (А хорошо бы...) Спасение было бы — вовсе вырваться из Петрограда, но разве можно появиться на каком-нибудь вокзале, да что там, наверно, сейчас творится, ад революционный.

Вшаркал портной, ввёл племянника. Бегал он к брату Александра Дмитрича, ответ: к нему нельзя, ждут сами обыска.

И ещё изнеможённей, бессильней откинулся Протопопов на подушках.

Да, он полностью в *их* руках. Думской головки. Своих бывших приятелей. Сам ли он — не думская головка? Что он наделал, как мог он покинуть их?

Ради чего? Мишура министерской дутой должности, вот дунули — и в сутки её нет. А Дума — стоит, победительница! А он — не оттуда? А он — чей же был 10 лет член? Он там был 10 лет — а здесь всего 5 месяцев, разве это перевешивает? Он был такой почётный видный думец, лицо общественности, что его допускали на тайные заседания кривошеинского кружка на Аптекарском острове. Он знал все интриги! В Прогрессивном блоке — не он ли был из лидеров? Да что там, да на сколько раньше — да Освободительного Движения не он ли был участник? Да как же он мог пренебречь этим славным прошлым — и ради какой жалкой иллюзии? Да кем бы он был сейчас в Таврическом дворце! — это к нему бы и приводили арестованных, кого-нибудь там. О, какая жестокая, неисправимая ошибка! А теперь — он в их руках, и с ним разделаются безжалостней, чем с кем бы то ни было!

Его всё больше лихорадило, он заворачивал на себя покрывало, чтоб угреться, одной подушкой пригрел между лопатками, ах, шубу сейчас сюда бы, но повешена в прихожей и неудобно выйти взять. Да десять шуб навалить, такой внутренний холод,— о, как он попался, о, можно ли жесточе,— и какая чрезмерная будет расплата! Если б он всю жизнь был в правительственных кругах — другое дело, совсем и не обидно,— но так непоправимо оступиться!

И что его несло, зач м он так дерзко, ещё нарочито задирал Думу? — чтоб их разозлить, сам распространяя слухи, что всё сделает без Думы, и землю раздаст крестьянам без Думы, и еврейское равноправие без Думы, и сам же хвастался, что это именно он арестовал рабочую группу, хвастался, что подавит любую революцию безжалостно,— а зачем хвастался? А потому что — его самого раззлобили, это они довели его до крайности, зачем они так травили его? Разве нельзя было его назначение принять по-хорошему? ведь в первые минуты даже поздравляли!

Я хвастался, да, но ведь я никогда не наносил вам решительного удара, признайте.

Да, я делал ошибку за ошибкой! Но и вы, мои товарищи, делали ошибки по отношению ко мне! И моё незлобивое сердце не надо было так сразу добивать — оттого в нём и родились дурные чувства! А что я оберёг Александра Иваныча при аресте рабочей группы, не дал арестовать и его — этого вы мне в заслугу не ставите? А что портрет Александра Иваныча с его трогательной надписью висел в моём кабинете до самого дня назначения в министры — этого вы мне уже не зачитываете? Конечно, теперь об этом уже никто не вспомнит. Конечно, теперь все будут правы, а только я один виноват больше всех. Я чувствовал это с первого дня! Но господа, но друзья, но товарищи! — я просто заблудился в этом лабиринте! Я, конечно, вёл не ту политику, которую нужно было вести! Я совершил громадный промах и — поверьте, поверьте, Павел Николаич, это заставляет меня глубоко страдать! Я взял курс, который не подходил к настроению страны,— о, как я в этом каюсь сейчас, если бы вы знали! Да, я вёл себя исключительно вредно, я всё время эволюционировал не в ту сторону, куда нужно,— но вы же не считаете меня врагом Государственной Думы принципиально, вообще, как таковой? Ведь я же в а ш! я же ваш — плоть от плоти! Ведь вот, Михаил Владимирович на Новый год публично не подал мне руки — а чем я ответил? шуткой и забвением! Ах нет, я вижу, вы не вполне доверчиво ко мне относитесь, это меня сокрушает! Да, да, вы верно заметили — я хочу увильнуть? Я и сам это почувствовал, а вы каждый раз не давайте мне увильнуть. Что я пошёл в министерство — это была более чем ошибка,— это было несчастье! Несчастье всей моей жизни, теперь я вижу! Но в тот момент во мне играло честолюбие, оно бегало и прыгало — и я всё поступал непродуманно, несознательно! А роковая моя ошибка была — поверить, что надо сохранять тот режим до конца войны. Ведь я — не твёрдого характера, вы знаете, я сильно поддаюсь обстановке. Я попал в такую среду — и это моё несчастье. Меня окружали нездоровые люди. Неосторожность — моя отличительная черта, мне казалось — я подойду и не замараюсь. Я попал к Бадмаеву благодаря моей болезни. И там этот кружок. Я встречался с этими людьми — и всё ближе, ближе, первоначальные мои опасения притуплялись, притуплялась нравственная брезгливость. Сперва Распутин был мне неприятен, а потом я к нему привык. Ну, виделся раз пятнадцать, но

дружен с ним я быть не мог. Да, трудно отрицать, во время министерства я поддерживал правых — но, поверьте, всегда без восторга, это была для меня сделка с совестью! Мне совершенно несвойственно быть крайне-правым, это противоречит моему существу. Да, я в сердце своём всегда оставался радикалом, неужели вы этого не чувствовали?.. Да, я льстил и Маркову-Второму, о, какая низость, как мне это больно вспомнить! Да, я заискивал и перед князем Андрониковым, но я должен был обезоружить всякое вредное влияние... Распустить Думу? Не буду скрывать, в душе колебался, но никогда не пришёл к такому окончательному убеждению. Скажем так: моя вина, что я не голосовал против перерыва её работ. Да я никогда не считал, что можно править без Думы! Провокации? Клянусь, никогда ни за что не допустил бы! Просто всё переменилось от момента, как я стал министром,— меня стали так поносить, меня стали так уничтожать, но ведь я тоже человек! Эта слепая ненависть, которая ко мне повсюду родилась, особенно благодаря газетам, сплетни, клевета, устная и печатная, скопом и в одиночку... Я был раздавлен! Да неужели же ничего, кроме зла, я за всю жизнь не делал? Грех немалый и за Михаилом Владимировичем: почему, за что он оттолкнул меня, обидел, отогнал от фракции октябристов, от своих? Или вам передавали, что я в разных компаниях обещал, что спасу Русь православную и разделаюсь с революцией? если нужно — даже спровоцирую её выступление? Но это я для красного словца. Уверяю вас! Хвастался? Ну, если хотите — хвастался. Но этому не надо придавать значения. Ах, Фёдор Измайлович, но вы всегда меня загоните в угол, да разве я брался когда-нибудь против вас спорить? Вы знаете, я неспособен к связному изложению, я впадаю в область предположений, меняющих смысл всего происходящего. Я не знаю, верны ли мои предположения, но и не считаю себя вправе от вас скрывать. Я допускаю, что Штюрмер, Хвостов, Белецкий были немецкие шпионы. Тогда я этого не понимал, но теперь начинаю так понимать. Белецкого? Да, посещал, ах, вы меня поймали, после отставки,— мне было его жаль. Ну и — да, думал конечно, что он почти наверняка опять пойдёт вверх... Господа, я усердно прошу указывать мне, что я должен говорить, я опасаюсь промедлением возбудить ваше неудовольствие... Да, я чувствую страшную тяжесть того дела, которое я на себя принял. Но против режима, которому я взялся служить, я не совершил ничего. Денежных шашней? Никаких. Да неужели я грешнее всех? В чём мой грех? Против закона я не грешен, а против всей своей жизни грешен, ибо сам не понял себя, и меня не поняли. А в Думе было моё спасение! И был бы сохранён работник для родины и счастливый человек. А теперь-то я болен, измучен. Я сделался каким-то чудовищем. Но поверьте — я не имел злой воли, я могу присягнуть... Я не понимаю, откуда возникла эта ужасная атмосфера между нами... В жандармском мундире пришёл на бюджетную комиссию? — и это мне поставили в жестокий упрёк. Но, господа, я оттуда сразу ехал в Царское на представление, и у меня просто не оставалось времени переодеться. Ах, вот тогда на встрече с вами, на квартире Михал Вла... О, вы всё, вы всё припоминаете мне... Павел Николаич, какой вы нехороший, Анна Сергеевна добрее вас, она бы так не стала... Да, каюсь, каюсь, в те первые дни мне казалось это лестно, надеть мундир... Я сравнивал себя со Столыпиным? Ну что ж, не помню, но вполне допускаю. Ах, друзья мои, я сам за себя боюсь, но со мной иногда бывает, что я *соскакиваю*... У меня бывают странные фразы, вы замечали это немного во время нашей парламентской поездки... Но тогда вы относились ко мне дружелюбно. А вы — поверьте, что я предан нашим общим прежним идеалам! Да, истинные задачи Думы — отвоевать права у монархии, и это расширительное толкование я не смел попирать. В этом я — виноват, виноват. Но поверьте, мой замысел был: к концу войны добиться ответственного министерства... Правительство доверия была моя мечта — но что я мог сделать один в правительстве!.. Да, я вот на ваших глазах просто изумляюсь, до какой степени я всего не понимал, изо всех министров был настолько недальновиден... О, я всей душой чувствую ваше благожелательное ко мне отношение... О, разрешите мне идти в окопы рядовым! О, пошлите меня в заразные бараки санитаром, а если я уцелею — то после войны судите!..

Что ожидает меня? Неужели — вечное заточение?..

Боже Всесильный, спаси меня!

Бумаги? Все бумаги я отдал такому жандарму Павлу Савельеву, вы его легко найдёте... Потому что это был мой самый доверенный человек... Ключи от несгораемого шкафа? Они — в столе, а вот, извольте, ключ от стола... Да, я всё сказанное могу подписать. Да, охотно, если вы так желаете... А почему 13-е число? Сегодня — разве 13-е? Сегодня у нас — двадцать какое? Ах, по новому стилю?..

Прокололо его и подняло. Сидел на кровати очумело. По новому стилю! — как же он не догадался? Астролог, конечно, говорил по новому стилю. И самые опасные дни его — 14-е, 15-е и 16-е — начинались завтра!..

Значит, бесполезна борьба, выхода нет. Надо идти — и сдаться на их милость. Сдать тело — но разгрузить измученную душу.

Щегловитова арестовали — теперь пойдёт и он. Сам...

Но просить портного, и жену его, и племянника — сопровождать. Чтоб не растерзали по пути.

212

Не первый сам князь Львов назвал себя главою будущего русского правительства: его назвала, выдвинула, короновала общественность, более всего московская, но и всеземская, изумлённая волшебной деятельностью Земского Союза в эту войну. Гнёт всероссийской популярности был возложен на его плечи единодушным общественным восхищением, и, хотел князь Георгий Евгеньевич или не хотел,— он стал надеждой русского народа. Как и сам русский народ был путеводной надеждой князя.

Разгромна была японская война — а князь Львов воротился оттуда с приобретенной славой общеземского организатора. Возникал в иных губерниях голод — он только ещё прославлял организацию князя Львова. В годы реакции теснили его из земства или обвиняли, что многими годами он не представляет отчётов о расходовании казённых и частных сумм (поди собери их ото всех случаев! действительно, смешивались те и другие, отчёты запаздывали и были не вполне сбалансированы),— но ветер общественного одобрения поддерживал князя, и всё равно признавали все, что никто не умеет привлечь к благотворительности столько средств и так плодотворно их использовать. Его высший дар был — доставать деньги у государства, добывать их через визиты в *сферы*, его умение — тихие частные беседы, когда он обвораживал любого собеседника и получал от него пожертвования и уступки. Ещё его дар был — распределение добытых средств, организация предприятий. И князь хотел бы оставаться в этой практической сфере, но невольно попутно влек его и политический жребий, хотя скромный: был ли князь в реакционной роли земского начальника или в прогрессивной роли депутата бурных земских съездов 1904-05 годов, или даже депутата 1-й Государственной Думы,— он ни на одном заседании не произнёс ни единой публичной речи, или даже предвыборной (произносили за него другие). Когда намечалась в 1905 земская делегация к Государю — главой её предполагался всё тот же непременный князь Львов. А когда волей событий его затянуло в скандальный Выборг, то ото всей обстановки случилось с князем нервное потрясение, и рука его просто физически не поднялась подписать Воззвание, и его больным ввели в вагон. (И даже предполагался кадетский партийный суд над ним.) В московскую городскую думу князь был избран по фиктивному цензу (никогда не быв москвичом) и не знал городского хозяйства,— но простившие ему кадеты избрали его городским головой, и хотя правительство не утвердило избрания — уже чествовали князя на банкете в „Праге'',— и он, наконец, произнесил речь. Одновременно нельзя сказать, чтобы князь Львов был в опале у Государя: и в начале японской войны, и в начале этой он получал аудиенцию, и в этот раз был поцелован. (И ещё: тайно уклонился от царского ордена, чтоб не испортить себе общественного лица.) С 1914 у него в Земсоюзе бурно и широко полились дела, у него работали десятки тысяч людей,— а князь Львов только ездил в петербургские канцелярии добывать необходимый миллиард — и отдавал его на траты. И в эти последние годы от общественного

разгона князь чувствовал себя легко и удачливо. Он — спасал Действующую армию: он снабжал её, лечил, мыл в банях, стриг в парикмахерских, поил в чайных, там же и просвещал.

И так ощущал князь, что как бы весь трудолюбивый русский народ работает под его началом — и сам он возвысился в несомненного народного вождя. (И даже так предложил через лиц, влиятельных на Западе: чтобы союзники, если будут поставлять военные материалы, то ультимативно: только для использования Земгором.)

И возникло в обществе жадное желание окончательно затянуть князя Львова в политическую сферу. Вот уже больше года как во всех гостиных составлениях будущего русского ответственного правительства князя дружно вписывали на первое место премьера, вместо Родзянки. И эта почётная обречённость — стать во главе России, уже переделывала и самого князя из незаменимого дельца и деляги, как он себя считал,— в гиганта политической оппозиции. (Тут была и мало кому известная справедливость: что Георгий Евгеньевич происходил в 31-м колене от Рюрика.)

А с осени прошлого года это давление общественного избрания вынуждало его совершать наконец и резкие политические шаги. Да ведь и негодное поведение царского правительства — кого не могло вывести из себя! Князь Львов в ноябре уже прямо требовал от Прогрессивного блока принять меры к решительной переконструкции правительственной власти. В таком состоянии нетерпеливой накалённости окружающих он согласился дать поручение тифлисскому городскому голове произвести рекогносцировку у великого князя Николая Николаевича: как он смотрит на возможность государственного переворота? И с таким же вопросом посещал этой зимою в Крыму генерала Алексеева. Как мог на это князь согласиться? Но и как он мог не согласиться, если все видели в нём спасителя отечества? Как патриот может стерпеть открытую наглую подготовку сепаратного мира? Да тут же и тайны особенной не было, о государственном перевороте судачила вся Москва и весь Петроград. И все уверены были, что переворот близок, и все называли князя Львова будущим премьер-министром. Председатели губернских земских управ открыто выкликали князя Львова. И князь — не мог не признать и не поддаться народному решению. Он вынужден был нарушить свою всегдашнюю скромность. И — созвал неразрешённый съезд Земсоюза 9 декабря. И — подготовил первую в своей жизни публичную речь — да какую! — ничего подобного по гневу и резкости не произносили в Думе, тот же и Милюков. (Соперничество с Думой и разжигало Земсоюз.) От безгласия — и сразу напряжённую высшую ноту принимал князь Георгий Евгеньевич! Это было излияние — негодования, презрения и ненависти! Отечество — в опасности! смертельный час его бытия! Власть уже отделилась от жизни страны, от жизни народа и вся поглощена борьбой против народа, лишь бы сохранить своё личное благополучие. Злейшие враги России, для того они и готовят мир с Германией. Когда власть становится совершенно чуждой интересам народа — пришла пора принять ответственность за судьбы России на самих себя! Страна стоит перед государственным переворотом!

Все эти слова были подготовлены письменно, и может быть князь писал их даже в трансе: так властно он был понуждён обществом сделать этот шаг, что даже не успевал осознать размеров своей дерзости, не успевал изумиться собственной смелости. Его так торжественно влекло в общественном разгоне, что он утерял присущее каждому человеку ощущение телесной связанности, сопротивления предметов,— он шествовал к героической речи! Она должна была пройти через его мягкое горло, не привыкшее к выкрикам,— и он был готов!

Народ должен взять своё будущее в собственные руки — и неизбежная линия пролегала через князя.

Правда, съезд не удалось собрать, вместо речи князь занялся составлением протокола с полицейским приставом, а собрание утекло в другое место, и там другие произнесли свои речи,— но однако же князь несомненно был готов эту речь произнести публично. И она пошла по рукам читаться, как если бы была произнесена.

И только сегодня князь Львов впервые сам себе по-настоящему удивился. Вчера он был вызван — нет, *призван* — к своему священному посту телефоном из Петрограда в Москву. И из покойной ещё Москвы ему в самом лёгком состоянии удалось быстро сесть на поезд и нормально доехать до Петрограда, ещё весь поезд продолжая дивоваться и радоваться, как откликнулся великий народ на великий призыв, выявляя величавый образ своей душевной цельности. А на вокзале в Петрограде прежде всего не оказалось никаких носильщиков, ни извозчиков, но какие-то волны разнузданных солдат, иногда стрельба, перебегали какие-то шайки, лежал чей-то труп, оскорбляли офицеров,— и выручили князя только встречающие с автомобилем. Только так и удалось князю пронырнуть через взбуровленные бешеные улицы, переполненные несдержанным народом, неуправляемыми солдатскими толпами без офицеров, есть пьяные, оружие само стреляет, и несколько раз останавливали автомобиль, могла произойти смертельная расправа. Но — миновали, добрались и укрылись на покойной квартире барона Меллера-Закомельского, на Мойке, близ Мариинского дворца.

Здесь, в квартире, шла обычная, привычная для нас всех жизнь, со спальней для гостя, с ритуалом завтрака, обеда, но даже и этот покой был обманчив, могли и сюда ворваться с обыском вооружённые люди, хотя конечно их можно было умягчить человеческим объяснением.

Таких не было на земле людей, кого бы кроткий князь не мог бы умиротворить и расположить к себе в частном разговоре с глазу на глаз. Но — как бы он мог теперь вступить во взроенный обезумелый многотысячный Таврический дворец, о котором рассказывали ужасы? Или как бы он мог произносить речи перед этим нерегулярным собранием — гудящим, перевозбуждённым, машущим винтовками?

Это так было непохоже на святой трудолюбивый народ, получивший святую свободу!

Уже того, что повидал князь из автомобиля по пути на квартиру барона (а его хотели везти и прямо в Таврический, но он имел успех благоразумно уклонить их),— даже этих виденных уличных впечатлений было преизбыточно, чтобы теперь их перерабатывать. Вся уличная разнузданность хлестнула в лицо — и князь чувствовал себя как обожжённый, и должен был с душевными силами собраться.

А тут — приехал из Таврического за князем автомобиль! — уже сообщили туда о его приезде.

Нет, князь был слишком потрясён, чтобы ехать. Он просил передать своим думским доброжелателям, что сегодня очень устал, никак не может, но приедет непременно завтра.

Нет! — настойчив был посыльной,— там все ждут! нельзя откладывать, но — ехать сейчас же.

Нет! — взмолился князь. Ну, хотя бы по крайней мере до вечера. Вечером.

Князь таким разбитым себя чувствовал, что даже с бароном и его семьёй ему трудно было говорить, поддерживать бодрое выражение лица и бодрый голос. Он охотно ушёл в отведенную комнату, сел в покойное кресло — и обвис, и выпустил дух.

Как осадило князя Львова. Внутри себя, перед собою, искренно, он почувствовал, что управлять этим кипящим множеством — далеко свыше его способностей. Так блистательна была вся гражданская карьера князя — но теперь он увидел, что его влекло выше душевных сил, что не было в нём мощи для такого восхождения.

Но и признаться в том никому нельзя, поздно. Победоносный жизненный путь обязывал так же непоправимо — и никому из вызвавших его, избравших, назвавших, не мог он сознаться, что ощутил слабость, что тяжести этой ему не поднять.

Он обессиленно лежал в кресле, потеряв весь полёт последних лет. И возвращалось к нему — тоже когда-то привычное, теперь забытое, невыносимое сопротивление жизни, в котором Жоржинька жил всё детство, всю юность и молодые годы. Разорённое имение, на княжеском столе — чёрный хлеб да квашеная капуста. В ненавидимой гимназии звали его „цыцка'', учился он —

как воз на себе волок, туго, с раздражением, оставался на второй год, и не раз. Избрал юридический факультет за то, что он легче всех. И вытаскивали с братом хозяйство на клеверных семенах да на яблоках, и Москва в те годы знала ещё не самого Львова,— но „яблочную пастилу князя Львова" (из падали).

Десятилетиями жил он — и привык, что жить трудно, еле тянешь. И наведывался к оптинским старцам — не уйти ли ему в монахи: его благонравная скромная натура была к тому склонна.

А когда уже и начал государственную службу, совмещая её с левыми симпатиями (за что назван был „красным князем"), то узнал, каким ударом может прийтись общественное презрение: в 1892 году как непременный член губернского присутствия он вынужден был сопровождать губернатора в поездку с воинским отрядом: крестьяне не признавали решения судов и не давали в своей местности рубить леса. И на станции под Тулой губернские власти повстречали Льва Толстого — и великий писатель потом сотню гневных страниц написал о пособниках зла, имея в виду князя Георгия Евгеньевича, но, слава Богу, не назвав его по имени. А если бы назвал?.. Пропала бы вся карьера навеки.

Но сейчас — князь Львов уже был назван, признан, и скрыться и деться ему было некуда. Неизбежно идти в Таврический и принимать власть над Россией.

213

Во второй половине дня телефон в доме Мусина-Пушкина снова задействовал — и просили подойти полковника Кутепова.

Вот удивительно — кто и откуда узнал? Не проверяют ли враги? Но подошёл.

А оказалось: это узнал от сестёр всё тот же неуёмный поручик Макшеев, который вчера утром и впутал полковника во всю эту операцию. Теперь он звонил оттуда же, из собрания на Миллионной, что у них — необычайные события и глубокие нравственные переживания, и они хотели бы повидаться и посоветоваться с полковником.

— Повидаться не так просто. Скажите по телефону.

Замялся. Неопределёнными фразами выговорил, что речь идёт о признании новой власти.

И сомнения быть не могло. Кутепов ответил в трубку как продиктовал:

— Не позорьте имени Преображенского полка! Вы не имеете и права оперировать им, а каждый ваш шаг относят за счёт Преображенского. Довольно того позора, какой я видел сегодня в окно, когда ваш запасной батальон, а получается преображенцы, шёл в Думу. Но слава Богу, я не видел там офицеров.

— О, это требует особого рассказа...

Макшеев что-то мычал, куда делась его резвость. Что-то мычал — да кажется о том, что Государственная Дума — это парламент.

Кутепов отрубил:

— Такие же безответственные бунтовщики оказались, еще даже хуже простых рабочих.

— Александр Палыч! Да приезжайте к нам в собрание прямо сейчас, поговорим! Мы все вас очень ждём.

Поехать в собрание? Ему захотелось. Не куда-нибудь прятаться, а просто в своё собрание. Верно. И что ж в самом деле дальше сидеть в этом доме, если враждебные посты как будто сняты, а фронтовой черты в городе же нет.

Обсудили с хозяевами. А что если попытаться выехать в санитарном автомобиле? — но не переодеваясь и не ложась на койку раненого!

Надо было дождаться темноты, ещё часа два. Попасмурнело, пошёл крупный снег — и она приблизилась.

От Управления Красного Креста Северного фронта составили с печатью удостоверение, что полковник — начальник санитарной колонны. С темнотою подали санитарный автомобиль во двор, Кутепов сел между шофёром и врачом. Быстро выехали, погнали по Литейному проспекту.

Не так-то просто, останавливали почти на каждом квартале, и именно на Литейном эти остановки были опасны для опознавания. Но доктор всякий раз бойко говорил:

— Товарищи! Мы вызваны подобрать раненых в Павловское училище, там только что был бой! Не задерживайте нас, прошу!

И — пропускали. (Боя не было там — но слух.)

Свернули на Французскую набережную, ещё раза два остановили их перед Троицким мостом, всё добровольные бездельные патрули с грозным видом,— и вот уже нырнули в Миллионную, и подъехали к кирпичным казармам. И Кутепов входил в собрание.

Почти все офицеры были там, только без князя Аргутинского-Долгорукого, который уже окончательно заболел. И все были крайне расстроены, подавленный вид, и хотели начать разговор, но даже и не хотелось им рассказывать. Кутепов выслушивал как старший над ними, и принят был так, да и был же им — как помощник командира Преображенского полка. (На самом-то деле Кутепов был коренной армеец. Но на японской войне он столь отличился в 85-м Выборгском полку, что был переведен Государем в гвардию, случай редкий. И здесь ещё в Четырнадцатом был лишь командир роты, штабс-капитан, а за войну возвысился в полковника. Конечно, подпоручик Рауш-фон-Траубенберг, с кадетского возраста определённый в гвардию, и другие баловни происхождения, могли презирать Кутепова как гвардейца не коренного.) Ещё три и два дня назад, тут же, в вольных разговорах за завтраком, этих молодых офицеров коробило отсутствие свободолюбивых мыслей у Кутепова, его скованность долгом, какое б там правительство ни было. Но сегодня они пережили крушение своих надежд, и даже стыдно и трудно было им это рассказать, это вытягивалось понемногу из одного, другого. Как заснули они, окрылённые своей поддержкой Государственной Думы, так и проснулись, готовые к новым шагам. Но произошло нечто немыслимое: солдаты заперли их всех, как бы арестовали в собрании, а сами без них пошли в Государственную Думу!

Хотя сердца офицеров рвались именно туда! хотя вчера только цепь неудач помешала им утвердить именно власть Думы!

Не то чтоб это арест был настоящий: сохранилось оружие, и можно было выламывать двери или выскакивать в окна — но разве такое освобождение нужно было им? Слишком была глубока рана, унижение, нанесенное им солдатами. И так несколько часов они провели тут, сами между собой, в нелепом состоянии, и только один телефон оставался им в утешение, но и он как раз в те часы прекращал работу. (А когда возобновился, то уже созрела мысль искать Кутепова, чтоб он их выручил.)

Однако, входя сюда, Кутепов не заметил никаких признаков ареста.

Да, уже после того как Макшеев нашёл полковника в санитарном управлении — внезапно прибыло два автомобиля из Думы, во главе их прапорщик с письменным предписанием — всем офицерам Преображенского батальона в этих автомобилях явиться в Думу. И только по этому предписанию снят был солдатский арест — и так они поехали туда.

А там никакой особенной встречи не было, депутаты уже сбились от встреч, никто из главных не вышел, а второстепеный объяснил им, что весь вызов подстроили для их освобождения,— и спрашивал, как же они оказались в таком отчуждении от солдат? Вот это и было для них самое мучительное и неясное: как это произошло при их передовых взглядах, при том, что они всей душой и всё время были за народ? Они хотели быть с солдатами! — но солдаты не хотели быть с ними.

Теперь вполне открылось Кутепову, что это несчастье было, что его послали с отрядом на Литейный. А был бы он вчера с главными силами преображенцев и павловцев — он вчера же бы всю эту петроградскую заваруху и кончил, и во всяком случае не топтался бы на Дворцовой площади три-четыре часа без смысла. Да просто пошёл бы маршем и забрал Таврический.

(Ещё они не рассказали ему, как вечером звонили в Думу, объявляя о своей поддержке. И как потом ночью к нерасходившимся офицерам приехали из Думы депутаты Шидловский и Энгельгардт, и благодарили преображенцев, зачисляли их в силы Думы, и приказали с утра атаковать Адми-

ралтейство,— но, выслав разведку, они сочли Адмиралтейство слишком сильно укреплённым. И после этой восхитительной ночи проснулись арестованными...)

Но, вот, офицеры не скрывали: что они в смятении, что они запутались — и опасаются идти в собственные казармы к солдатам. И в незапертом собрании они оставались как в добровольном плену и просили теперь Кутепова помочь им наладить жизнь в батальоне. Как же им теперь жить с солдатами? Какое-то неудобное невероятное положение. А в других полках вчера и убивали.

А чтоб что-нибудь понять — для того и надо было идти прямо в казармы. Кутепов звал их с собой — капитан Приклонский! капитан Холодовский! капитан Скрипицын!

Да, они очень просят его пройтись по казармам, побеседовать с солдатами, внушить им порядок, исполнение долга. Но сами они... сами они предпочли бы... просто, так неудобно получилось, такое вывернутое состояние...

С удивлением смотрел Кутепов, какая пошла образованная рефлектирующая порода гвардейцев: к собственным солдатам в казармы им было идти боязно?

Он же сам — вчера был в бою, только что был гонимой добычей, но вот пронёсся через черту огня и уже по эту сторону естественно чувствовал себя в казармах своего полка. Мгновенная смена положений, такая типовая для фронтовой обстановки: то *они* крылом заходят, то *мы*.

Так никто не шёл? Хорошо, Кутепов пошёл сам, свободно и охотно, не испытывая никакого замешательства.

В первую же роту вступил — перед ним появился дежурный и отчётливо к месту докладывал и отвечал на все вопросы полковника, а все смирно стояли, застигнутые командой. И во втором помещении — то же самое. И в третьем. Всё-таки держалась дисциплина, ничего.

В нескольких местах громко о чём-то спорили, но при появлении полковника прекращали и становились смирно, как все.

Только двух солдат государевой роты обнаружил он выпившими. Но не попытался наказать, как бы не заметил.

И нигде никто не пытался Кутепова оскорбить.

Он просто не ожидал такого хорошего состояния батальона, когда уже во всём Петрограде... Хотя, конечно, чувствовалось напряжённое настроение. Но ничем ему не выдали.

Нет, надо было удивляться, как ещё держится батальон.

Воротясь в собрание, Кутепов передал облепившим его офицерам свои впечатления, подбодрил их (безнадёжно скользнув по уклончивому лицу Скрипицына). Посоветовал: завтра с утра идти в казармы как ни в чём не бывало,— и до обеда побольше занять солдат, увеличить число дневальных, а после обеда отпускать желающих в отпуск в город, но с соблюдением всех правил.

Тем временем был для Кутепова приготовлен автомобиль и пропуск, на котором стояла размашистая подпись председателя мятежной Государственной Думы (преображенцам дали в запас).

Два кадровых унтера, хорошо знающие полковника, сопровождали его в автомобиле на Васильевский — опять черезо всё это красное беснование, уже и на Васильевском острове озверенное.

Спросили:

— Что ж это будет, ваше высокоблагородие?

Что будет? — Кутепов охватить не мог, не знал.

Ответил:

— До конца оставаться преображенцами!

Меньше двух суток отсутствовал он из дома сестёр — а сколько произошло.

214

У члена Государственного Совета Карпова, жившего на Дворцовой набережной, ужинал адмирал в отставке Типольт. Хотя второй день бушевала

в Петрограде революция, но квартиры Карпова ещё ничто, слава Богу, не тронуло, и ужин был как ужин, отягощённый только известиями, отчасти мрачными, отчасти поразительными, так что ум не охватывал их. И даже из Государственного Совета был арестован Председатель, впрочем это понятно, он известный реакционер, и даже из членов один — Ширинский-Шихматов, тоже понятно, он известен своими правыми убеждениями. Присутствующим здесь такой ужас не грозил, но не могли же они быть равнодушны к судьбе отечества, и обсуждали разные слухи и сведения относительно событий в Петрограде и возможность прихода с фронта правительственных войск.

И обсуждали, что если вот прервётся электричество, и водопровод, и забьются клозеты — так никто и не поможет.

Вдруг раздался очень резкий дверной звонок, как порядочные люди не звонят. Переглянулись, не без испуга. Однако что ж поделать иное, как не открыть. Все остались сидеть за столом, а горничная пошла открыть.

За дверью она увидела с револьвером маленького невзрачного электротехника, вчера проверявшего у них этот самый звонок. Он без спросу вступил в прихожую, а за ним вваливалась целая толпа распущенных солдат, женщин и каких-то совсем уличных подозрительных типов. Горничная растерялась и вымолвить ничего не могла.

Тем временем маленький электротехник прошёл в столовую, так же с револьвером перед грудью, и объявил хозяину:

— Ваше превосходительство, вы арестованы!

Онемели и тут, жена и дочь не сразу спохватились. Страшные догадки проносились в голове Карпова, почему именно его берут. Адмирал же сообразил, что о его присутствии здесь не знали, арестовывать его не могли,— и он поднялся от стола и позади солдатских спин стал пробираться к двери. Однако электротехник заметил этот манёвр и направил револьвер на адмирала:

— И вы арестованы тоже.

Тогда адмирал со всей важностью и вальяжностью запротестовал. Электротехник и слушать не стал, а скомандовал резко обоим:

— Сдать ордена и патроны!

Адмирал был без револьвера. Но стал отвинчивать ордена. У Карпова же, напротив, имелся револьвер с патронами и, боясь сокрытия, он велел жене принести и отдать.

Тем временем один из солдат с обнажённой шашкой приблизился к столу, лезвием её от большого окорока отрезал толстый розовый ломоть, другой рукою взял и стал есть.

На застольную публику этот прием произвел ошеломительное впечатление. Да как он шашкой на столе ничего не зацепил!

Другие, обступя стол, тоже стали тянуться и брать пальцами, кому что понравилось.

Электротехник же ничего не брал, но, всё так же поводя револьвером, велел арестованным побыстрей собираться и выходить.

Женщины захлопотали, просили подождать. Принесли Карпову шубу на меху и высокие галоши, адмиралу — его шинель. Тут же, в столовой, они и одевались, прихожая вся забита.

Пошли по лестнице.

Спросил адмирал:

— Куда же вы нас ведёте?

Электрик бойко ответил:

— В Думу, ваше превосходительство!

— Пешком? — ужаснулся адмирал. Никогда он так далеко пешком не ходил, тут было три версты.

— А как иначе?

Сбега́вшая с ними дочь Карпова подумала, что и отец не пройдёт столько, и сообразила:

— Подождите! Сегодя тут рядом с нами арестовали министра Штюрмера, а в гараже у него остался прекрасный автомобиль, возьмите до Думы?

Революционерам понравилось:

— А ну, где, ведите!

Она повела их к Штюрмерам. Так же громко позвонили, потребовали выдать автомобиль с шофёром немедленно — и те не смели возражать.

Через короткое время усаживались в прекрасный этот автомобиль: арестованные сзади, а электротехник спереди, но обернувшись на них револьвером.

Дочь крикнула, может ли она сопровождать.

— Если прицепитесь.

Но было поздно: весь автомобиль уже обцепили охотники, стояли со штыками и на подножках и на задке.

Поехали. Револьвер всё был уставлен в груди арестованных, и опасаясь, что он выстрелит сам от тряски, адмирал попросил:

— Послушайте, голубчик, мы же никуда не бежим, уберите вы револьвер, выстрелит.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство! — весело и бойко заверил электротехник.— Он не заряжен, это так, для поизира!

Тем временем из квартиры жена Карпова спешила звонить Родзянке. Карпов был ему сосед по уезду, приятель и даже писал ему некоторые речи.

Родзянко встретил их в вестибюле, очень благодарил электротехника и весь конвой — и отпустил, когда довели арестованных до его кабинета.

Там уже человек двадцать таких спасённых сидело, и сенаторы,— ждали, когда их мучители схлынут и можно будет по домам.

ДОКУМЕНТЫ — 4

ИЗ БУМАГ ВОЕННОЙ КОМИССИИ
(28 февраля)

— Пришлите удостоверение, что я охраняю и управляю складом огнестрельных припасов по приказанию Временного правительства, а то публика недоверчиво относится.

Поручик 1 пех. зап. полка Ставин

— В 8 ч. вечера дана охрана погребов, вызывались егеря, 17 члв., посты заняты в Удельном ведомстве, Моховая 40, полный порядок. Были посторонние во дворе с командой 62 члв., выведывали. Оказалось прошли через квартиры сторожей. При удалении их вышло столкновение, отняли винтовку. Предвидится еще столкновение с 5 солдатами. Необходима смена.

— Прапорщику Тафарову вменяется в обязанность останавливать всякий грабеж магазинов на Кронверкском просп. и ближайших местностях.

Пред. Воен. ком. Вр. Комит. Б. Энгельгардт

— Угол Семеновской и Литейного, погреб Шитта разгромлен. Воскресенский, угол Кирочной, магазин Баскова громят и пьют.

Вольноопределяющийся Сергиев.

— Коломенская 27. Толпа громит помещение.

— Сейчас были на Варшавском вокзале и узнали из достоверных источников: с фронта двинуты 35 эшелонов солдат в Царское Село и будут там в 4-5 утра. Настроение их неизвестно. Потом в 6 утра прибывают два литерных поезда, один со свитой, второй царский. Нужно обратить внимание.

А. Коноваленко, член студенч. кружка

— На Кирочной 12 громят частную квартиру. Послана разведка.

Г. А. С.

ЗАПИЛИ ТРЯПИЧКИ, ЗАГУЛЯЛИ ЛОСКУТКИ!

215

Текли напряжённые дневные часы, важнейшие часы той скрытной подготовки, когда войска ещё не проступают въявь, но невидимо и неслышно стягиваются и перемещаются: одни — снимаются с боевых позиций, другие

движутся к станциям, третьи грузятся, четвёртые уже едут. И если только протекут беспрепятственно эти часы и полководец предусмотрит в них всякую мелочь — то наградой ему все войска в назначенный час окажутся на месте, слитны и готовы для удара.

От исполнительного Беляева не преминуло прийти донесение, что, щадя Адмиралтейство, последние отряды вывели из него, а по своей неполной надёжности они распущены по казармам. В самом Петрограде сопротивление, стало быть, прекратилось, но это было ясно и раньше.

Из Москвы от Мрозовского не поступило никакого ответа, и осадное положение не было им объявлено,— но, может быть, это и не нужно. Среди дня телеграфно проверили состояние Московского железнодорожного узла — никаких эксцессов, никакого перебоя поездов. Благоприятно.

Какая-то ещё неполнота беспокоила Алексеева. А вот: при нынешней обстановке нельзя полагаться на телеграфы и телефоны, Иванов должен иметь при себе радиостанцию. Приказали — послать ему такую с Западного фронта, чтоб она нагнала его в дороге. И даже вот как: ещё одну промежуточную направить в Невель, чтоб она могла трёхсторонне связывать — действующие войска Иванова, Псков и Ставку.

Чудесная сохранность военного министра в Петрограде (которая доказывала причудливость обстановки и что не всё в столице потеряно) обязывала Алексеева доложить ему о принятых мерах и о посланных войсках, раз он не мог такого доклада послать Государю императору. (Поезда царя как исчезли, станции не сообщали об их проходе.) И Алексеев к концу дня послал Беляеву в главный штаб в Петроград подробную телеграмму с перечнем всех посылаемых частей, их командиров и сроков прибытия в столицу (передовой Тарутинский полк должен начать прибывать туда завтра с рассвета), даже о снятии гвардии с Юго-Западного, даже предположения свои о дальнейших добавках войск.

Сведения из Петрограда были настолько скудны, обрывчаты, что приходилось использовать даже доклады итальянского и французского столичных агентов своим старшим представителям при Ставке. От них почерпнули снова, что тюрьмы распахнуты, гражданские лица вооружены, офицеров, напротив, разоружают и арестовывают, „Астория" сожжена, Протопопов бежал. Впрочем, француз уверял, что собственность уважается, а убивают только в виде репрессий или по ошибке.

А с другой стороны, не подтвердилось существование какого-то якобинского правительства в Мариинском дворце, по телефону подслушанного Беляевым,— но в Таврическом образовался Временный Комитет Государственной Думы, который заявил о себе вот уже второй телеграммой: что имеет цель взять в свои руки анархические события и временно осуществлять, по сути, правительственные функции.

Но это же были — разумные люди, они не могли освящать хаос. Умеренные люди, и вполне владеют положением, ничего страшного не случилось, только ушли никудышние министры. Не гидра революции пожирала Петроград, но брала его в руки группа либеральных просвещённых людей. В условиях, когда исчезла и старая власть и командование Хабалова, появление думского комитета был факт положительный. Это всё были члены Думы и большей частью не социалисты, не кровавые какие-то разбойники, а во главе их — монархист Родзянко.

Правда, со своей несносной бестактностью Родзянко посылал телеграммы не только в Ставку, но и всем главнокомандующим. Обращение к главнокомандующим за последние дни начало становиться у него системой. Но какой бы он ни был суетун и как бы ни зарывался по тщеславию,— однако же он был заведомо не революционер.

Алексеев стал задумывваться и так: если мятеж успокаивается — против кого же собираются и посылаются им войска? Не против же Родзянки и Милюкова, что за нелепость? Если Петроград и сам по себе успокоится — против кого же войска? Но насколько этот думский комитет владеет столицей? Очевидно, нет. И насколько миновала опасность, что зараза мятежа перебросится по железным дорогам?

Впрочем, хорошо, что послушался Кислякова и не стал брать хлопотной власти над железными дорогами. По путейским линиям разосланные телеграммы комиссара Государственной Думы Бубликова, очевидно за министра путей сообщения, были никак не дезорганизующие, но призывали железнодорожников производить движение поездов с удвоенной беззаветной энергией, сознавая важность транспорта для войны и благоустройства тыла.

Да вся эта операция усмирения и с самого начала была Алексееву не по душе: войска нужны на фронте, и место им там, а не идти на свою столицу.

Всё это хорошо бы сейчас доложить Государю и, может быть, Государь отменил бы войска. Но через несколько часов он сам будет в Царском Селе и там всё увидит. Алексеев же не имел права отменять государева приказа.

И в появившихся сомнениях он не только не остановил, не изменил ни одного распоряжения, но ещё довершал их в аккуратных мелочах. И даже телеграфировал на Северный и Западный фронты предупреждение, что, возможно, ещё придётся добавить кавалерийских полков и конных батарей.

Во всём этом скоротечном петроградском мятеже самое загадочное было — причина возникновения его.

И после 8 вечера Алексеев поделился с главнокомандующим таким соображением: что в подготовке этого мятежа противник, возможно, принял довольно деятельное участие, а теперь ему, конечно, известно, что революционеры стали временными хозяевами Петрограда,— и он постарается использовать это своею активной деятельностью на фронте. Так надо подготовиться к частным атакам.

216

А Воротынцев — выздоравливал. Просто выздоравливал — целый полный день сегодня.

Вчера он весь день передвигался в сплошном непонимании и мучении. Он был так разбит, так истрачен,— он себя не помнил таким опустошённым никогда. И только изумиться: откуда ж открылось это несчастье? Как он не замечал его?

Заснули только к утру, а проснулись уже совсем среди дня. День, видно, был солнечный, но на окне тёмная штора, да и солнце, может, не с этой стороны — так полусвет в комнате. И не вставали.

Не-ет, никакое, никакое другое женское тело, не такое покойное, не такое обширное материнское лоно — и не утешило бы сейчас его тревоги, всей его внутренней изболелости — вчерашней, позавчерашней. Или даже очень дальней? Это тело естественно распростиралось, оно естественно сливалось со всем тем, что держит и носит нас. Оно само и было — родная спасительная земля, но только мягче, теплей, приёмистей обычной земли. Только к ней, к этой, прижавшись, влившись, он и мог избыть свою изболелость и возвратить здоровье себе — из неё.

Но для этого — долго надо было лежать, очень долго, и почти не шевелясь,— и даже долго совсем ничего не говоря. Тогда ощутимо, во многих клеточках, черезо всю кожу тела, к нему возвращалось здоровье.

Как когда-то в Грюнфлисском лесу он лежал на земле, и не было сил подняться, оторваться. Да вся спасительность была: не отрываться.

Он только длительностью, непрерывностью, неподвижностью успокаивался и выздоравливал. Тайна этого успокоения была в длительности: не час, не два, не три.

И теперь-то — теперь он мог бы и рассказывать: и что же именно произошло, и с какой болью он пришёл вчера. Но сумел ли бы? Только что: нехорошо они жили с женой — и сам он того не знал. Да теперь — незачем было всё это взмучивать. Она — и так уже вылечивала его.

И с благодарностью, с нежностью он целовал её благоплотные руки в предплечьях.

Днём стала рассказывать с открытой душой о себе. Как ведь выдали её сперва не по её выбору, а по воле родителей. А потом она привыкла к мужу. А потом и полюбила.

И — случаи разные. Разные сказанные с покойником слова. Георгий никогда к такому не прислушивался. А сейчас — то вникал, то отдавался этому журчанию, как лежачая колода в облегающем ручье, обновляясь в этих струях.

Никогда не прислушивался, а как неожиданно она уводила в сторону, где, казалось ему, и нет ничего. А вот — лился вокруг него целый мир, обструивал потоками. И это же вокруг каждой женщины свой отдельный мир?

И куда делось вчерашнее разрывание, что просто жить не хочешь?

Захотелось есть — она не дала ему подняться, а всё сама принесла и тут разложила на низком столике. Разве больного в детстве так кормили его,— но не казалось ему стыдно-барски.

Когда-то схватился: а какое же сегодня число. Двадцать восьмое. Так надо же ехать в армию!

Но в окне уже несомненно умалялось света — наполовину проспанный день уже и кончался, а Георгий так и не одевался за весь день. Он было сделал такое движение, но она была права: куда ж теперь? ведь к вечеру. Уж лучше с утра как угодно рано. Раньше встанешь — дальше шагнёшь.

Так и проплыл этот день — без единого внешнего стука в дверь, без единого выхода,— и счастливо, что не было в квартире телефона.

И электричества вечером почти не зажигали — так полно, так плотно в темноте.

217

Адвокат Демосфен спасал Элладу. Адвокат Цицерон спасал Рим. Но особенно — адвокаты были всегда сосоловием революции. А из кого ещё состоял Конвент?!

Артист произносит чужие слова, адвокат — те, что сам выносил в сердце и сложил. В этом — его превосходство. Но в России только по уголовным и тем более политическим делам имеет адвокат простор развернуть своё красноречие, потрясти чувства судей и вырвать у них нужное решение. В гражданских же судах, которыми и занимался Корзнер помимо юрисконсульства в банке, такой завал дел и такая сухая обстановка, что ораторские эффекты и фразы общего характера считаются даже неприличными, достоинство же адвокатской речи — в сжатости и в богатстве юридической аргументации.

А новая революционная обстановка вдруг открыла неограниченный простор красноречию. И вчера вечером Корзнер горячо выступал в думском зале, и не его ли была решающей напорная речь, после которой отважились создать Московский Временный Революционный Комитет?

А затем сразу и покатилось: значит — и написать воззвание! (Корзнер вошёл в число составителей.) Значит — и распространять по городу!

И серый купчишка Челноков смекнул размах событий — и не сопротивлялся. А товарищ городского головы Брянский вызвался дать городскую типографию для воззвания.

Но тогда и устроить в городской думе дежурство членов Комитета!

Сегодня утром Корзнер отложил все свои приёмы, отменил деловые встречи, назначенные на сегодня,— да кому теперь до них? — и в первой половине дня отправился снова в думу.

Общая обстановка в Москве была самая бодрящая. Газеты не вышли, забастовка типографов. Кто-то выпустил на стеклографе „Бюллетень революции" — сведения и слухи из Петрограда, как сообщали телефоны, так ли, не так, и листочки передавали из рук в руки. Трамваи за день перестали ходить. Передавали о фабричных забастовках. В некоторых частях города отказал водопровод, но не в центре. На улицах в разных местах присутствовали усиленные наряды конных жандармов и казаков, и особенно на перекрестках вокруг думы, и на Красной площади за Иверской,— но не было ни одного случая разгона толп или препятствия их движению. Видимо и власть замерла, нейтрально ожидая, к чему идёт. А к думе проникали сперва даже не толпы, но, по робости, группы, кучки,— однако и к ним выходили ораторы из здания думы с короткими речами. А когда уже толпа стала погуще — то выставили

с балкона думы красный флаг и повторяли в речах главные лозунги воззвания: что в Петрограде революционный народ совместно с войсками нанёс решительный удар царскому правительству. Но борьба ещё только началась! Московский народ должен тоже призвать революционных солдат — присоединяться! и захватывать арсенал и склады оружия!

После этих речей некоторые группы отправились по казармам, обращать солдат. А к думе подходили всё новые, новые, уже и с революционными песнями,— и сливались в толпу, она густела. После полудня она уже затопляла всю Воскресенскую площадь, выдаваясь и на Театральную, в ней поднимались красные флаги, ораторы,— и вся она превратилась в непрерывный сплошной митинг, который полиция теперь уже тем более не смела тронуть.

А в самой думе собирались по одному — революционеры. Да! Никто их в Москве уже давно не видел, не слышал, не знал, и сами они прятались за невинными обывательскими личинами,— а теперь приходили на готовое, и громче заявляли себя хозяевами и требовали, чтобы Революционный Комитет передал власть, ещё им не взятую, в руки Совета рабочих депутатов, ещё и не созданного! И выбирали свой Исполнительный Комитет! Довольно нахально!

Но там были и порядочные люди, меньшевики, которых всё-таки знали,— Гальперин, Никитин, Хинчук, Исув. И с ними договаривались о разграничении функций и чтобы существовать в думе всем.

А в городе события разворачивались. Рассказывали об обезоружении отдельных полицейских, вполне мирно, без убийств. Посты городовых стали исчезать сами собой. Крупные же наряды мялись. Затем к думе привалила толпа студентов университета, человек четыреста. Очень смеялись, рассказывали, как на Большой Никитской удалили ворота и отнесли их внутрь двора. А другие факультеты продолжали заниматься.

Потом пришёл слух, что рабочие и солдаты захватили Арсенал. А разве войска присоединились к народу? — ещё никто их не видел. Но вот на Воскресенской площади стали появляться и группы солдат, больше безоружных. Передавали, что одна революционная толпа ворвалась было в Спасские казармы, но была оттуда вытеснена. Судьбу движения должны решить войска — но они всё не приходили на помощь революции.

С прошлой ночи прервалась телеграфная связь с Петроградом, оборвались подбодряющие сведения на несколько часов. Ловили приезжающих с поездов, узнать.

Но и власти московские вели себя неопределённо. Даже — никак.

А между тем в саму думу набивалось масса народу, и много деятелей, с именами или малоизвестных,— от Земгора, от купеческого общества, от биржевых комитетов, от военно-промышленных комитетов, от кооперативов,— и созданный вчера таким героическим рывком Революционный Комитет как будто пополнялся всеми этими представителями? — а на самом деле разводнялся, расплывался, превращался чёрт знает во что: уже не называли его ни Революционным, ни Общественного Спасения, а больше — Временным, а вот уже стали называть — Комитетом общественных организаций.

Корзнер негодовал: с этими безнадёжными обывательскими растяпами потеряли знамя, потеряли звук, потеряли порыв! — да что вообще с ними можно пронести?

А тянулась проклятая неопределённость, и неприсоединение войск, и неизвестия из Петрограда.

В негодовании Корзнер ходил домой поесть.

Когда же через полтора часа снова пришёл в думу, то застал Комитет ещё более расплывчатый, но непрерывно заседающий. И среди них же раздались голоса, что их никто не выбирал, и разумнее передать первое слово самой городской думе, которая вот уже собиралась перед вечером, очевидно без своего правого крыла.

А в каких-то комнатах того же здания очевидно уже заседал этот Совет рабочих депутатов — и от него тоже ходили говорить к толпе.

А Корзнер тогда как и не гласный думы — становился что ж, пассивным наблюдателем? Досада! Как грозно вчера вечером засверкало — а вот расплы-

валось в какую-то всеобщую толкучку. Зато за эти сутки Корзнер узнал сам себя: до чего ж нужна разрядка для его энергии, сколько её накопилось под футляром адвоката и юрисконсульта!

А Воскресенская площадь не расходилась, гудела! И вдруг раскатился особый шум восторга, „ура", шапки в воздух. С балкона думы было видно уже в темноте, при фонарях, как от Неглинного проезда появился строй в несколько сот солдат с ружьями на плечах! И, кажется,— при младших офицерах!

Прошли через раздвиг толпы, стали — и прапорщик звонко объявил, что рота пришла на службу революции, отдаёт себя в распоряжение народа!

Ура-а-а-а-а!..

У городской думы появилась первая охрана!

Это подействовало на думу. Заседание её пошло смелей, и поздно вечером в обращении к московскому населению она уже слала горячий привет Государственной Думе и выражала уверенность, что будут устранены от власти те, кто творит постыдное дело измены, старый пагубный строй, и да не будет ничем омрачена заря, занимающаяся над страной.

Но Корзнер находил, что в этих цветках декламации терялся тот явственный *кулак*, который надо было подсунуть старому режиму под нос. За минувшие сутки революция в Москве не раскачалась заметно.

Следующие часы пошло веселей. Военно-автомобильные мастерские захватили радио. Толпа от думы полилась к Сухаревой башне и к Спасским казармам, и всё-таки взломала их! В здание думы энтузиасты стаскивали, что может пригодиться для отражения контрреволюции.

И вдруг, уже к полуночи, с Красной площади внезапно раздалось громкое солдатское пение — слова непонятны, или что-то о вещем Олеге, а припев повторялся отрубистый, угрожающий, в несколько сот голосов:

Так за царя, за родину, за веру
Мы грянем громкое ура!

А свои-то солдаты, своя охрана — куда-то подевалась за это время. А толпа — не защита, сейчас и разбегутся. А они — вот уже, мимо Иверской, заворачивают к думе, печатают шаг молодой, штыки в воздух один в один!

В думе поднялся переполох. Иные уже убегали. Но и то — поздно. Послали им навстречу подполковника запаса Грузинова, перед тем гордо тут объявившегося. Он в волнении вышел на ступеньки:

— Господа? Что вам угодно?

Оказалось — рота из 4-й школы прапорщиков. Пришли „посмотреть, что тут делается".

— Может быть, вы голодны, господа? — уговаривал их Грузинов.

Нет, они хотят посмотреть, что делается. И стали ходить по думе.

А потом — возвращаться в казармы поздно, потребовали себе ночлега!

Челноков придумал поместить их в „Метрополе" — отдать им гостиные и биллиардную.

Продолжение следует

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН



МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

218

Увы, где-то должна была оборваться утишающая покачка этого переезда. К шести часам вечера во Ржеве неугомонный Алексеев всё же настиг своего патрона тяжёлым известием, зашифрованно переслал послеполуденную телеграмму Беляева, что последние верные войска выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергать разгрому здание,— и распущены.

То есть генерал Хабалов сдался, и в Петрограде больше не осталось верных войск и власти?

Петроград отпал от России...

Но оставалось — Царское Село! Но о Царском Селе не поступало тревожных известий, и генерал Иванов, по расчёту, уже должен был его занять и концентрировать там войска. Там — была семья! Там была — вся жизнь! Туда надо было спешить.

Свита вместо этих получала другие известия. Тут, на вокзале, объявился жандармский генерал, вчера из Петрограда, и рассказывал свите ужасные, даже неправдоподобные вещи: что уже вчера весь петроградский гарнизон был на стороне Государственной Думы и ожидалось объявление нового правительства. Разгромлено Охранное отделение, все полицейские участки, Гостиный Двор, магазины на Сенной, жандармов убивают, офицеров обезоруживают, иных тоже убивают, ротный Павловского батальона покончил самоубийством, повсюду толпы, революционные крики и непочтительное об императрице.

Свита была перебудоражена: что ж это делается? Что-то надо предпринимать! Не пора ли вступить в переговоры с мятежниками? Наконец, крайний час создать ответственное министерство! Да ведь там есть Родзянко, он становится реальным возглавителем, с ним и надо связаться!

Мятеж был настолько всеобщ, что свитским вступил страх за свои семьи и самих себя. Нельзя было терять ни минуты, надо действовать! Но — кто бы это смел подсказать беспечному Государю? Все опасались вызвать у него раздражение или нетерпеливую складку выслушивания.

А вопросов — Государь не задавал никому. Он оставался внешне всё так же совершенно спокоен. (Всегда: чем более встревожен — тем меньше подавал вид и говорил.)

Лишь один человек по должности мог и обязан был доложить — министр Двора Фредерикс. Но его давно возил при себе Государь как устаревшее чучело, которое жаль выбросить, чтоб не обидеть. От чрезмерной старости Фредерикс не только ослабел, но проявлял старческое слабоумие: мог принять русского императора за Вильгельма и опозориться перед строем войск.

Ещё приближённым был зять его, дворцовый комендант Воейков, очень практического ума, но ни с кем не близок из свиты, упрямый. Он мог доложить Государю только что сам бы счёл нужным.

Так и стемнело. И обед прошёл в натянутом, деланном разговоре, ни слова о петроградском бунте.

Впрочем, верили в успех генерала Иванова.

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 6—9.

И ехали дальше. Царский поезд шёл даже без Собственного конвоя: ото всего конвоя — два ординарца. Да десяток чинов железнодорожного батальона. Мерно покачивался, убаюкивался, тёмно-синий, с царскими вензелями. И ехал в безохранную, безглядную, неведомую темноту.

Подбирался к восставшему Петрограду странным далёким обходным крюком.

В девятом часу вечера в Лихославле Государя нагнала сильно запоздавшая телеграмма из Ставки. Это была копия телеграммы опять от Беляева Алексееву, но известия двигались попятно. В ней сообщалось, что верные войска под влиянием утомления и пропаганды бросают оружие, а частью переходят на сторону мятежников. Офицеров разоружают. Действие министерств прекратилось. И ещё странная фраза: министры иностранных дел и путей сообщения вчера выбрались из Мариинского дворца и находятся „у себя". (Дома?) Какой-то ребус, тут не хватало: а где же остальные министры, само главное правительство? Ещё и о брате Мише сообщал Беляев, что он не смог выехать в Гатчину и находится в Зимнем дворце. И просил Беляев — скорейшего прибытия войск.

Что ж, они подходят. Их и собирает вокруг Царского Села старик Иванов.

В том же Лихославле узналось уже от местных, что в Петрограде образовано новое правительство во главе с Родзянкой. И что по всем железнодорожным телеграфам распоряжается никому не известный член Думы какой-то Бубликов, причём называет власть Государя „старой" и „бывшей".

Кроме этого самого последнего, Воейков доложил Государю.

Просто удивительное самозванство и наглость: какой ещё Бубликов? почему Бубликов? и фамилия шутовская... Всё это походило на балаган.

Быть может, следовало повернуть? Изменить план?

Каково решение Государя и полководца?

Воейков настаивал, что в Петрограде никакого серьёзного движения, а просто местный бунт.

Тут, к счастью, подали и телеграмму от Аликс, благополучную. Слава Богу, какое облегчение! А вчера целый день от неё не было, какая тревога!

И тут же телеграфировал ответ: „Рад, что у вас благополучно. Завтра утром надеюсь быть дома. Обнимаю тебя и детей. Храни Господь. Ники".

Теперь-то — тем более, тем увереннее, тем необходимее — в Царское!

Да Лихославль уже находился на двухколейной гладкой Николаевской дороге. И решение могло быть только одно: скорее вперёд! [1]

219

Для неисчезнувших членов Думы находились дела, и самые необычные. Одни входили в сам Комитет и час за часом, вперемежку с отлучками, участвовали в непрерывном его заседании-обсуждении. Другим пришлось принять на себя (из невольного соревнования с Советом рабочих депутатов) грозное звание *комиссаров*. Дело в том, что с саморазбежкой правительства почти все министерства остались без возглавителей,— и вот Комитет решил посылать в каждое по два-по три члена Думы, которые могли бы там наблюдать, влиять, разъяснять, помочь руководить. Правда, эти посылаемые и сами плохо представляли, что надо и что срочно (один Маклаков в министерстве юстиции точно знал). И даже ёжились в своём новом и неопределённом звании комиссаров. Да ещё и не во все те министерства легко было добраться по улицам.

Тут ещё вдруг прервались все городские телефоны, так выручавшие вчера: все барышни в испуге сбежали с телефонной станции. Пока их разыскивали, да возвращали к делу, включали телефоны только для нужд Таврического дворца.

Третьим доставалось выступать перед приходящими войсками — то с крыльца, а то уже и в зале. Четвёртым — ехать в незнакомые им казармы, и произносить речи в обстановке и перед аудиторией, к которой они никак не

---

[1] Схему железных дорог см.: Нева. 1991. № 6. С. 41. (*Прим. редакции.*)

готовились никогда. Никакие тонкости тут были не нужны, а только с надрывной силой уговаривать: не спешить праздновать, не выпивать, не кидаться в анархию, а подчиняться своим офицерам.

Родичев, только что вернувшийся из Москвы (потрясающее историческое событие застало его в досадной отлучке: именно вчера была назначена ему явка к московскому нотариусу, он продавал лесную дачу),— воротившийся Родичев, несмотря на свой седьмой десяток, с молодой охотой ездил выступать: у него ведь дар был зажигать даже холодные сердца и натягивать нервы слушателей. И вдруг — открывшаяся возможность выступать прямо перед народом,— да можно ли устать, господа? Блистало, сверкало его пенсне на долгом шнурке, и острым треугольником выкалывалась маленькая бородка. Весь народ открыто валит за Государственной Думой! — чего ж ещё ждать? Это даёт возможность овладеть положением, стать во главе движения!

Но и когда выступленья казались успешными, когда и тоскливо безуспешными,— депутаты с облегчением спешили вернуться в свою Думу. Правда, уже не в свою, а сильно подпорченную. Уже перед дворцовым сквером автомобилями или напором народа свалили часть чугунной решётки и один гранитный столбик. В Купольном — штабели мешков. А дальше внутри — солдатский табор с бессмысленной толкотнёй, где течение сшибалось с течением не в политическом, а в самом примитивном физическом смысле — кто кого переселит и пройдёт раньше. Сквозняки. За одни сутки уже подшарпаны колонны, попорчена мебель, сальные пятна. А уж в уборные заходить стало противно, так загажены солдатнёй, да ещё и очередь. И перестал существовать гардероб, а в бывшей комнате личных ящиков депутатов навалены пулемётные ленты и даже взрывчатые вещества.

Так вот — пробраться надо черезо всю эту толчею, где радикальные барышни ещё разносили засидевшимся солдатам бутерброды и чай,— и даже с боязнью прислушиваясь к разговорам толпы, пробиться в те немногие последние комнаты левого крыла, в сторону Таврической улицы, где ещё сохранялся дух Думы и были в основном свои, и подышать привычной обстановкой: рассказать о своей поездке в полк, послушать рассказы других. И если удастся, как забытое счастье,— присоединиться к обсуждению каких-нибудь вопросов общего характера.

Тут стекались и не члены Думы, а просто петербургские их друзья, кадетская публика.

Что слышно о движении войск Иванова? Неужели достигнут и будут карать? Да ведь мы и не революционеры, господа! Почему мы и уговариваем солдат вернуться в казармы, почему мы и рады нашедшимся офицерам,— мы именно прекращаем революционную ситуацию и восстанавливаем тот порядок, который нужен для ведения войны.

(Не говорилось совсем вслух, а очень думалось: может быть царь признает их Комитет — и насколько всё сразу легализуется!)

Ко всему этому кризису привели не мы,— привёл безвольный монарх, прогнивший режим.

Боже, как мы при этом режиме жили!

И мы так уже стерпелись со страданиями, которые он нам причинял, что могли жить как будто и счастливо. По-видимости.

Но вот настал для них час расплаты.

Ничего, солдаты быстро успокоятся,— зато в армии произойдёт теперь патриотический взрыв, и война закончится победоносно и быстро!

Угнетал и перебивал поток всё приводимых новых арестованных — часто совсем случайных людей,— и всем добровольным конвоирам надо было выражать благодарность и отпускать их, задержанных же перехоранивать по несколько часов, пока минует им опасность,— и всё опять же в этих нескольких оставшихся комнатах.

Наконец появилось публичное заявление за подписью Родзянки: что Думский комитет до сего времени никаких распоряжений ни о каких арестах не производил (это была правда, вся эпидемия арестов текла мимо него, он только спасал несчастных) — и впредь аресты могут производиться не иначе, как по особому распоряжению Комитета.

Но даже это заявление напечатать — неизвестно где искать типографию, не придётся ли просить Совет рабочих депутатов.

И тем более не имел Комитет мужества призвать население не подчиняться той второй, парализующей власти.

Ужасно обидное положение! — все эти массы притекали в Таврический из симпатий к Государственной Думе — но утилизировать эти симпатии было никак не возможно: массы растеклись по помещениям и только мешали, а вот чужая сила внедрилась и захватывала их. И без этой второй силы кажется уже и не восстановить порядка, не собрать солдат в казармы.

Надо как-то ладить. Как-то взаимно дружественно.

Тут — вернулся Родичев, с какой-то по счёту своей поездки, уже вечерней. За один день узнать было нельзя, как он потерял утреннюю бодрость, и охрип, и постарел, и пенсне спрятал.

Сейчас он был в Семёновском полку. И вернулся сильно расстроенный и изумлённый. По вечернему времени солдаты собрались на его речь в большую казарму в одном белье и валенках. Слушали, хмурились — а „ура" совсем не кричали.

Так и разошлись в белье, как и не слушали его. Первый раз в его жизни речь настолько не произвела никакого действия, где уж там восторга.

А оказалось, ходит у них прокламация: революцию Пятого года украли офицеры, украдут и нынешнюю, если солдаты не дадут им урока.

Кто-то ж где-то эти прокламации печатает, для них типографии не закрыты.

220

Весь сегодняшний день прошёл у Председателя как на пышущем болоте, где он пытался нащупать хоть какие-то твёрдые точки и установить поддерживающие связи.

Лился поток арестованных, от городовых до министров,— и всё в Таврический, как будто это Родзянко руководил арестами, а многие сановники и генералы — прямо к нему в кабинет. И все взбунтовавшиеся войска валили куда? — в Таврический, и кто их приветствовал? — опять же Родзянко. И даже простые солдаты рвались зачем-то в кабинет Председателя. Кто-то занял Петроградское телеграфное агентство — и вот посылали во все провинциальные газеты телеграммы о падении старого правительства, и всё — от именно Временного Комитета. То есть опять Родзянко? И теперь если начнётся следствие — то он допустил кое-что незакономерное?

А между тем Родзянко оставался предельно лоялен и патриотичен — и только так выступал пред войсками. О Государе, правда, он ни слова не говорил, тут создалась какая-то неясность, но он просто трубил во славу родины! (Делая усилия над собой — не замечать этого безобразия, строя, вида и позорного отсутствия офицеров. Призывал к возврату патриотической совести, сознавая, что с *такой* армией нельзя будет прожить ни дня военного времени.)

Ведь власть с а м а выпала из рук законных носителей — а Временный Комитет только подобрал её и хранил. И готов был законно перелиться в новую законную власть. Да Комитет, по сути, уже и стал началом той конституционной власти, по которой изнывало общество и изнывали союзники. И так легко и счастливо эта власть создалась! Но чтоб распределять министерские портфели — не хватало санкции Государя.

Да и не хватало единства и подчинительства в самом Комитете. Повиновение дерзко разваливал Керенский, не отчитываясь, где он и что делает, совершенно возмутительно и в мятежном духе выступал перед юнкерами и перед батальонами — и на виду публики его невозможно было отстранить и обуздать. А в Комитете он анархически заявлял, что над ним тяготеет долг перед Советом депутатов. А Чхеидзе и вовсе там пропадал все сутки. Между тем обоих вводили в Комитет как дар левым, надеясь их этим осчастливить и привлечь,— но они не ценили этого дара. И так же ускользал из-под Родзян-

ко свой думский заместитель Некрасов. А Милюков вёл себя так упорно-независимо и замкнуто — никакого подчинения Родзянко в нём не ощущал. Да всегда чуял в нём полную чужесть, даже до того, что сомневался: для Милюкова существует ли Россия как живое целое, хотя он так и заботился о расширении её границ и о выигрыше этой войны.

И с болью, с оскорблением узнал Родзянко, шепнули по секрету, что уже сегодня утром прибыл в Петроград князь Львов! Несомненно, что вызвал его интриган Милюков! — чтобы начать вытеснять Председателя! Но — молчал...

Вот так-так! Да Милюков не сносился ли тайно и с союзниками?

Но тут — Родзянко успел. Вернулся его тайный посланец, побывавший и у Бьюкенена, и у Палеолога. И верно угадал! — союзные послы, все эти годы сочувственные к борьбе русского общества против русского правительства, не могли не поддержать! Не на бумаге, пока ещё из осторожности устно, оба посла ответили Председателю, что они признают Временный Комитет единственным законным правительством России и выразителем народной воли! (Ай, спасибо!) И ещё выразили своё ненаписанное такое мнение: что самодержавный строй может быть успешно заменён конституционным, лишь бы поскорей установился порядок и русская армия могла бы выполнить свой долг перед союзниками. Достаточно, сколько революция прошла, а теперь надо её ограничить.

Так того же и Родзянко хотел. Очень хорошо, после этого ответа он стал чувствовать себя увереннее.

Да второй уже день Родзянко находился в настойчивом процессе — доразумения. Этот процесс почему-то не мог произойти сам собою и быстро. Но должны были течь часы, должны были приходить разные вести, должны были обращаться по делу и без дела разные люди, думцы и не думцы,— и всё это не оставалось без пользы в процессе доразумения. И так на протяжении дня сами собой и силою обстоятельств возникали мысли, освещались предметы и принимались решения,— убеждали Председателя люди или сам он додумывался.

И намёк союзников тоже посеялся плодотворным семенем. В самом деле — 11 лет строй называется конституционным,— а где же он?.. Это не противоречит монархической лояльности.

Всё-таки перед Государем Председатель чувствовал себя стеснённо. Как ни дурны были их отношения последнее время, как ни дерзил Родзянко Государю — но никак не чувствовал себя мятежником и не допускал им стать. Он просто спасал Россию от дрянного, гнилого прежнего правительства. А тут вот — изодранный государев портрет в думском зале... А тут ещё — эти арестованные министры, как будто председатель Думы их посадил. Как ни дрянны эти министры — но не сажать было под замок... Но Председатель не имел власти их освободить... И потом эти его речи перед войсками: как ни патриотичны, а при Государе бы их вслух не повторить...

Но и Государь! — почему он молчал? Почему он так надменно не отвечал на телеграммы?

А теперь ехал сам,— на расправу?

Это его движение было смутно, тревожно, опасно. Зачем он ехал? Как будто: ворваться в Петроград, стукнуть здесь ногой, окрикнуть на ослушников?.. Непохоже на него, но потому и страшно, что непохоже.

Расторопный Бубликов докладывал о движении царских поездов — и спрашивал, что делать?

А что можно было придумать?

Государь приближался — и нарастала неизбежность встречи и отчёта.

Но настолько ли в виновном положении был перед ним Родзянко?!

В корзине из дому принесли Михаилу Владимировичу тёплый обед. У себя в кабинете он уже не мог спокойно пообедать, пошёл в укромную комнатушку, прикрыл измученную грудь салфеткой, как будто стало поспокойней. Чего в голодном виде он не мог сообразить — теперь в насыщенном понимал лучше, еда прямо шла на питание головы.

Ведь он именно хотел правильной конституции, и ничего больше! Он был сейчас — самый миролюбивый человек в Петрограде, а может быть и во всей

России. Зачем ещё какие-то военные действия? Зачем они послали на Петроград восемь полков? Против кого?

А услужливый Беляев сообщил по телефону и перечень полков: 67-й Тарутинский, 68-й Бородинский, 15-й уланский Татарский, 3-й Уральский казачий, 2-й лейбгусарский Павлоградский, 2-й Донской казачий, 34-й Севский пехотный; 36-й Орловский пехотный. А ещё возможен Преображенский и два гвардейских стрелковых... Да уже и не восемь? И передовой полк уже может прибыть в Петроград на рассвете 1 марта.

Да что ж они? Что ж они делают?!

Только и надо было теперь Государю: признать кабинет Родзянки, и всем примириться — и дружно работать для победы над злейшей Германией. А Государь?..

И — надумал Родзянко! и понял, как ему действовать против этих полков.

И — не мог не действовать, ибо надо было устоять и против милюковского подкопа и приезда Львова.

Да всё та же мысль, а каждый раз приходит как свежая: самая надёжная поддержка для Председателя, никому другому не доступная,— это поддержка Главнокомандующих. Его особенное значение укреплялось такими, как вчера, ответами от Брусилова и Рузского. Сегодня он уже разослал всем Главнокомандующим телеграммы о создании Временного Комитета, который выведет столицу в нормальные условия, Армия же и Флот пусть продолжают защиту родины.

Но тот предмет, о котором Родзянко думал связаться теперь,— даже не подходил для телеграммы, а должен был носить более конфиденциальный характер. И связаться даже именно только с Алексеевым. И именно сейчас удобно, когда Государь уехал из Ставки.

Алексеев может стать и наилучшим посредником между Родзянко и Государем. От Алексеева и от самого зависит много: ведь это он посылает войска.

Вот что нужно сделать: сегодня поздно вечером, никому не объявляя, ни даже своему Комитету, устроить себе прямой телеграфный разговор с Алексеевым. Для этого, когда схлынут многие лишние глаза, поехать в здание Главного Штаба.

Конечно, Алексеев умственно ограничен, у него нет широты даже военного кругозора, а государственного и не спрашивай. Но должен же он понять, если объяснить ему самые необходимые вещи. Что тут, в столице, может подняться гидра революции и всё смести. И только Думский Комитет, и только сам Родзянко является истинным против неё оплотом — и должны быть поддержаны всячески. Что Думский Комитет — это и есть многожеланное общественное правительство, оно уже вот создано. Что Родзянко сейчас — единственная реальная сила в Петрограде, один он владеет ситуацией, и под его руководством налаживается полный порядок.

Что поэтому посылка каких-то войск на Петроград — не только начало злостной, ненужной, вредной междуусобицы, но подорвала бы целительные усилия Председателя задержать революционное движение и излечить Петроград. Такой приход войск был бы губителен для порядка, который уже налаживается.

Надо, напротив, оценить монархическую верность Председателя и поддержать его нынешнюю полную власть в столице.

Неблагодарный Совет рабочих депутатов делал, что хотел,— но на опасном направлении, против войск Иванова, предоставлял действовать Думскому Комитету. Неблагодарный собственный Думский Комитет плохо подчинялся. Неблагодарный Петроград ликовал, метался, стрелял, беспутничал. Но всех их, неразумных, прикрыть от карательных войск Иванова мог только один Родзянко. И должен был бескорыстно и благородно сделать это.

Он ставил себя жертвой за всех.

Тут приступили к Председателю его комитетчики: а что же Москва? Надо же и Москву валить! Нельзя же ей, первопрестольной, прогрессивной, оставаться в лагере реакции?

Без Москвы — и мы не Россия.

Верно. Тоже верно. Надо и тут приложить свою весомую руку.

Что же опять? Телеграмму! Во-первых — городскому голове Челнокову, на поддержку. Во-вторых, командующему Мрозовскому в устрашение:

Старого правительства в Петрограде не существует. Правительственная власть принята Комитетом Думы под моим председательством. Предлагаю вашему высокопревосходительству немедленно подчиниться. За допущение кровопролития будете отвечать своей головой. Родзянко.

Тут прибежали весёлые голоса:

— Протопопова схватили!!!

— Да что вы?! — обрадовались думцы, а больше всех Родзянко, падению изменника-предателя.

И вставил в телеграммы:

Министр внутренних дел арестован.

221

* * *

К концу дня посланцы революционного Петрограда добрались и до Шлиссельбургской крепости, в 35 верстах от столицы. Против крепостных ворот образовалась кучка. От неё вооружённые потребовали немедленного освобождения каторжан. Комендант сперва отговаривался, что должен получить распоряжение. Затем согласился освободить нескольких, кого назвали по фамилиям и за кем приехали друзья.

* * *

Получив телеграмму самозваного комиссара путей сообщения Бубликова, начальник Северо-Западных железных дорог Валуев понял, что был ему смысл уехать из Петрограда и управлять своею дорогой вне его, особенно когда царские поезда двигались к столице и могли не найти себе пути. Он поехал на свой Варшавский вокзал. Тот весь оказался наводнён взбунтованною толпой и почти не управлялся, как ему уже и докладывали. Валуев отдал распоряжение приготовить себе локомотив с вагоном.

Но и форма его генеральская железнодорожная и барский холёный вид, нежная борода сильно отличали его, и не было возможности уехать незаметно. Это зависело от двух-трёх случайных глоток, а потом уже и толпа пристрастилась: неизвестно почему, но не выпустить этого человека! Его дважды ссаживали из вагона, затем потянулись терзать. Уже несколько самосудных ударов досталось ему. Священник железнодорожного госпиталя вышел с крестом и уговорил рабочих отвести Валуева как арестованного в Государственную Думу. Посадили в автомобиль, облепили охраной, тронулись. Но на Измайловском мосту показалось конвою, что кто-то обстрелял автомобиль — как бы не с целью освободить арестованного?! Тут же, за мостом, остановились, высадили Валуева — и к стене. Составилась шеренга из желающих солдат. Валуев снял фуражку, перекрестился и сказал, что умирает за Государя императора.

Нестройным залпом всё было кончено. Убитого обшарили по карманам, взяли, что было.

* * *

Из 4-го гвардейского стрелкового Императорской Фамилии запасного батальона, квартирующего в Царском Селе, пришла своим ходом к Таврическому дворцу команда в знак того, что батальон присоединился к народу.

Гвардия царя! Ликование.

Присоединилась и Военно-медицинская Академия в полном составе.

* * *

На Сенной площади броневики разбивают магазины с продуктами. Городового привязали к двум автомобилям и разорвали.

* * *

В толпе толк, что кто-то выстрелил с колокольни Сергиевского собора. Вооружённый патруль пошёл проверять. Поднялся на колокольню — никаких и следов. Заподозрили двух церковных сторожей, не переодетые ли полицейские. Обыскали их — нет.

И ещё — поздно ночью второй раз пришли и бдительно осмотрели храм. И опять ничего не нашли.

* * *

По улице подскакивает легковой открытый мотор. В нём — агитатор: смоляная бородка, фанатические глаза, фальцет на срыве. Кверху выкинута рука с кулаком, весь изогнулся. Что-то кричит о недобитой гидре, о змее.

Покричал — махнул шофёру, помчали дальше.

* * *

На Петербургской стороне мальчик застрелил проходившую женщину.

* * *

Порванные трамвайные провода. Сваленный фонарь. Валяются бумажки, окурки, бутылки. Чей-то потерянный красный бант.

* * *

Предлагают спирт, не денатурированный.

— А может, из анатомического музея? На чьих-нибудь внутренностях настоен?..

* * *

В разных местах города открываются питательные пункты — бесплатная кормёжка всех солдат, да и студентов. Счастливы кто набредёт, кормятся.

Целый день протаскались солдаты по городу — кто с винтовками, кто отдал или продал. А морозец — и некуда деться вечером, как опять в казармы.

* * *

От Литовского замка всё валит чёрный дым. Едкий дым пепелища.

И от дома Фредерикса.

* * *

Перед типографиями, где ожидается выпуск газеты, собираются очереди из студентов, обывателей, рабочих, военных.

К вечеру начинают раздавать дополнение к „Известиям Совета Рабочих Депутатов'' — манифест большевиков.

* * *

К вечеру всё больше громят и частные квартиры. Стучат — и врывается, кажется, вся улица. С винтовками, пулемётные ленты через плечо: „Отсюда стреляли! Прячете офицеров?'' Бросаются на обыск. (Не дай Бог у кого — офицерское обмундирование.) Барышня-хозяйка стоит в нервной дрожи. Ничего не нашли — „ещё вернёмся!''. С гвоздика исчезли часы Лонжин.

Пьяные матросы из гвардейского экипажа, что на Крюковом канале, врываются в квартиры близ Мариинского театра, грабят, забирают военных.

А которые солдаты вежливые и не воруют, те уходя просят у хозяев „на чай'' за свой революционный труд.

* * *

По мостам, по Невскому — автомобили всё жужжат, всё гудят, всё гоняют. И крики „ура! ура!''.

С двух сторон Невы автомобили скрещиваются снопами света, вырывают чёрные толпы в тревожном движении.

* * *

Вечером в городской думе в большом Александровском зале — запись студентов, желающих вступить в состав городской милиции. Являться с матрикулами в подтверждение — а идёт и так. В кабинете городского головы дамы и барышни режут на полосы куски белого холста, сшивают в виде нарукавных повязок. Кисточкой, красной краской рисуют буквы „Г. М.”. И прикладывается печать городской управы.

* * *

Вечером пошёл большими мягкими хлопьями всё убеливающий снег.

Улицы были плохо освещены: много фонарей побито или проводка попорчена. Окна домов все тщательно завешаны. Там и сям — ружейные выстрелы. Чокают пулемёты.

И опять ползёт грузовик с вооружёнными рабочими, с тусклыми жёлтыми фарами, сверху — красный флаг.

А то — прокатил броневик. „Ярославль”.

* * *

Прошёл слух, что на Варшавском вокзале высаживаются фронтовые части! И — всё вокруг дружно побежало, вооружённые бросали винтовки, смежные кварталы опустели.

А на Балтийском вокзале, рядом — и действительно стали высаживаться: школа прапорщиков из Ораниенбаума и ещё доехавшие пулемётчики. Слух понёсся — и у Таврического передавали: у Балтийского вокзала кровопролитное сражение.

* * *

Когда ж удостоверились, что прибывают части, поддерживающие революцию,— думский Комитет послал туда депутатов, встретить войска речами. Автомобиль для этой поездки дал депутатам великий князь Кирилл Владимирович.

Перед войсками после приветствий извинялись о помещениях: Комитет Государственной Думы старался, сколько мог, но не взыщите, что временно придётся потесниться.

Потом депутаты поехали ко дворцу Кирилла. Он встретил их у подъезда и обратился к ним, сопровождающим солдатам и кучке ротозеев:

— Мы все — русские люди, мы все — заодно. Нам надо теперь позаботиться, чтобы не было лишнего беспорядка и кровопролития. Мы все желаем создания настоящего русского правительства.

* * *

А пулемётчики под густым снегом пошли пешком к местам расквартирования. Как с позиций (на которых ещё и не были): все в снегу и таща обледенелые пулемёты.

* * *

Лояльный обыватель или переодетый офицер думают: ну, ночь наконец! Набегаются, настреляются, накатаются на чужих автомобилях — на ночь разбредутся же по домам и по казармам спать. А ночью — придут же на Петроград военные части, и всё легко возьмут. Достаточно одного крепкого полка.

* * *

И правда, к ночи сквер перед Таврическим опять совсем обезлюдел. Стоит несколько мёртвых автомобилей. Под снегом покинуты и охраняющие пушки, никого нет возле них.

* * *

Казарма Финляндского батальона наполовину пуста: бородачи-„старики” на местах, пьют чай, спят, не захвачены событиями. А молодёжь ещё не вернулась.

За полночь в ротную канцелярию пришли студенты, просят на помощь солдат: охранять пустые улицы от контрреволюционных сил и от грабителей. Пошли активисты будить бородачей. Те спят или притворяются спящими. Потом долго сидят на нарах, чешут грудь, поясницу. Очень нехотя идут.

А студенты снова приходят и новую партию просят. Так всю ночь.

* * *

У одной дамы в доме Лидваля за эту ночь было 10 обысков, каждый раз всё новая партия солдат, требовали вина и еды. Набрав, уходили — но скоро стучали следующие.

А направляла солдат — её бывшая прислуга: не поленилась всю ночь дежурить у дома снаружи. Она на днях была рассчитана и обещала барыне „припомнить".

* * *

Командующий Московским военным округом генерал Мрозовский к полудню 28 февраля приказал офицерам гарнизона находиться круглосуточно в казармах при солдатах. Но к вечеру этот приказ был отменён, многие офицеры ушли домой.

А именно к вечеру бунтующая толпа ворвалась в Спасские казармы. Тогда потребовали сотню конных из артиллерийских казарм на Ходынке, чтоб очиститься от толпы.

Но и в расположение артиллерийских казарм проникли поздно вечером городские агитаторы — и там тоже начался бунт. На плаце между жилыми бараками завывала „ура" толпа, среди которой много и пехотных новобранцев, ещё даже не одетых в шинели. Неизвестные забегали в бараки и кричали, чтобы все выходили вон. Уложенные спать солдаты слушали вой — и не снимали сапог. Толпа разгромила цейхауз артиллерийской бригады — и теперь, вооружённая, стреляя в воздух, круче выгоняла спящих из бараков. Старые солдаты удерживали молодых не выбегать, офицерам не удержать бы. Но угрозная стрельба частила — и из одного, другого, третьего барака артиллеристы стали выходить. А ночной мороз был 17 ^{0}. Дежурный прапорщик Зяблов, спрятав свой револьвер, с одной шашкой пошёл уговаривать толпу. А свои: „Не знаем, зачем нас выгнали", „и рады бы спать, да выгоняют". Заводилы и сами, видно, не знали, что делать дальше. Постепенно всех утишил трескучий мороз, и к двум часам ночи разошлись.

Но пришла новая группа, не такая многочисленная, а буйная,— теперь к каменным зданиям, где были канцелярии батарей, и стали выгонять писарей, ездовых, пугая их расстрелом. Офицеров не трогали, не выгоняли. Командир бригады и старшие офицеры были тут, но не знали, что делать,— беспомощно ждали утра. (На поддержку прибыли конные жандармы — но отправили их обратно, не было бы хуже.)

Тут приехал из города автомобиль с двумя офицерами. Они привезли кипу прокламаций за подписью Совета рабочих депутатов. Раздавали. Толпа стала ломиться в караульные помещения, караул отстреливался в воздух. Вломились, стали выпускать арестованных. Двое не шли: „Нам два дня осталось сидеть, а уйдём — опять посадят!" Забивались под койки, освободители их выгоняли.

Командир бригады приказал офицерской группе вынуть из орудий замки. Утихомирились часам к пяти утра.

222

Пошутил профессор Ломоносов жене, что эти петроградские беспорядки совсем не ко времени начались: во-первых, нарушили ему лечение зубов (к зубному врачу на Пушкинскую в назначенный час не стало возможно проехать); а во-вторых, хотя царский режим и давно пора кончать, это затянувшееся общее бедствие, но, пожалуй, во время войны не самый лучший момент.

А зубы у него оказались запущены потому, что в Петроград он только что вернулся с Румынского фронта, где несколько месяцев пытался восставить

и наладить железные дороги. С осени главная переброска войск и поставки снаряжения потекли в Румынию, но именно в этом направлении у нас были самые хилые дороги, ни по какой доктрине не намечалось там воевать. И состояние путей было развались (а у румын ещё хуже), а хуже всего с паровозами,— и Ломоносов как один из ведущх паровозников, притом железнодорожный генерал, и был послан.

Молодым человеком, вскоре после окончания института, почти одновременно, он начал опыты с паровозами, принесшие ему две дюжины книг и славу. Но и везде, где служил, не отказывал он в содействии революционно подмоченным, что естественно для всякого честного образованного человека в России. Иногда и места служб ему приходилось выбирать не только из соображений паровозного дела и личных успехов, но и чтоб подальше от глаз Охранного отделения. Побывал он и начальником тяги самой далёкой и запущенной Ташкентской железной дороги, которую быстро поднял к доходу и расцвету. Но вскоре карьера его взмыла вверх, увлекла в Петербург, и до самых высоких должностей, а поселился он в Царском Селе.

Происшедшее теперь в Петрограде в общем можно было ожидать: думские бури последних месяцев приготовляли к крупным событиям. Но сегодня — у Ломоносова были лекции. Однако вряд ли соберутся студенты, а если и соберутся — стоит ли ехать в такой день? действительному статскому советнику можно попасть в затруднительное положение. И Ломоносов по телефону перенёс лекции на завтра, а сегодня и сам вовсе не поехал в город, даже и в контору, остался в покое Царского Села.

Вероятней всего безрассудны и безнадёжны были все эти уличные столкновения,— но колыхалось в груди радостное. И всё-таки часть солдат стала за народ!

Придумали они с женой совершить перед обедом маленькую прогулку: взяли извозчика и поехали вокруг Александровского дворца. Поехали — проверить подозрение: не сбежала ли царская семья? Об этом был слушок и очень правдоподобный, потому что волнения перекинулись и в Царское — и это становилось опасно дворцу.

Так оно, кажется, и было: очень мало стражи стояло, и совсем не было видно шпиков в гражданской одежде, обычно шныряющих вокруг дворца. Впечатление было такое, что во дворце вообще никого нет, как летом, когда царская семья в Петергофе. Да и удивительно было бы, если б они до сих пор не дали тяги.

Возвращаясь домой, встретили на улице каких-то волынцев — часть батальона и почти всех офицеров. Оказалось, часть батальона в городе перешла к восставшим, а эти, лояльные, пришли пешком из Петрограда сюда.

Ну и рабы!

Едва пообедали — жену вызвали в лазарет: по слухам, ночью будут взрывать управление дворцовой полиции, как раз против лазарета,— и всем врачам надо быть на месте, возможны раненые.

Странное время: как будто и многое происходит, каждый час что-нибудь где-нибудь, но всё это рассыпано по разным местам и не узнаётся. Не встретили бы волынцев — думали бы: весь батальон перешёл на сторону народа.

Но сколько бы их ни перешло, хотя бы весь петроградский гарнизон, это ничего не решает. Пришлют с фронта две дивизии с артиллерией — и от всего восстания будет мокрое место. Восстание растёт себе на гибель, оно ничего не может принести, кроме жертв.

А вместе с тем — стыдно и обидно бессилие нашего образованного класса. Все презирают режим, а не могут его столкнуть. Очень тягостно сидеть дома и в бездействии. Решил Ломоносов позвонить по телефону в несколько бойких петроградских семей, где, конечно, близко касаются дела.

Но телефон в Петроград уже не действовал.

Так и просидел вечер дома, в глуши. Уже поздно, к девяти часам, вернулась жена. Рассказала много интересного. Этих волынцев не приняли в казармах стрелкового полка, куда они шли. И несколько офицеров явились в лазарет — сами себя бинтовать, чтобы скрыться тут. Жена категорически

попросила их уйти. Потом явилась и попросила убежища жена начальника дворцовой полиции Герарди с детьми, опасаясь взрыва в их управлении,— и поносными словами ругала императрицу Александру Фёдоровну, что из-за неё должны теперь погибнуть столько хороших людей.

Как же далеко зашло! — если и эта ругается. Положение действительно серьёзное. Нервы напряжены, и каждую минуту чего-то ждёшь.

Сели пить чай — звонок во входную дверь. И кухарка, шлёпая босыми ногами по деревянному полу, поднесла служебную телеграмму из министерства:

„Военная. Инженеру Ломоносову. Прошу вас срочно прибыть Петроград министерство путей сообщения, где на подъезде прикажите доложить мне. По поручению Комитета Государственной Думы член Думы Бубликов".

И по голове Ломоносова, гладко выстриженной под машинку от затылка до лба, побежали мурашки. Это что ещё такое за новое? Бубликова он знал хорошо. Но неужели Государственная Дума осмелилась — и зачем? — захватить министерство путей сообщения?! Дума решилась возглавить революцию?

Или это великая страница русской истории, или балаган.

Расписку о телеграмме Ломоносов подписал дрожащей рукой и передал телеграмму жене.

Что делать? Всё — авантюра, всё — до первых войск. Они придут с фронта дня через два и покончат.

Ехать? — просто на расстрел. Или в камеру Петропавловки. Уже поздний вечер. Уютно, спокойно в доме, дети. И покойно в снежном Царском Селе, ни выстрела. Ехать — безумие.

Но кто уже был революционером в одну несчастную революцию — тому не забыть, и пораженье горит. И революционная верность зовёт. И есть понятие общественной совести. Все думают — заодно. А тебя потом упрекнут, что ты испугался. Десять лет ты был — в запасе, тебя не трогали и не звали.

А теперь — зовут!

Сорок лет, расцвет сил, кому ж и идти? Так ходуном расходилось всё в груди — и опасность, и радость, и вера.

Да хоть поехать только посмотреть, это не опасно.

Встал:

— Собери мне сумку на тюремное положение. Еду!

И вынул револьвер из письменного стола.

223

Сдержал слово Гучков — и вечером в Военной комиссии стали появляться офицеры генерального штаба: полковники Туманов, Якубович, Туган-Барановский. Никого их Ободовский не знал, но тут появился и знакомый ему полковник Пётр Половцов, начальник штаба кавказской „Дикой" дивизии,— прямо с фронта, в лохматой папахе, в черкеске с иголочки, с кинжалом и револьвером, высокий, стройный, с подчёркнутой выправкой и живым сметливым лицом.

Половцова предавно знал Ободовский: когда-то, ещё в Горном институте, лет 16 назад, Половцов передавал ему своё казначейство в студенческой кассе, сам бросая институт и уходя в военное училище. Нельзя сказать, чтоб он к себе располагал, даже наоборот, была в нём холодная перебежчивость и расчёт, но считались знакомы, как-то виделись перед началом войны, собеседник он был интересный — и остроумен, и умён. С фронта? — нет, не совсем прямо, заезжал в Ставку хлопотать по делам дивизии. Такой парадокс: два дня назад был на приёме у царя, поехал через Петроград с Адамом Замойским, а тут... И вот...

Генштабисты внесли в Военную комиссию истинную военную струнку, тон, даже весёлый. Они заговорили между собой в особых интонациях, на особом жаргоне. Тут ещё выяснилось — да кого же Гучков и мог прислать? — что все они из *младотурок*, той группы офицеров, добивавшихся военных реформ до смены чуть ли не половины командного состава. Поэтому были у них общие клички, общие остроты, общие приёмы.

А уж Ободовский-то тем более всегда был за решительные реформы. И с приходом генштабистов ему очень полегчало, спало невыносимое напряжение, что если чего не сообразишь, то и всё может провалиться. Последнее, что он самостоятельно подписал в начале восьмого вечера,— это охрану Путиловского завода, а теперь мог положиться на штаб-офицеров.

За общее дело мог он только порадоваться, да. Но внутри возник и какой-то странный оттенок неодобрения к ним. Почему бы? Ободовский, придя сюда, ничего не нарушил в своём долге, его место — и было на этой стороне. А они все — что-то слишком легко переступили. Ну что это, два дня назад засматривать в царские глаза — и вот, как ни в чём не бывало — здесь? Тот морской офицер, арестованный тут днём, импонировал Петру Акимовичу больше.

А уж Масловский от их прихода вовсе скислился, и сжался в зависти и неприязни.

Но с какой лёгкостью генштабисты сразу вошли в дело как в известное: и какие отделы учредить, и как классифицировать бумаги, и кому чем заняться. Тем более что у них тут же появилась и батальонная преображенская канцелярия с поручиком Макшеевым, полковые писари с пишущими машинками, и преображенский музыкантский хор — для связи. И всё это, и самих себя, перевели на 2-й этаж, и там устроились попросторней, хоть и с низкими потолками.

А пожалуй самое ценное было: генштабисты обладали как будто невидимыми антеннами, выставленными над городом, и могли догадаться, услышать такое, чего остальным бы и не придумать. За один час загадочная враждебная громада Главного штаба стала как бы сотрудником Военной комиссии. Как-то стало сразу само собой понятно, что генерал Занкевич, хотя вчера и командовал войсками Хабалова, но, конечно, никакой не неприятель и вполне может остаться начальствовать Главным штабом. (Сегодня после полудня Занкевич не зря прислал какой-то неважный пакет на имя Председателя ВКГД — дал знак, что признаёт новую власть.) Так же и с генмором — Главным морским штабом — зазвучали телефонные переговоры, будто и не прерывались никогда, и всегда была Военная комиссия Думы — лучший друг этих штабов.

Сразу таким образом получились и сведения, которых иначе не известно, откуда бы брать. Во-первых, что Москва присоединяется к движению: от Мрозовского нет и не ожидается серьёзных распоряжений и сопротивления, воинские патрули не враждебны к толпам с красными флагами, а полицейские посты и вовсе сняты.

Великолепно! Восхитительно! Петроград — не один!

Во-вторых, что к революции присоединяется и Кронштадт. (Да скорей можно было удивиться, почему он не присоединился раньше, вместе с Ораниенбаумом.) Там воинские части ходят по улицам с музыкой — и комендант не имеет сил усмирить их.

Петроград — всё более не один!

Но ещё важнее: генштабисты одним усилием умов здесь, в голых комнатах, уже стали угадывать, как им спутать и грозную силу генерала Иванова. Тем же чувством армейского единства они смогли ощутить и эту силу как свой отдел. А память их хранила все армейские сослужения и взаимные знакомства. И кто-то сразу сообразил: в Главном штабе есть такой подполковник Тилли, служивший у Иванова под рукой на Юго-Западном фронте. Так взять теперь этого подполковника — и послать навстречу Иванову связным: чтоб он объяснил положение в городе и что тут воевать совершенно не против кого! — и так обезвредить Иванова. Нет, ещё лучше, просто и гениально, это придумал едкий Половцов: к этому разъясняющему подполковнику да пусть Главный штаб добавит полковника — *в помощь* генералу Иванову для лучшей организации его штаба! (Или даже — начальником его штаба?)

Действительно гениально! — очень смеялись. Ведь Иванов не выпадает из общей системы российской армии — и вот Главный штаб сотрудничает с ним, а он должен сотрудничать с Главным штабом!

И стали телефонировать Занкевичу.

А об этом анекдоте — как слушатели Академии собирались сегодня атаковать Таврический, так очень просто было решено: завтра из этих слуша-

телей сколько угодно наберём себе в Военную комиссию, не откажутся.

Но как ни гениально всё это придумывалось, однако может быть они по своей штабной замкнутости хуже понимали, чем Ободовский: все их связи, вся их стратегия и карты ничего не спасут, если не будет поправлен революционный дух в казармах так, что масса рядового офицерства сможет возвратиться на свои места — и солдатское доверие встретит их.

И он убеждал генштабистов думать об этом, непривычном для них: им кажется, что младшие офицеры обеспечены само собой,— но это не так.

Тут пришёл от Родзянки сияющий Энгельгардт (ему стоило усилия держать себя выше этих несомненных военных): проект Ободовского обращения к офицерству подписан Михаилом Владимировичем: собираем их в зале Армии и Флота, будем регистрировать и нашим именем выдавать поручения в части.

Хорошо! — радовался и Ободовский. Но с вечно неуспокоенным своим вниманием:

— Господа! А может быть начнём эту работу сейчас, в Таврическом? Ведь тут — немало офицеров, от разных полков, они места себе не находят. Давайте соберём их на совещание сейчас же, вот тут, у нас?

224

Братьям Некрасовым и маленькому Греве в какой-то комнате с толкотнёй и суетой напечатали машинкой на полулистах бумаги удостоверения: „Предъявитель сего такой-то, чин, фамилия, проверен Государственной Думой и должен беспрепятственно пропускаться всюду по городу. Член Думы Караулов". И лихой пожилой офицер в форме терского казачьего войска поставил свою крупную энергичную жирную подпись, поплывшую по бумаге, и напутственно пожал каждому руку.

Но уже отлично понимали наши московцы, что и с этими бумажками нельзя им из Думы даже и высовываться. Уже испытали они, как это бывает, когда никакое спасение не пробрезживает. Повидав, уже не могли они верить, что эти удостоверения выручат их, когда сомкнётся снова толпа расстрелять их и разорвать.

До чего же дошло в одни сутки: как подозреваемых воров, офицеров *проверили*, и вот разрешали свободно ходить по городу!

Безопаснее, чем в Таврическом, нигде не могло им быть сегодня. Возвращаться в свой батальон нечего было и думать.

Итак, оставались они полусвободными пленниками обширного, многолюдного, гудящего и доселе им не известного дворца, куда и в голову им никогда бы не пришло прийти самим прежде. И вот они ходили и ходили, верней переталкивались, отдаваясь течениям, куда их несло. При свободном времени, как у них, тут много можно было посмотреть и услышать.

В большом круглом зале под несветящим куполом, изощрённо отделанном по всему верху, куда не доставал человек,— внизу до того было намокрено и наслежено грязными ногами, что едва вызнавались крупные паркетные клетки пола. А об лакированный деревянный футляр больших стоячих часов почему-то гасили цигарки — и весь он стал в заляпах пепла, а кое-где и окурки пристали. Как, впрочем, и на стенах, на уровне плеч.

Тут много было завалено вкруг стен беспорядочными горками, и ещё возили и выгружали и продукты, и военное, целые свинцовые штабеля патронных упаковок. А два офицера с унтерами тут же разбивали ящики и на корточках собирали пулемёты из частей.

В этой работе и Сергей и Всеволод могли бы им хорошо помочь,— но для кого это всё? против кого?

В другом большом зале, тоже со стеклянным куполом, белом зале заседаний,— набиты были все возвышающиеся полукруги скамей солдатами: сидели втесную на думских местах, и на ступеньках проходов, курили и бессмысленно глазели. Какой-то новый тип солдатского выражения был тут у некоторых, какого братья за всю службу не наблюдали: тупо-довольное, но не радостное даже, и совсем без налёта готовности, офицеров они и не отличали взглядом.

И разительно было видеть столько солдат без строя, команды, организации — просто бродячих, свободных. Дикое впечатление.

А в высоченной дубовой раме за председательским местом свисал лохмотьями изорванный стоячий портрет Государя, аршин в пять высотой. А выше рамы резной венец с короной был не тронут — не достали. Жутко было смотреть, и чувствуешь себя соучастником кощунства.

А между тем и другим залом — в ещё одном великолепном длинном зале, долготою наверно шагов сто, с четырьмя рядами белых колонн и с огромными люстрами,— всё время кипели какие-то ораторствования, сразу в нескольких местах кто-нибудь глагольствовал, подмостясь или не подмостясь. Тут, в Думе, не было подозрения к офицерской форме, все здесь офицеры были как бы примкнувшие к революции, и могли без помех притискиваться к этим сборищам, хоть и сами выступать.

Говорили до потери голоса. Где проклинали кандалы царизма, где вспоминали 905-й год. Совсем непривычные неведомые речи, никогда такое звучащее не слышали. И не видели таких восторженных курсисток, упоённо внимающих оратору,— совсем неизвестный мир, и неужели это всё существовало в России и раньше?

А один оратор, молодой городской штатский, кричал, что вот царь, забывая о внешнем враге, стягивает силы для похода против народа.

— Мерзавцы,— ворчал одноногий Всеволод,— а сами они не забыли о внешнем враге, когда бунтовали?

Но и ворчать надо было потише, опасно. Царило в массе такое нетерпимое единодушие мнений, которого даже в армии не бывает: достаточно было раздаться полугласу против, чтоб этого дерзкого сразу осаживали с бранью.

Безопасность — безопасностью, но мерзко. И откуда так быстро создалось такое внушительное единство? От первых убитых. Вероятно же и здесь не все так думали, но все боялись возражать.

Иногда протискивал через толпу конвой несчастных арестованных полицейских — в мундирах или переодетых в штатское, иногда — в сопровождении жён и детей, не понять — захватили их вместе, или они сами пришли вослед.

Уже достаточно здесь потолкались наши московцы, чтобы заметить, что арестованных уводили на хоры дворца, там были комнаты, приспособленные под камеры,— и там бы сидеть и им троим, если б не встреча с Керенским.

А каких-то видных вели не туда, но первым этажом, коридором в обход зала заседаний. Проводили тут высокого представительного господина в партикулярном платьи с почтенной седой бородой. И он оправдывался перед здешним прапорщиком:

— Я ни в чём не виноват! Я только выполнял свой долг, но, поверьте, нисколько не сочувствовал этим приказам. И совершенно напрасно меня привели сюда.

И противно было от высокого чина слышать такие оправдания, как не мог он думать вчера. А в голове, повторяя круженье Таврического, кружилось и своё одурение — оттого что мало спали, и от двух расстрелов, и не евши со вчера,— и так досадно было, что сегодня в комнате причетника не позавтракали уже принесённым.

Кого-то в каких-то местах дворца кормили — курсистки и студенты,— в основном солдат, это множество одиночек из распавшихся частей и живущее тут новой единой жизнью. То проносили еду в бочках куда-то. Но офицерам было невозможно идти просить поесть. Да невозможно было и накормить всё это человеческое море. То кричали: „Хлеб привезли!",— и все бросались, душились к выходу.

Всё же какие-то расторопные бойскауты выручили их, предложили с подносов по большому бутерброду с колбасой и по кружке чая.

И всё же — безопасность была выше. И оставалось кружиться здесь и день, и вечер, и даже ночь — а перед рассветом, в самое глухое время, когда революционное ликование уложится спать,— уйти по квартирам родственников. И даже разумнее было бы переодеться в солдатское или штатское,— но где же и во что тут!

А пока — всё ходили, смотрели, толкались и всё более осваивались в обширном здании Думы. Уже обнаружили они, побывали в левом крыле, где сохранялся ещё относительный порядок, простор в коридорах, думские служители в ливреях, охраняемые от посторонних комнаты,— здесь-то можно было посидеть, отдохнуть, а то хоть бы и прилечь на пол, московцы так опустились, что готовы были,— но именно тут это было и неприлично. Можно было представить прежнюю жизнь Думы отчасти по этому коридору, отчасти — поднимая глаза ко взнесенным потолкам, карнизам, фигурным верхам колонн, орнаментам, лепке двухглавых орлов, многосвечникам, люстрам, всему ещё не испачканному шарканьем снеговых сапог,— прежняя думская жизнь как опрокинулась вверх дном замершей картинкой. Но и в ту красоту тянул и поднимался табачный дым, густой человечий пар, запахи сапог, сукна и пота.

Около четырёх часов дня раздалась гулко близко пулемётная стрельба — и началась паника во дворце. Действительно, эту толпу как баранов можно было косить тут шутя. Наши московцы обрадовались: свои? надо к ним как-то пробиться навстречу через задние окна в сад. Но тоже пробиться не могли. А потом всё стихло и объяснилось ошибкой.

Шёл вечер, спать хотелось — валились головы, но нельзя представить, где ж в этой круговерти можно офицеру прилечь поспать. Дворец не обещал на ночь обезлюдеть: всё так же горели сотни электрических ламп, и тысячи людей толклись, толклись.

А оказывается, уже стали примечать их характерную тройку как непременную принадлежность здешнего кишения. А кто тут и зачем — знать никому было не возможно. И вдруг какой-то поручик остановил их:

— Ну что ж вы, господа московцы, почему не идёте на заседание?

— Какое заседание?

Оказалось, вот-вот открывается в 41-й комнате на втором этаже собираемое Военной комиссией Думы совещание представителей частей петроградского гарнизона для ознакомления с положением в частях,— и о них трёх так поняли, что они и есть прибывшие представители.

Переглянулись: почему ж и не пойти? Они вполне понимали себя как представители полка, и не худшие.

Повели их ходом, который они раньше и не заметили: там была узкая лесенка наверх, и обычные низкие потолки и комнаты скромные.

В 41-й комнате уже собралось две дюжины офицеров — сняв шинели на вешалку, сидели на скамьях и стульях как ни в чём не бывало, будто в городе нигде офицеров не растерзывали. Только не ото всех батальонов прибыли.

Наши трое тоже разделись. Зарегистрировались.

Лицом к собравшимся сидело три полковника генерального штаба, чистенькие, неощипанные, как полагается самоуверенные. И ещё один, пожилой, видно, что не строевой, полковник Энгельгардт повёл председательствование. Предложил представителям батальонов докладывать, что у кого делается.

Преображенцы и егеря уверяли, что всё гладко. В Измайловском были убийства офицеров. В Семёновском аресты. Штабс-капитан Сергей Некрасов без труда рассказал, чтó в Московском: разгром караулов, разгром офицерского собрания, наводнение казарм рабочими. (Только о расстреле своей тройки было бы нескромно рассказывать.)

Полковники кивали, что им это известно: Московский батальон более других захвачен рабочими, и в нём полная анархия.

Но, горячо говорил Энгельгардт, нельзя представить себе такой обстановки, чтоб офицеры не могли вернуться к своим солдатам. Тогда кончена армия и кончено всё! Напротив, революционный энтузиазм даст новую основу отношениям офицера и солдата, которых раньше быть не могло,— отношений, основанных на полном доверии и гражданском единстве. Напротив, следует ожидать невиданного боевого подъёма у солдат, который принесёт нам скорую и лёгкую победу над немцами. Особенно в этих условиях внешней борьбы со злейшим врагом России Временный Комитет Государственной Думы намерен высоко поставить офицерское звание. Военная комиссия с распростёртыми объятиями принимает всех офицеров — и тотчас снабжает их полномочиями на их прежние или новые посты.

Сергей покосился на брата.

Ещё слишком помнили они вчерашнее своё размягчение, как они отдали оружие солдатам,— и сегодняшних два утренних расстрела. А что они знали об офицерах, оставшихся в батальоне, особенно старших — капитанах Яковлеве, Нелидове, Якубовиче, Фергене? Ещё — живы ли они?

О-о-о, произошло нечто хуже, хуже, невместимое в улыбки Энгельгардта и в бодрые призывы Временного комитета.

Штабс-капитан Некрасов поднялся и сказал в тишине:

— Господин полковник! Господа! Вы же слышали: в батальонах офицеров убивают. Я вам рассказал: вчера днём мы в этих солдат стреляли и не могли не стрелять, по долгу. Какая ж мы к ним депутация завтра? Вообще, все мы — разве можем вернуться к тому, что было до мятежа?

225

Сегодня Гиммеру удалось не пропустить хороший обед — всё-таки товарищи думали о таких простейших потребностях, заботились и друг о друге тоже. Революция — феерия, это замечательно, но покушать с закуской, первым, вторым и третьим — это материальная основа для дальнейшей революционной инициативы. Главное, что удобно — совсем близко от Таврического, в начале Фурштадтской, пошли целой гурьбой. Там жил известный доктор Манухин, когда-то вылечивший Горького на Капри от туберкулёза,— и сам Горький, совершивший маленькую экскурсию по городу, тоже был на этом обеде.

Правда, он же и испортил его. Ото всего виденного великий писатель стался не в духе. Он брюзжал на всеобщий хаос, эксцессы, проявления несознательности, даже на барышень, разъезжающих по городу с солдатами на автомобилях,— и во всём этом видел признаки нашей ненавидимой азиатско-русской дикости, будут вколачивать гвозди в черепа евреев, и это приведёт к провалу замечательно удавшейся революции, а вот европейцы давно бы всё организовали. Гиммеру были просто смешны такие политически-близорукие выводы, и он осмелился спорить (независимый ото всех фракций, он и от Горького старался держаться независимо): что дела, напротив, идут блестяще, два неполных дня, а нет уже ни царского правительства, ни охранки, ни Петропавловки, это просто чудо. А все эксцессы, жестокости, глупость — без этого ни одна революция никогда обойтись не могла, такое теоретически немыслимо. (По сути, Горький — обыватель и судит с обывательской точки зрения, вот и показал себя.) Но другие собеседники поддакивали Горькому, что героев в России всегда было маловато,— и Гиммеру пришлось смолкнуть.

А в общем обед занял много времени. Сговорясь, кто будет ночевать у доктора Манухина, а кто у других знакомых поблизости, разошлись,— и Гиммер ещё часа на два пошёл в Таврический. Он вернулся в отличное состояние и не хотел пропустить ещё доли наблюдения или доли участия в событиях.

Был десятый час вечера. Дворец уже значительно опустел по сравнению с дневным временем, впрочем в Екатерининском сидели на полу, располагались ко сну и уже лежали сотни солдат. Освещение дворца может быть было нормальным в обычное время, но при таком обилии людей теперь казалось недостаточным.

Совет депутатов наконец разошёлся, прозаседав с полудня, но в его просторной комнате всё ещё сидело группками сколько-то солдат, сколько-то штатских, всё не могли выговориться о свободе и успокоиться.

В комнате № 13 тоже ещё оставалось несколько необедавших членов ИК — Гвоздев, Красиков, Капелинский,— и Гиммер энергично вошёл с ними в обсуждение всплывавших вопросов.

Оказывается, за эти часы в Совет, почувствовав, что это новая власть, потянулись владельцы газет и владельцы типографий с жалобами на разорение: почему им не разрешают выпуск? Они демагогически апеллировали к принципам свободы печати, что её не может быть при революции меньше, чем до революции.

Как сказать. Чисто теоретическое рассуждение может далеко завести. Гиммер активно вмешался, пошёл разъяснять недовольным, что уже состоялось постановление Исполнительного Комитета. Что здесь нужна осмотрительность, нельзя оступиться в контрреволюционное болото.

А типографский вопрос был острый, и все партии уже нацелили типографии, которые хотели бы себе конфисковать, и требовалось только решение ИК, ещё сегодня не состоявшееся.

Последние члены ИК расходились, а Гиммер обещал теперь подежурить до полуночи.

Без дежурного никак было нельзя, потому что всё время кто-нибудь врывался. Например, какие-то самочинные группы, наметившие арестовать кого-нибудь из зловредных слуг старого режима, но одни решались совершить это до конца сами (и не встречали сопротивления), а другие приходили всё же за устным или письменным разрешением в Совет.

Новое чувство это было для Гиммера, он изумлялся: ещё позавчера, по сути нелегальный, без разрешения жить на собственной квартире,— вот он сидел в удобном кресле за массивным столом и решал вопрос свободы или тюрьмы для какого-нибудь вице-адмирала — или сенатора Крашенинникова, председателя Петербургской судебной палаты,— а тем более, помнится, который присуждал к трём месяцам думцев-выборжан,— так революция это и есть — возмездие! Прежде всего — возмездие!

Чувство всесилия наполняло революционной гордостью: как же всё перевернулось! И каков уже авторитет Совета рабочих депутатов, если подпись одного неизвестного члена ИК — вот, высшая сила в Петрограде!

Но если не обманываться, у Гиммера не было уж такой полноты власти: наличествовал разгон революционной стихии, и что Гиммер легко мог — это р а з р е ш и т ь арест почему-либо назначенной жертвы, а что было почти бесполезно, это — о т к а з а т ь: всё равно учинят сами или возьмут разрешение у кого-нибудь другого.

Да и какие были у него основания отказать в аресте? Такой арест старательного слуги царского режима был a priori справедлив,— и тем более справедлив, чем этот человек был умней и талантливей, а значит — возможный двигатель царистской реакции или вдохновитель монархического заговора.

В министерском павильоне Думы уже сидело под строгой охраной несколько десятков этих высших сановников, и ещё были места для следующих голубчиков. А для тех, кто помельче,— отведены были комнаты вдоль хор зала заседаний Думы, и там уже было заперто, наверно, несколько сот.

Отлично шли дела!

Гиммер подписывал, группы убегали, приходили другие.

И вдруг с большим драматизмом, с криками, ворвалась группа солдат человек 8-10, одни со штыками, другие без. Гиммер думал — тоже с арестом какого-нибудь генерала. Нет. Они просто клокотали от узнанного ими приказа Родзянки: возвращаться всем по казармам, оружие сдать назад в цейхаузы, принять офицеров, а самим исполнять службу. Уже раскусив, где можно найти управу и защиту, солдаты ворвались в Совет, в надежде получить приказ противоположный.

Со своей исключительной интеллектуальной силой Гиммер во мгновение оценил, нет у з н а л, момент, который должен был прийти! Ах, как же просчиталась буржуазия! Им не терпится вернуть армию в руки офицеров — и они поторопились, они просчитались, они получат обратный эффект! Роковой момент, ожидающий такого же громоносного решения Совета, а сейчас — его лично, Гиммера!

Маленький, он — вскочил навстречу крупным солдатам, пожимал им всем руки, даже некоторым по два раза, благодарил, что они пришли, благодарил за пролетарское доверие, приглашал их всех сесть,— и только когда все уселись, опустился в кресло.

А сам тем временем — соображал как вихрь, в густоте политического сплетения. Он как будто начал беседу с солдатами и всё время что-то подбодряющее говорил им, на самом деле при всей ясности вопроса он не имел

права сейчас высказать вслух решение, но просверливал его, чтобы представить товарищам по ИК.

Ещё бы не понятно было это солдатское состояние! — боязнь утерять мелькнувший призрак свободы и новой жизни. Конечно, оно обращалось недоверием и распалённым негодованием против офицерства. И это состояние надо было уметь использовать для хода революции! А — как? А — как?.. Вот не хватало практической политической хватки.

Пока что Гиммер мог обещать солдатам только: всё тщательно расследовать и поставить об этом вопрос на заседании Исполнительного Комитета.

А вскоре после их ухода ворвался — он всегда не входил, а врывался — Соколов. Он слишком задержался на обеде, но тем более был шумен и весел.

Он выдумал совсем несообразное: привёл какую-то польскую делегацию, вернее трёх поляков, неизвестно кого и какие круги представляющих, и требовал выйти к ним от имени ИК: дать возможность этим полякам поприветствовать русскую революцию.

Хотя в голове крутился солдатский вопрос — но польский вопрос тоже осевой в революции. Ладно, Гиммер уступил. Вышли с важным видом в комнату № 12, откуда служители выносили последние стулья, чтобы завтра Совету было просторнее стоять,— и тут декоративно-торжественно приняли поляков, выслушали их и свою произнесли им речь, желая и Польше не долго задержаться в фазе буржуазной революции, но иметь в виду широкие демократические перспективы.

Зато после приёма Гиммер теперь схватил Соколова за пуговицу, потащил в комнату ИК и там стал обсуждать с ним, выяснять теорию: общую постановку армейского вопроса, как он вставал теперь перед Советом. Не то чтобы Гиммер надеялся получить решение от бестолочи Соколова, но в беседе с ним думал отточить собственное. Вот есть такое распаление солдат: не возвращаться в повиновение офицерам! Такое настроение должно быть правильно канализировано. Это же неповторимый момент! Маркс и Энгельс говорили: дезорганизовать армию — это и условие победоносной революции и её результат. И установка Циммервальда — вырвать армии из-под буржуазного господства. Слышал ты про такой приказ Родзянки?..

Раз в воздухе носится — конечно Соколов слышал, что может его миновать! Правда, самого приказа никто в глаза не видел.

Хорошо, пусть такого приказа даже нет. Может быть, его и нет. Но достаточно было сегодня днём послушать возмутительные выступления Родзянки и Милюкова перед приходящими войсками — там всё это и содержалось: „возвращайтесь в казармы, повинуйтесь своим офицерам!". Но это есть лукавая атака на все достижения солдатской свободы. Цензовые круги открыто и бесстыдно призывают к порядку, к подчинению, послушанию,— пытаются опять загнать революционных солдат в офицерские ежовые рукавицы.

„Восстановить порядок"! — так для этого самого и движется генерал Иванов!

И вот какую тактику предлагал Гиммер. Конечно не выбрасывать открыто антивоенных лозунгов. Мы их пока молчаливо припрятали, и это совершенно верно: пока царизм ещё не побеждён окончательно, пока революционная власть ещё не освоилась и не укрепилась — нельзя нам допускать раскола с цензовыми кругами. Напротив, мы по-прежнему должны подталкивать буржуазию углублять и закреплять революцию.

Но вместе с тем не можем мы допустить, чтобы массы революционных солдат снова попали в плен к офицерству. Совершившийся выход их на свободу неповторим — и нельзя допустить простого возврата в казармы. Нужно нам, Совету, немедленно, завтра же, предпринять какой-то революционный шаг, который обновил бы все взаимоотношения *внутри* армии, создал бы в армии — атмосферу политической свободы и гражданского равноправия!

Соколову — очень понравилось, он — со всем согласился. Он — и сам отчасти уже думал схожее, и сегодня со Стекловым был у него сходный обмен мнениями. Он брался завтра идти с этим на Совет.

Что-то надо сделать, иначе какие ж мы циммервальдисты?

226

Ездил сегодня утром Милюков на Охту в 1-й пехотный полк — и зарёкся, больше по полкам не ездить, это не его работа. На большом плацу пришлось лезть на высокую вышку и оттуда на морозном воздухе кричать, надрывая себе горло — втолковывая неведомой солдатской толпе самые элементарные вещи: что общественную победу надо закрепить, для этого сохранить единение с офицерством, а иначе их полк рассыпется в пыль. Офицеров же призывал (они уже были готовы и рады тому) идти рука об руку с Государственной Думой и помочь организовывать власть, выпавшую из рук старого правительства, захлебнувшегося в своих преступлениях.

И не только было ему физически трудно, неприятно произносить эту речь, и не только не ощутил он реального эффекта от неё, но было до безобразия бессмысленно ему этим заниматься. Найдутся лужёные глотки. Стихия Павла Николаевича была публика университетская или даже западная. С армией что он имел общего? Только то, что сын его неразумный после гимназии кинулся добровольцем и погиб в Галиции.

Милюкову ли сейчас ездить на эти речи низкого уровня, когда именно в его голове столько мыслей, сложностей, планов, и всей силой своего интеллекта и предвидения он должен беспощадно пронизывать быстропеременчивую ситуацию.

Что видели все, что было доступно каждому? Что грозит анархия из-за подрыва офицерства. Что силы реакции ещё не разбиты, и движется извне карательная экспедиция генерала Иванова. И за этими внешними событиями упускали созидательную структуру: к а к же именно надо теперь организовать власть? Никто ещё, кажется, не понимал, какие напряжённые опасные двусмысленности возникали даже в тех немногих нескольких комнатах, где затаилось последнее, что осталось от Думы.

Первая двусмысленность и была — сама эта Дума. Хотя именно в её громких заседаниях, на крылах её авторитета и вознеслись над Россиею все они здесь, хотя ещё вчера клялись Думою и ещё сегодня войска приходили приветствовать именно Думу, и Комитет был думский, и сам Милюков именем Думы приветствовал 1-й пехотный полк, и все раздували именно ореол Думы (как видно теперь — непомерно), да и сегодня среди думцев ещё никто не сообразил и не мог бы высказать сомнительного суждения о Думе,— лидер думского большинства и лидер кадетской партии отчётливо и холодно понял: Дума — умирает. Даже — умерла, где-то между вчерашним и сегодняшим днём. Думы — больше нет, это фикция, от которой пора отрекаться, истинный политик должен отмечать подобные факты без сентиментального сожаления.

Парадокс, какими богата история: более всего добивалась Дума падения царского правительства. А едва добившись — сама стала ненужной. Дума — отыграла всё полезное, что она могла дать, а в нынешние часы вся суть перетекала к новой правительственной власти, которую ещё надо было организовать и взять в руки. Дума была избрана недемократически, по столыпинскому закону, и не может быть авторитетна в такой шаткий момент.

К тому же авторитет Думы, в своё время заслуженно возвысив её лучших лидеров и ораторов, внёс и вредное наследство: тем, что непропорционально вознёс также и авторитет её председателя в глазах общества, но ещё непоправимей — в собственных глазах Родзянки. И теперь он не способен, да и не старается понять истинного соотношения сил и своей ложной роли: из его раздутости ему кажется, что это по его санкции создался Временный Комитет и по его санкции будет создаваться новое правительство, и сам же он его возглавит. И, рассчитывая как-то перехитрить Милюкова и других, он отклоняет разговоры о правительстве, а раздувает свой Комитет. И надо бы поскорей всё вскрыть и назвать, но не удаётся: вчера ночью Родзянку же ещё заставляли взять власть для Комитета, без этого не было пути. (Вот так текут революции: ситуации меняются по часам, спазматически.) А когда Родзянко преодолел свою трусость и решился,— он тут же с первобытной простотой потребовал ото всех членов полного себе подчинения — какого-то неслыханного феодализма, которого не было даже в царских правительствах. Все думцы и Милюков

просто остолбенели. Для таких случаев была у них о Родзянке известная фраза:

Вскипел Бульон, потёк во храм.

Остолбенели: каковы же аспирации, ничего себе! Но в ту минуту возражать было ещё рано. А вслед за тем грянула новость о карательных войсках, и тем более Родзянко стал нужен, чтоб остановить войска. Так и держался весь сегодняшний день невзорванный нарыв, и приходилось его толерировать.

А тем временем по вызову Милюкова сегодня из Москвы приехал уже и князь Георгий Львов. И надо было принять Львова в Таврическом и не сталкивать их носом к носу с Родзянкой, тоже дипломатия. А Львов так жаловался по телефону на усталость и очень просил, нельзя ли отложить встречу на завтра. Это неприятно поразило Милюкова: как можно настолько не чувствовать темпа событий!

Приехал. Сели беседовать с ним в одной из комнат. Милюков пытливо — так близко и так пристально, как ему ещё не приходилось, смотрел на этого низкорослого, очень аккуратно причёсанного, волосок к волоску, очень чистенького, очень вежливого, очень мягкого князя,— может быть потому так отличного от них тут всех, таврических, что он не провёл бессонной ночи во дворце, а хорошо спал в поезде и ещё после поезда на частной квартире привёл себя в порядок. А может быть потому, что он московский? А может быть потому, что он земский и никогда политическими делами, если раздуматься, не занимался, кроме последних месяцев всеобщего ажиотажа? Да, вот парадоксально! Во все твёрдые глаза смотрел Милюков на князя и удивлялся: как будто он *не наш*, из другого теста, не из общего потока общественности, не возбуждается, не тревожится тем, что всех их возбуждает и тревожит. Он как будто не ощущает обжигающих событий вокруг или во всяком случае опасается вмешаться в них.

Львов высказывался осторожно, благостно-расплывчато, а когда можно было вообще не произносить, а слушать,— то предпочитал слушать.

И засосала в груди Павла Николаевича самая тоскливая тоска, какая только может быть: тоска сделанной собственной ошибки. Как будто — не с той женщиной обручился, а свадьба вот уже подкатывает,— не вырваться, не исправить. Эту кандидатуру вместо прущего давящего Родзянки Милюков сам же и предложил, и продвигал, доверясь земской славе князя, времени не имев проверить самому. А теперь — все поверили и приняли, и Львов приехал, и поздно переигрывать.

Да собственно, он — неизбежен, Львов. Только на такую нейтрально-общественную фигуру и согласятся левые. А без левых в правительстве нельзя, надо восстановить с ними утерянный фронт.

Да даже угадывал Павел Николаевич и раньше некую слабость князя Львова, но думал, что это-то и облегчит потом отстраненье его. Не рассчитал, что власть придётся передавать в такие бурные дни, как сейчас: никто не мог предвидеть такой мгновенной и решительной катастрофы.

А засосало, что на таком кандидате можно всё проиграть, даже и временно не продержаться.

Подсели ещё несколько депутатов, разговаривали. Выглядело как пустой салонный разговор, а не приход вождя. И на тихий вопрос своего соседа:

— Ну, как?

ответил Павел Николаевич тихо:

— Шляпа!

И это было то самое основное *лицо доверия*, на котором должна была теперь успокоиться вся Россия!

Посидел-посидел князь Львов как в гостях, и даже в голову не пришло ему остаться бы в Таврическом на ночь, обсуждать состав своего же правительства, быть наготове к возникающим обстоятельствам,— посидел, откланялся и ушёл почивать на квартиру.

Да Милюков его даже не уговаривал: подумал, что самому вести торговлю о правительстве будет и проще. Он сегодня и на кадетском ЦК, за завтраком у Винавера, также обошёл обсуждение состава новых министров, это было не нужно.

Милюкову и вообще по-настоящему никто не был нужен или близок. Даже с самыми смежными товарищами по партии он избегал отношений личных: утомительно было распространять симпатию на частные стороны жизни и не менее утомительно встречать такую симпатию к себе. То ограниченное количество нежности, которое отпускается нам от рождения, естественнее и приятнее потратить на дам или единожды в жизни решиться даже на смену жены.

Но сейчас попадал Милюков в изоляцию большую, чем даже привык и хотел бы. Шингарёв был — тень его, работник, но не вождь. С болваном Родзянкой он еле себя сдерживал. С Маклаковым всегда была отдалённость и неприязнь. С Винавером соперничество, да он сейчас не в игре. С Некрасовым — стычки. С Гучковым — глухая давняя вражда. Из тех, кто сейчас тут вокруг вращался, Милюков едва ли даже не предпочёл бы Керенского. Но!

Но! Punctum saliens! Давно Милюков подозревал и замечал, его предупреждали, а в эти критические часы он даже и убедился, что между этими столь разными людьми, как кадеты Некрасов и Коновалов, и квази-эсер Керенский, даже не мыслимых, кажется, в соединении, существовала и вот явно проявлялась какая-то сокрытая связь, неожиданное согласие в самых парадоксальных вопросах. Как будто они специально по каждому вопросу успевали сговориться втайне от Милюкова.

Бессомненно, эта тайная связь не могла быть ничем иным, кроме так известного, но и так тайно и успешно скрываемого масонства. Масонство — оскорбляло Милюкова. Ему предлагали вступать, даже не раз, он всегда отказывался. Не только его рациональной натуре была чужда, коробила всякая мистика,— но даже это казалось какой-то невзрослой игрой. А ещё и нечестной, ибо масонство отменяло всякие личные таланты и заслуги, заменяя сговором членства. Это было бы подавлением индивидуальности.

Но как в переплывающее тесто — нельзя было в масонство твёрдо ударить, указать, критиковать. Мнимая пустота и мнимое недоумение.

Так и сейчас при подборе кандидатов в министры — чем иным можно объяснить такое противоестественное единство их мнений: ввести в правительство — Терещенку, бездельного молодого миллионера, ничего не умеющего, ни к чему не приспособленного и никому не известного. Просто скандал, как это можно будет представить публике? Что за него были Гучков, Коновалов — ещё можно было понять, они дружили и вместе в военно-промышленном комитете. Но почему — туда же и Некрасов, столько мотавший кадетскую фракцию своею левой оппозицией? Почему и Керенский, вопреки всем своим партийным позициям — тоже за Терещенку? Только — сговор.

Милюков изо всех сил старался их расколоть, играя именно на Керенском, но ничего не выходило.

Керенский, в эти дни всеобщий кокетливый герой, вёл себя исключительно непринуждённо. Он всё время вбегал и убегал, заботясь сыграть свою роль в обоих крылах дворца, а больше всего — посередине, в массе, то где-то принимал арестованных, то приносил кем-то бестолково притащенные в Таврический документы,— и во всём рисовал себя спасителем. То разваливался рядом на диване, готовый теперь уже до утра обсуждать состав правительства. То через пять минут вскакивал и опять убегал.

Ещё не был принципиально решён вопрос, войдут ли в правительство социалисты,— а они могли потребовать много мест. Переговоры с ними ещё формально не велись, а приглашались пока персонально Керенский и Чхеидзе, они же оба не хотели соглашаться без Совета депутатов. Но счастливо упоённые глаза Керенского выдавали его: здесь, на диване, обсуждение состава правительства конечно были счастливейшие его минуты. Да иначе быть не могло, всегда Милюков был уверен в его политическом реализме. Никакая социалистическая игра не могла же сравняться с увесистым министерским портфелем. Каким именно? Для третьестепенного адвоката трудно было придумать что-либо, кроме министерства юстиции.

Но тогда окончательно оттеснялся кадетский кандидат Маклаков. Но это было и неплохо: Маклаков всегда был кадет какой-то не настоящий.

А куда совать Терещенку? Совершенный ребус.

Тут вбежали с сенсационным известием: в Думу явился Протопопов!

Сам?? Потрясающе! Побеждающе! Какое возмездие! Уже ничто не могло остаться на местах! — Керенский взбросился на половине фразы и унёсся вершить власть. Многие любопытные поспешили за ним. Зрелище было, конечно, пикантнейшее.

Однако Милюков не пошёл. Во-первых, его положение было слишком солидно, чтобы выйти досужим зрителем. Во-вторых, политический противник имеет значение лишь пока он занимает позиции. А *лично*,— лично Павел Николаевич так же никого не ненавидел, как никого и не любил.

А происходило вот что. Протопопов, в дорогой шубе, пришёл в Таврический и вошёл внутрь, никем не узнанный. И может быть мог так и дальше идти, хоть и в думский Комитет, но растерялся в новой обстановке дворца, нервы его не выдержали. Он сам выбрал и обратился:

— Скажите, вы студент?

— Студент.

— Пожалуйста, проводите меня к членам Государственной Думы. Я — бывший министр внутренних дел Протопопов.

Первый раз он назвался *бывшим*. И тут же, неврастенически играя выразительными глазами, добавил, что желает общего блага и потому явился добровольно.

И настолько это получилось частным образом, и настолько его не узнавали,— да кто его знал? солдаты его не знали, и фамилии не слышали,— что студент спокойно потолкался с ним вместе до какой-то комнаты, где сидели-беседовали члены Думы.

Те — изумились (даже больше, чем возмутились). А Протопопов — мял меховую шапку в руке и с неврастеническим извинением улыбался, и пытался говорить приятные фразы.

Тут, среди думцев, не нашлось железного человека, который бы распорядился, но, разумеется, никто не пригласил его и сесть. Так он стоял и мялся у дверей.

Но кто-то мгновенно бросился с известием — и вот уже в распахе двери показался струнно-гневно-неумолимый Керенский. Он был вытянут, сколько допускали кости, строг, бледен и даже прекрасен.

И обернувшийся Протопопов, со всем раскаянием, заискиванием и надеждой, произнёс почти невозможное, никто ещё так не выражался:

— Ваше превосходительство! Отдаю себя в ваше распоряжение.

Да отроду не слышали! да не готовы были услышать такое его уши! Но и это же — умягчило его сердце. Хотя он так драматически звонко объявил, что слышали за дверью и все в густом коридоре:

— Бывший! министр! внутренних! дел! От имени! Исполнительного! Комитета! — (непонятно было, думского или советского) — объявляю! вас! арестованным!

На крик стали толпиться за дверью и даже внутрь. Никто этого облезлого барина не приметил, а он оказался самый главный враг, чо ль?

Арестованным? Протопопов, счастливо облегчаясь, будто этого только и ждал, и желал! — имел однако бестактность подшагнуть к Керенскому и пытался сказать ему что-то конфиденциально.

Но беспорочно недоступный Керенский отклонил недостойного властным движением узкой руки — и ею же взмахнул само собой появившемуся конвою, указывая вести.

И двинувшись вперёд, той же рукой трагически помавая, восклицал в толпе:

— Не прикасаться к этому человеку!

Коли б он не кричал — никто б того барина и не подумал трогать, а тут уже и руки сами вытягивались, время такое — укажи, кого рвать. Вот-вот на темя ему могла опуститься рука или приклад.

Протопопов бросал отчаянные взгляды, вымаливая себе откуда-нибудь спасение.

Может и пожалели.

Как прокажённого, как ведомого на казнь или ещё что худшее, с ружьями наперевес, повели этого, в шубе съёженного,— и толпа расступилась, отдавая его на расправу несомненную.

Так и шли, через Екатерининский наискось, а потом коридором до министерского павильона, и сквозь пару преображенских часовых.

И только за последней дверью Керенский, уже не так вопленно, голосом уменьшенным, но всё ещё неподкупно строго, объявил прапорщику Знаменскому:

— Господин караульный офицер! Бывший министр внутренних дел желает сделать мне какое-то секретное сообщение. Потрудитесь провести его в отдельную комнату.

И сам снисходительно прошёл туда же.

Протопопов, пережив спасение от толпы, с горячечно благодарными глазами за самую малую тень покровительства, повторял так пришедшееся:

— Вот, ваше превосходительство... вот...

И совал Керенскому какой-то ключ.

Он так был нервически потрясён, слова не выговаривались чётко,— Керенский не сразу понял, что этот ключ — от ящика письменного стола в министерском доме на Фонтанке. А в том ящике найдётся другой ключ, уже от несгораемого шкафа. А в том шкафу в газету завёрнуты 50 тысяч рублей, принадлежащие графу Татищеву.

— Зачем же там его деньги?

Протопопов даже извивался плечами, так ему было стыдно. Речь вернулась к нему, он говорил быстро и сбивчиво.

Собственно, это уже деньги не графа, а министерства внутренних дел. Они принесены в вознаграждение за некоторую поблажку. Но Протопопов, разумеется, не взял себе ни копейки. А так и было решено, что деньги эти пойдут на помощь семье убитого Распутина.

А теперь Протопопов жертвует их новой власти.

227

Подхватистый преображенский унтер Фёдор Круглов, самозванный начальник караулов по Таврическому, быстро сообразил, что ни один из постов его, часто сминаемых толпою, не имеет такого значения, как этот — у входа во временную тюрьму бывших министров.

Никогда Круглов не служил тюремщиком, вряд ли сидел и сам, но по наклонности быстро усвоил может быть слышанное урывком, и сегодня с утра, когда стало подбывать высокопоставленных арестантов, он толково применял тюремные правила: должны были все арестованные быть обысканы и всё из карманов отнято; должны были все арестованные целосуточно сидеть на стульях и в креслах, а не лежать на диванах (которых и не могло на всех хватить). И никто из них не мог встать пройтись, расправить ноги, пока не будет дана, в день раз или два, общая для того команда. И не подходить к окнам, иначе из сада будет стрелять часовой. Чтоб сообщить о своих потребностях, должен был арестант поднять руку и молча её держать.

Несколько раз приходил сюда Керенский как главный шеф арестного дома. Он же объявил и порядок всеобщего гробового молчания: не должны были арестованные разговаривать между собой, даже обмениваться самым незначащим, а только отвечать на вопросы караула и должностных лиц.

Для уследки за всем тем по комнатам у стен расставлены были вооружённые солдаты. (На эти посты, по ротозейности их, добровольцы всё время находились.) Сам же унтер Круглов, отрываясь от других постов, всё чаще и чаще приходил сюда и прохаживался тут, вокруг сидящих, удивляясь судьбе, вознесшей его надо всеми вельможами.

И Керенский так был им доволен, что властно положил свою лёгкую руку ему на погон:

— Пришейте себе четвёртую нашивку, я вам добавляю!

И хотя во всей русской армии ничего подобного не было — четвёртой унтерофицерской лычки, Круглов сообразил, что это сильно его возвышает,—

и к вечеру она была вырезана и пришита, удивляя сидящих тут генералов.

У Круглова были углубистые глаза, и лаистый голос, он обрывал попытки говорить или просить. И когда кто-то из обслуги обратился к сидящим „господа", он окрикнул: „Не господа, а арестанты!".

Чем сильней было давать перевес, тем крепче будет новая власть.

И вот в этом одноэтажном павильоне, сбоку пристроенном ко дворцу, так и предназначенном для министров в перерывах думских заседаний, теперь собирались — частью министры последних правительств, частью разные сановники или видные деятели (иногда по случайному капризу обстоятельств или мстительности своих врагов). Большей частью они пришли сюда одетые тщательно, в крахмале и отутюженности, они вообще не одевались иначе. Многие из них, самые важные, попали за овальный стол в зале министерских заседаний — как будто для важного заседания.

И они — всё имели в голове, без бумаг, для такого обсуждения. Тут было три премьер-министра, и много долголетних министров, и все они не раз писали весьма рассудительные докладные своему Государю и делали всеподданнейшие доклады — со значительным пониманием государственных проблем, гораздо более высоким, чем их обвиняли в Государственной Думе. И все они держали в памяти череду государственных дел, осуществлённые и упущенные возможности за много лет,— и так лучше многих членов Думы могли оценить всё происходящее, утешая или растравляя друг друга. Все вместе они держали в голове ещё цельный образ и смысл государственной России,— но обречены были никому его не передать, и самый обмен мнениями был им запрещён.

За соединительным коридором гудело многотысячное солдатское море, невообразимо перемешивались лица,— тут люди одного слоя и тона были посажены каждый как бы в невидимую одиночную клетку — травить самого себя собственным бедственным жребием. В этой неподвижной затёклости и молчанке вокруг общего большого стола государственные соображения в их головах были затмены и утеснены собственной бедой. И всего-то они могли ждать только — как бы им поесть, да разрешили бы ночью не сидеть, а прилечь, хоть и в этой одежде, хоть и мучение не менять одежды на ночь.

Сперва через окна вливался ярко-солнечный день, потом он перешёл в пасмурный, даже со снегом. Однажды сильно стреляли близ дворца, так что металась надежда на освобождение. Но кончилось ничем. И вот потянулся изнурительный долгий вечер при лампах.

Самого последнего ненавидимого правительства, которое только что было свергнуто, как раз почти и не было: ни Беляева; ни Протопопова, которого, роя землю, искала вся столица, а числили уже в Царском; ни Риттиха, ни Раева; ни Покровского, ни Кригер-Войновского, ни Григоровича,— к трём последним благоволило общественное мнение, а главные разыскиватели на арест были студенты. Сидел тут только князь Голицын, столь же недоуменно-неуместный здесь, как и недавно во главе правительства; да стареющий эпикуреец Добровольский, наиболее комфортабельно попавший под арест: сам позвонил о сдаче из итальянского посольства, и Родзянко прислал за ним автомобиль; да более всех виновный Рейн, несостоявшийся министр здравоохранения, запрещённого Думой; да позже привели Шаховского, Барка и Кульчицкого.

Зато были два предыдущих премьера — 77-летний хладнокровный Горемыкин с опущенно-разведёнными бакенбардами, не упустивший прихватить с собой и коробку сигар, сокращавших ему тут время. (А привели его, навесив для глумления поверх шубы цепь Андрея Первозванного.) И 70-летний Штюрмер с помятой вялой бородой и дрожащей челюстью. Зато было несколько заместителей министров — иногда случайных, иногда известных твёрдыми убеждениями. Зато памятливое общественное мнение выхватило сюда, вдобавок к Щегловитову,— врача Дубровина, председателя Союза Русского Народа, и нескольких видных правых из Государственного Совета — Ширинского-Шихматова, Стишинского. (А митрополита Питирима, как он расслабился и заболел у самых дверей, так и не довели, отпустили.) Обман Хабалова не помог, арестовали и его. Несколько чинов градоначальства, во главе с Балком. Злополучный хлебный уполномоченный Вейс. Попался и Курлов, никак не

ожидавший себе ареста и застигнутый дома утром,— сидел вот, низкорослый, с прищуренным одним глазом и сигарой в углу рта. Несколько генералов, начальник Военно-медицинской академии, начальник военно-учебных заведений да начальник военно-морского корпуса вице-адмирал Карцев, да адмирал Гирс, да начальник управления железных дорог. А остальные — мельче, незначительней, и не все уже принимались в этот павильон, отводили их на второй этаж.

Так, кроме нескольких сильных лиц уверенных убеждений, состав собранных арестантов поражал своей незаконченостью: неумело ли были проведены аресты? или некого было в императорской России брать?

Новые узники сидели в своих прозрачных одиночках по нескольким смежным комнатам, иногда открывался вид из двери в дверь, можно было досмотреть туда и так догадаться, кто уже попал и кто ещё не попал. Сановные пленники ревниво оглядывали друг друга, с удовлетворением находя знакомых („не я один'') и с завистью не находя известных одиозных лиц, как Николай Маклаков или Протопопов. С обидой видели, что главный виновник всех последних месяцев — словчил и ускользнул! Но вся свобода узников была — вертеть молчаливой головой да жаловаться про себя.

Вся их оставшаяся свобода была — под столом подбирать ноги или отпускать их. Выход в уборную разрешался по одному, с выводным, не часто и не сразу, как старикам бывает и трудно. Вот только когда узнали они неоцененную степень своей бывшей свободы, даже в обиженной отставке: передвигаться, разминать ноги или давать хребту отдыхать в постели.

Иногда несколько курсисток приносили им поесть: бутербродов и чая, так и ставили на столы перед ними. То и было всё разнообразие в их суточном сиденьи.

Да с важностью входил Керенский, обходил комнаты напряжённо-торжественной фигурой:

— А, Стишинский! Однако вы могли бы встать, когда с вами разговаривает член Комитета Государственной Думы.

Керенский привёл и прапорщика Знаменского, никому не известного своего приятеля, объявив его начальником караула павильона, над Кругловым. Курсисткам Знаменский назвался, что — педагог, но прирождённая хватка у него оказалась тоже тюремная и сильный голос для окриков, хотя он обращался мягче Круглова. Однако весь установленный жестокий режим при нём не ослабел. Так же с зычностью поднимали призрачный мир сановников:

— На прогу-у-улку! Внимание, часовые! В случае неповиновения — применять оружие! Всем, всем подниматься!

Но не приходилось им надевать пальто, шуб (да деть их было некуда, сановники так и сидели просто в них или держа их под собою в креслах),— а вставали, как были, иные пошатываясь, и, повинуясь педагогической длани Знаменского,— шли гуськом в затылок вокруг своего стола, по-за стульями, по-за креслами своих коллег, раз в круг добредая минуть и собственный свой стул.

И так брели они этой странной вытянутой вереницею, только пожилые и старики, чередуясь гражданские в белом крахмале и военные с тяжёлыми витыми эполетами, все дородные, все вальяжные, многие ходившие в придворных церемониях, а вот теперь здесь,— отсиделыми ногами, а кто с кружащейся головой, без права поворачивать ею, лишь глазами коситься,— замкнутой овальной чередой, как не ходят нормальные люди, и уже некоторые не зная вскоре, не лучше ли рухнуться в своё кресло,— пока не звучала тем же густым голосом команда:

— Са-дись по местам.

Было ещё у стен полдюжины коротких бархатных диванов, и прапорщик Знаменский определял на глазок, кому разрешить на ночь лечь.

Молчали гробово.

Только растравленный адмирал Карцев несколько раз за вечер вдруг вскрикивал сильно:

— Дайте воздуха!.. Душно, дайте воздуха!..

228

События кипели где-то, но к царскосельскому Александровскому дворцу докатывались только слухами и более всего не через должностных чиновных лиц, а через прислугу. Слух был, что в Петрограде убит камергер Валуев. Слух был, что пробрался в Царское начальник петроградского Охранного отделения генерал Глобачёв, его отделение разгромлено со всеми тайными бумагами,— но это он рассказывал начальнику дворцовой полиции, а сам не сделал попытки доложиться императрице. Пришёл ужасный слух, что подожжён дом графа Фредерикса, а графиня отвезена в больницу. Похоже было, что в Петрограде и всё разгромлено, что могло стоять, что было властью, а новый думский комитет Родзянки не владел положением. И даже, рикошетом от столицы, достиг слух, что и сам Протопопов — в Царском, и даже прячется здесь, во дворце, или у Вырубовой,— и из-за этого будут громить дворец. (А что Вырубова приносит несчастье — это вся прислуга почему-то считала так.)

Ах, Александр Дмитриевич, надежда царской семьи! — отчего же он не спас ничего?..

И в самом Царском усилялось брожение. Говорили, что броневики подошли к Софийским казармам стрелков и поднимали их куда-то. Что в царскосельской ратуше собирались солдаты и офицеры. Изредка издали доносились выстрелы — как будто громко кололи дрова. К вечеру сгустилось ощущение подступающей опасности.

Но ничего реально дурного не присходило близко, никакие мятежники на виду не появлялись — и свободен оставался проезд к Фёдоровскому собору, где в 7 часов был назначен молебен о здравии цесаревича. Государыня поехала с единственной здоровой Марией, а также немало офицеров Конвоя и Сводного полка.

Чудный был молебен, но душа не стала легка. Возвратились во дворец так же беспрепятственно, однако здесь — то от баронессы Буксгевден, то от четы Бенкендорфов, от мадам Шнайдер и от Лили Ден, государыня узнавала жуткие новости, которыми уже был угнетён дворец: в Царском солдаты разбили несколько винных лавок и погребов (заходили распивать в соседние дома, а если их не впускали, то разносили двери),— и это были императорские стрелки?? Да и при закрытых окнах была слышна усилившаяся беспорядочная стрельба, а при открытых форточках — и игра военных оркестров, то как будто гудел морской прибой или как изображают шум толпы в операх. Передавали, что освобождены арестанты из тюрьмы. Но самых страшный слух был, неизвестно как пришедший, но уже уверенный во всём окружьи: что из Колпина к Царскому валит огромная толпа, называли тридцать и триста тысяч, тамошних рабочих и всякой восставшей черни,— идут сюда, громить дворцы!

Но, правда, немалая же сила стояла и на охране дворца. Прямо во дворце, в его обширных подвалах и примыкающих казармах, были собраны: две роты Конвоя — терская и кубанская, одна рота железнодорожного полка, два батальона Сводного гвардейского — и уже пришли из Александровки две роты родимого гвардейского экипажа, и ещё была батарея воздушной охраны во дворе, пушки которой теперь наклонили и направили к воротам. И несколько дворцовых генералов былю во главе, а генерал Гротен — и воевавший, с фронтовым опытом. Вдоль дворцовой ограды вкруговую была расставлена цепь. Вне ограды разъезжали верхом казаки Конвоя.

Сила была немалая, и все преданные, все верные, готовые к защите — и против них разрозненные расстроенные солдатские толпы не должны бы иметь силы, да они не пытались и приблизиться.

Но вдруг сами воинские начальники обнаружили, что их части, так долго содержимые для лейб-защиты Их Императорских Величеств,— как же могли быть применены? Если принимать бой и защищать дворец — то при перестрелке могут получить повреждение члены августейшей семьи, да и сам дворец?

Обратились за разъяснением к Ея Величеству.

Александра Фёдоровна сохраняла всё мужество и наружное спокойствие,

она словно совсем перестала испытывать в эти дни свои беспрерывные измучивающие болезни. Она была здесь сейчас как бы старший из генералов, первый комендант своей дворцовой крепости, несомненный начальник этого пёстрого гарнизона. И власть была ей дана — пожалуй, впервые в жизни, не опосредствованно, не через влияние на царственного супруга, не через приказы послушным министрам, не влиять-уговаривать,— но прямая власть применять силу и открывать огонь.

И, всю 45-летнюю жизнь томившаяся от невольной женской своей ограниченности, оттого, что не открыта ей прямая власть над событиями,— в этот великий день событий и при собранной всей своей решимости, смелей и властней всех этих придворных мужчин и генералов,— императрица почувствовала, что уверенность решений изменяет ей. Все предметы вдруг задвоились, затроились — и она перестала единственно верно видеть: как же следует поступать?

Давать бой?..

Единовластие оказывалось совсем не прямолинейно, каким Александра Фёдоровна видела его всю жизнь.

Угроза разгрома дворца, шальных пуль, залетающих в окна, может быть и к детям (может быть и к наследнику!), и возможные раны и смерти любимых чудесных конвойцев, которых знала она в лица и по фамилиям, и семьи их, и гвардейских матросов (столько спутников яхтенных прогулок!), да и гвардейцев Сводного полка,— да даже не только их, но и тех, наступающих, не известных поимённо, но тоже наших, императорских гвардейских полков,— обессиливали её приказать бой.

А те колпинские рабочие, которые только и рвутся для грабежа и мести и может быть подкатят сюда через час? К ним — у неё не могло быть жалости?

Сколько травили её и кляли, что она — немка, что она — чужая, не считает народных смертей, а жалеет только немецких военнопленных,— от одного этого висящего обвинения, если не просто как христианка, воротившаяся с церковной службы,— она не могла приказать стрелять!

А стрелять в эту колпинскую толпу — это был бы ужасный повтор ужасного 9 января, этот распад ума, когда, имея всё оружие, ты беспомощен что-либо сделать.

Сколько раз в колебаниях и растерянности мужа императрица дрожала от порыва к действию! И вот — прямо к ней обращались генералы за приказом, а она ничего не могла повелеть, кроме слабости.

Расслабились брови над её глазами и разжались губы.

Порог решения.

А ещё то, почему-то, добавило страшности, что вдруг погас электрический свет по всему Царскому Селу, кроме дворца,— и ночной мятеж в этой мгле показался особенно затаённым и угрожающим.

Тут баронесса Буксгевден позвала её к окну. Там, на площадке перед дворцом, освещённый фонарями и окнами дворца, генерал Ресин выводил и расставлял две роты Сводного полка — очевидно, готовился к близкому бою.

И действительно, ружейные выстрелы, казалось, приближаются. И кто-то сказал, что в пятистах шагах отсюда убит полицейский на посту. Вот-вот начнётся стрельба и здесь, и прольётся кровь на глазах! А ещё же — сколько беззащитных постов расставлено вокруг решётки парка! Нет!! Этого нельзя допустить!! Кровь — не должна пролиться, и тем более — на глазах!!

— Ради Бога! ради Бога! чтобы ради нас не было крови!!

Но — как же?

Государыня распорядилась: все войска ввести внутрь дворцовой черты. И — снять посты за парковой решёткой.

Но если не воевать — тогда неизбежны переговоры?

Да, очевидно так. Да. Как-нибудь уладить, договориться. Послать парламентёров.

Кого же? куда? к кому?

Придумали: начальника дворцового управления князя Путятина послать — куда же? — в ратушу, где мятежники собираются, и предложить

нейтралитет: дворцовые войска не станут стрелять, если не будет внешнего нападения.

Повилась размытая черта между мраком города и ярким светом дворца. Ожидание. Иногда оттуда надвигались, с криками или песнями. Отходили.

Но нарушился строгий недопуск. Проникали какие-то неизвестные личности и в полутьме шептались с дворцовыми. Во дворец просочился и распространился расслабляющий слух: что если только вздумают защищаться, то артиллерия откроет по дворцу разрушительный огонь. И хотя комендант Царского ещё днём предупредил, что царскосельская артиллерия не имеет снарядов,— сейчас нелегко было убедить рядовых защитников, что это — действительно так.

Возбуждение поднялось и на верхи. Во дворец собрались многие придворные чины, жившие вне, как Бенкендорфы или Апраксин,— а теперь им следовало оставаться здесь и помещаться едва ли не в комнатах прислуги.

Усвоив и развивая принятое миролюбие, граф Апраксин испросил повеления государыни перевезти больную Вырубову со всеми её четырьмя сиделками и тремя докторами — куда-нибудь вовне дворца, чтоб ослабить напряжённость и опасность для остальных.

Императрица изумилась: она сказала — миролюбие, но разве это значит предавать друзей?

О! сколько было пережито, изжито и подавлено в её отношениях с Аней за 14 лет! Не было у государыни женской души доверительней и капризней, и надоедней, и даже такого предмета растравной ревности,— но в голову бы ей не пришло пожертвовать Аней для благополучия остальных. Перевозить её в кори, когда детей она не решилась перевозить.

Скорей, она видела теперь, ей придётся расстаться с этим графом.

Возвратился князь Путятин из ратуши. Перемирие принято,— но пусть на дворцовых патрулях будут белые нарукавные повязки — в знак миролюбия.

Хорошо. (Разорваны две скатерти на повязки.)

И дворцовый гарнизон пусть пришлёт своих представителей в революционную комендатуру.

Хорошо.

И пусть пошлёт парламентёров в Государственную Думу в знак признания её.

Ничего больше не оставалось. Хорошо. (Незаметно и без боя дворцовый гарнизон включался в бунтующий.)

Но торжество было в том, что избегнуто кровопролитие.

Тут передали из почтовой конторы по телефону, несказанно обрадовали государыню новой телеграммой от Государя, уже из Лихославля. Он подтверждал, что завтра утром надеется быть дома.

Ну слава Богу! Ну слава Богу! Завтра будет сам, и кончится эта неизвестность. (Едва ли не впервые в жизни она воспринимала своего мужа как твёрдого повелителя.)

Всего оставалось пронести бремя императорской власти — до утра.

Но тут стали докладывать, что дворцовые части в смущении, на них подействовали вести и угрозы извне. Были даже глухие намёки — уйти из дворца.

Офицеры обходили свои роты и подбадривали, что наступил момент доказать на деле свою преданность Государю.

О нет, не так! Тут — знала государыня приём. Сколько раз какое воодушевление, восторг испытывали все полки, которые объезжал смотрами Государь, да ещё с наследником. Надо понимать эту немудрёную народную душу: они — обожают царственную семью и на царских глазах готовы на всё.

И Мария Антуанетта сейчас пошла бы обойти строй своих швейцарцев.

И решила императрица: сама обойти фронт своих войск в дворцовом дворе. Её предупредили, что очень холодает. Но она как будто забыла свои бесчисленные болезни, никогда она не двигалась так уверенно, как эти дни.

Вот сейчас они взглянут на неё, верные души,— и воспрянут, и выпрямятся, и будут готовы на любой смертный подвиг!

Большой дворцовый двор был освещён сильным электрическим светом — и в нём выстроили в карре несколько рот. Мороз набрался — 23 градуса по

Цельсию, и крупно вызвездило небо сквозь всё электрическое осиянье. Слышались постреливания и песни в тёмном Царском Селе. Выстроенных предупредили не отвечать на приветствия громко.

На высоком крыльце распахнулись широкие двери. Вышли и стали по сторонам два нарядных лакея, над собою подняв серебряные канделябры с зажжёнными свечами, хотя и не добавлявшими света во дворце.

В шубе и белом пуховом платке вышла высокая, ровная, жёстко-величивая императрица, на закинутой голове как бы неся невидимую корону.

Рядом с нею в меховой шубке шла полноватая миленькая 18-летняя Мария, совсем без величия.

Войскам негромко отчётливо скомандовали.

Снег скрипел под ногами.

Царица и царевна обходили ряды, кивали, улыбались — ведь они не могли ни взять к козырьку, ни скомандовать сами.

А сказать солдатам что-нибудь отчётливо и громко — царица не нашлась, да и опасалась своего акцента.

Можно было что-то говорить негромко офицерам, даже непременно надо было говорить. А — совершенно нечего, неудобно, не придумать и столько фраз.

Разве:

— Как холодно! Какой мороз.

От мороза или чего, но лица многих солдат были хмуры, никак не сиял всеобщий восторг, не прорвался в полугромких ответах рот,— и сама государыня уязвлённо заметила это.

Смотр — тоже оказался трудным императорским делом.

Августейшие особы — обошли, ушли. Надо было бы ещё спуститься и к тем частям, кто оставался в подвалах, но уже отказывали ноги императрицы. Она уже падала.

Со двора водили солдат — группами в коридор 1-го этажа и там поили чаем.

Часовые при орудиях прыгали, чтобы согреться.

В тёмном с заревами отдалении слышались пьяные голоса и редкие выстрелы.

229

Поезд со свитою, литер „Б'', шёл на полчаса раньше императорского поезда, литер „А''. Перед десятью часами вечера в Вышнем Волочке от жандармского подполковника узнали: в Петрограде Николаевский вокзал горит, новый комендант вокзала всего лишь поручик Греков приказывает всем начальникам станций сообщать ему обо всех без изъятия воинских поездах, их составе, количестве людей, роде оружия — если они имеют назначением Петроград. И поездов этих не выпускать со станции без разрешения временного комитета Государственной Думы.

Это, очевидно, касалось экспедиции генерала Иванова — о ней уже прослышали в Петрограде.

Впрочем, опоздали: генерал Иванов уже вероятно в Царском, и верные полки стягиваются к нему.

Но если так следили за воинскими поездами, то тем паче за императорскими? Каждый переход их от станции к станции отмечался в мятежном Петрограде — и там что-то готовили против них?

Но если так — надо же было что-то предпринимать, нельзя же было ехать так безоглядно!

Что думал Государь?

Однако не было указаний свитскому поезду останавливаться и ожидать. Единственно они могли — оставить на станции связного для Воейкова с изложением обстоятельств.

Через полчаса после литера „Б'' подкатил к Вышнему Волочку императорский литер „А''. Воейкову были доложены все опасения свитских.

Воейков сумел поставить себя так гордо и независимо, будто ему одному

принадлежало не только решение о пропуске или непропуске каких-то известий к Государю, но и само решение по этим известиям.

Ничего не ответив свитскому и ничего не выразив надменным лицом, он перешёл по платформе и поднялся в вагон к Государю.

Через несколько минут императорскому поезду было дано отправление дальше.

Светло-успокоенное настроение сегодняшнего солнечного дня, особенно после ликующих солдатских приветствий,— с сумерками, с темнотою и с тревожными известиями угасло в Государе. Он курил по полпапиросы, вдавливал их в пепельницу.

Унизительно, но на просторах и железных дорогах его страны распоряжался даже не Родзянко, не Гучков,— а какой-то Бубликов, какой-то Греков... От этого одного заполнялась душа скучливым омерзением.

Он — не понимал, как это могло происходить — да ещё во время войны?

Лишь спокойно-упорядоченный, подчинённый вид проезжаемых станций успокаивал, что всё остальное был налёт какого-то бреда.

Если принять всё это всерьёз — что возникло противодействие Государю на просторах его государства,— то, может быть, надо было применить ещё более решительные меры? Привести в действие главные силы?

(Да не вернуться ли в Ставку?..)

Ни с кем, ни с единым человеком, однако, не мог он посоветоваться! — ни меньше всего с Воейковым, о котором правду всегда говорила Аликс, что он плохой советчик, что его надо осаживать, и даже — не настоящий друг, но держит нос по ветру.

Как бы это вдруг: повернуть в Ставку? А Аликс и больных детей покинуть на произвол судьбы?

Что должна она испытывать, бедняжка ненаглядная, в самой близости разбойного мятежа? И он обещал ей завтра утром быть.

Да и как такой поворот выглядел бы перед тем же Воейковым? перед всеми придворными? Потом и перед Алексеевым?

Монарх бывает скован в движениях больше, чем любой подданный.

Окончательное решение он мог принять только достигнув Аликс.

Катили дальше. Гладко шёл поезд по отлаженной Николаевской линии.

Государь не находил, чем заняться до вечернего позднего чая. Не читалось. Много курил.

Вспомнил свою беспричинную грудную боль позавчера на литургии, так и не разгаданную,— боль при наиздоровейшем сердце и всём теле. Не было ли это каким-то знаком или предчувствием, угаданием на расстоянии?

В Бологом ожидался встречный фельдъегерь из Царского Села и новости от Аликс. Но когда пришли в Бологое близ одиннадцати вечера — не оказалось фельдъегеря. Вместо этого свитские раздобыли ходивший на станции листок за подписью Родзянки: о создании временного комитета Государственной Думы, который перенял всю власть от устранённого совета министров в целях восстановления порядка.

При бушевании черни это могло быть и хорошо — но слишком давне было недоверие к Думе, всегда интригующей против Государя. И редко кого Государь так упорно не любил, как Родзянку. В перенятии же власти от совета министров было и дерзкое самозванство.

А само Бологое — совершенно спокойно. И до Тосно, поскольку были сведения, повсюду охрана и никаких беспорядков.

И уже так близко оставалось до Аликс — к утру уже можно быть с нею! Как же не ехать дальше?

Вперёд!

Как любил про себя повторять Николай: сердце царёво в руках Божьих.

230

Положение конвойцев Его Величества было особенное, высокое, в родных станицах аж глаза закатывали: охраняет самого Царя! И верно: раз уж зачисленный в Конвой (по виду, по лицу, по покровительству), казак стано-

вился если не членом императорской фамилии, то как бы спутником её. Он много раз в простой обстановке и разных чувствах видел и царя и царицу, сопровождал их в поездках, конно охранял парки, где они гуляли, стаивал вблизи комнат, где они разговаривали, нередко и по-русски, был знаем ими по фамилии, привыкал к их небожественности, а к своей напротив довечной обеспеченной поднятости над положением простого казака. Не приходилось ему томиться по смене обмундирования, по увеличению содержания, по праздничным подаркам,— всё это приходило неизменной чередой, как и рождественская ёлка конвойцев с непременным посещением царя, царицы и дочерей. А обязанности были: лихо выглядеть в своём страшном убранстве, чернолохматой папахе над красной или синей черкеской при белом бешмете, сапогах без каблуков, внушительно стоять на постах, весело отчётливо отвечать на приветствия, а при свободе от дежурств и кончив утреннюю уборку коней — хоть прыгать в упругую чехарду с такими же застоявшимися товарищами.

Собственный Его Величества Конвой со славою состоял при особах императоров уже 106 лет (ни разу не вступивши за них в бой), и в этом была гордая устоенность его.

Пять сотен его в начале 1917 года распределялись так: по одной кубанской и терской сотне в Могилёве, при Ставке, по одной — в Царском Селе, при дворце, пятая сотня — частью в Киеве, при вдоствующей императрице, а частью — 37 человек, 2 офицера, денежный ящик, имущество конвоя и запасные лошади — в Петрограде, в подворьи между Шпалерной улицей, куда выходили ворота, и Воскресенской набережной, куда выходило несколько офицерских квартир.

Гой, беда! ворота выходили на Шпалерную! И так эта полусотня попала в самый вихревой захват революции — хуже нельзя. Находись она где-нибудь на улицах дальних, она ещё долго могла бы пересиживаться за запертыми воротами: провиант и фураж у неё были.

В первый день, в понедельник, отсиделись благополучно — всё это чертобесие сновало по Шпалерной мимо, не озираясь по бокам. Даже когда солдаты вроде гуляли, руки в карманы, цыгарки в зубах, зрелище невиданное,— и то как будто всё гнали куда-то с поспехом. Но уже вчера с вечера стали в ворота сильно и пьяно стучаться. А нонче с утра и вовсе жизни не стало: стучащая прикладами и стреляющая толпа по Шпалерной ломилась во все запертые ворота подряд, добиваясь, что за ними. Не то чтоб осибно к конвою, который не имел же вывески, а ко всем кряду: что там прячут?

Вывески конвой не имел, но черкески, но вызывающие папахи — тут, посереди Петрограда, в такой день, не могли не привлечь зарьявшейся толпы: что-то особое, не как у всех.

А ворота открывать — не избежать.

Так прибеднились, и офицеры тоже. Были у конвойцев такие „казачьи шубы'', вроде лёгких полушубков нагольных, не имеющие на себе никаких воинских отличий и надеваемые обычно под черкеску, когда холодно,— остались теперь все в этих шубах. И ворота — открыли.

И стали весь день засовываться прохожие, пробеглые. Видят — какие-то казаки при конях, никого не трогают. И сперва сходило.

Но потом стали добиваться: а где ваши офицеры? вы ж не без офицеров? Перебейте своих, как мы своих перебили!

Казаки отшучивались. Так начали их угадывать:

— Ну, погодите, опричники! До ночи!

И уже скоро вся Шпалерная знала, что тут засели — *царские опричники.*

Плохо. Положение конвойцев становилось нестерпно: ведь так и нагрянут ночью! и разнесут! Или подожгут.

И придумали, и с дозволения офицеров стали казаки к этим шастающим солдатам оборачиваться как тоже бунтари, отзываться разными вольными и скверными словами. Двое-трое пошли в шествиях толкаться и даже речи говорили. Но и на такой манере если было дотянуть, то только день до ночи, а что завтра?

А поддержка из Царского Села — к ним не шла. Не вызволяли их из этого

ада, не забирали туда, во дворец, со всем нестроевым имуществом и денежным ящиком, который тоже надо было от разграба охранить. И телефон с Царским занеработал.

И тогда есаул Макухо, казначей, приодевшись понезаметнее, пошёл вечером в Государственну Думу: ведь недалёко, ноги не отвалятся, а сходить у з н а т ь.

Узнал. Люди там как люди, не злые, не убивают, но дюже занятые, теснятся, толкаются. Тоже жить хотят, запасы большие делают. И офицеры там бродят, немало. А всем заворачивает там нашенский же человек, есаул Терского войска Михаил Алексаныч Караулов, да он по прежней службе некоторых и наших офицеров, надоть, знает. Издаля его видел — но к нему не протиснулся, да без формы он за своего и не признает, как и подойдёшь, о чём разговор?

И рассудили казачќи: а нам бы послать к нему своих выборных, да в полной казачьей форме. По Шпалерной сейчас, по ночи, як-небудь проберутся кучкой — а там у Карулова всё испросят, как быть, как в новой обстановке обращаться.

Поладили. Семеро конвойцев во главе с урядником оделись в полную конвойскую форму. Ещё прикинули: а ведь без красных бантов теперь тоже идти нельзя? Прицепили на грудя́ по большому красному банту. И — пошли по Шпалерной размеренный шагом, сами над собой посмеиваясь: вот дожили-то! с бантами и в Думу. Нужда погнетёт — пойдёшь и к чёрту. А мы — и не в Думу, мы к своему хорошему земляку.

К ночи враждебной солдатни на Шпалерной сильно поменело, никто их не задел. И перед Таврическим не так густились, вступить — вступили.

И усере́дине, по забитому залёжанному людьми дворцу найти Караулова не так было сутужно: носился он в газырях быстро-лихо, да и был он не кто иной, а *комендант* Таврического.

Подступили — увидел. Общупал конвойцев весёлыми глазами:

— Ну что, старики? — хоть молодых больше.— Что скажете?

Постояли, где встретились, потом в сторонку отошли. Караулов всё посмеивался, а конвойцы переминались. Поведали ему, в какое стесненье попали, просто безвыходье, и как офицеров уберечь? А из Царского Села никакой подмоги нет.

— И не будет! — сказал Караулов.— Надо самим думать.

Так вот, мол, придумать и не можем, головы наши к тому не приспособлены.

Прищурился Караулов и посоветовал:

— А вы вот что, земляки. Вы — арестуйте-ка своих офицеров. Верней, они сами пусть арестуются по доброй воле, им же и безвредней. И их под арестом никто не тронет, и на вас укору нет: мол, сделали, что могли, мы — за новый строй.

Совет понравился конвойцам. Чего ж? — меж своими, по-хорошему.

Только вот нельзя ли какую бумажку охранную — ото всякого напору, кто налезет?

Ещё посмеялся Караулов, повёл их на второй этаж, в такие комнаты, где офицеры были, полковники, и штатские, и какой-то Александр Иваныч,— и все на них пялились, улыбались, дивились.

И дали целых две бумажки.

Одну — от Караулова, что числится полурота Конвоя за ним.

Вторую — Александр Иваныч велел: что от Государственной Думы предписывается их начальству продолжать оберегать лиц и имущество, находящиеся ныне под их охраной.

Так понять, что: продолжать охранять Их Величества? Правильная бумажка.

231

А дачные поезда и под полночь ходили строго по расписанию, хотя почти никто не ехал — в вагоне 1-го класса Ломоносов оказался один. И как ни в чём не бывало шёл контролёр. И рассказал Ломоносову, что на сторону Думы

перешёл уже и весь петроградский гарнизон, в Петрограде боёв больше нет.

Поразительно! Интересно до захвата!

На площади у Виндавского вокзала, на Семёновском плацу ещё было два-три фонаря и люди, но близко сразу всё кончалось: надо было шагать вдоль Обуховской канавы в полной тьме, безлюдьи — а неподалеку слышались выстрелы, то ружейные, а то и пулемётные.

Сжимал в кармане револьвер. А на случай властей — что ж, вполне ответственная служебная телеграмма.

А на Фонтанке оказалось светло. И близко наискось, у министерства путей сообщения, видны были солдаты на часах.

Вышел прапорщик, Ломоносов показал ему бубликовскую телеграмму. В вестибюле несколько солдат спало на лавках, кто и на полу. Озабоченный швейцар поспешил к знакомому железнодорожному генералу и, снимая с него пальто с зелёной генеральской подкладкой, пожаловался:

— Вот, ваше превосходительство, до чего мы дожили.

— А где Бубликов?

— В кабинете начальника управления. Только к нему без пропуска нельзя.

Солдат повёл Ломоносова знакомыми лестницами и коридорами. Из приёмной вышел гусарский ротмистр с роскошными пышными светлыми усами, и с какой-то игровой строгостью допрашивал, ушёл, заставил ждать в коридоре стоя — а солдат тоже не отпускал. Наконец, проходил знакомый экзекутор — он и доложил Бубликову. Впустили.

Кабинет было ярко освещён. А чтобы не светил на улицу — сторожа прибивали к окнам занавеси из солдатского сукна. Бубликов сидел за столом начальника управления, ещё было двое штатских и знакомый путеец. Бубликов радостно вскинул руки, вышел из-за стола. Глаза его бегали быстрей и острей обычного, и движенья рук больше нормы, как если бы в подвыпитьи, что странно было при тщательности его причёски, усов, воротничка.

— А-а, Юрий Владимирович, как я рад вас видеть! Очень вас жду! Ну, так вы к нам присоединяетесь?..

Неосторожно, нетактично, никак не хотел бы Ломоносов такое объяснение вести вслух, при посторонних. Ведь он приехал пока только — посмотреть. А Бубликов, ничего этого не понимая, взвинченно-радостно объявлял:

— Все бывшие министры — арестованы! Вся власть — у Думского Комитета! Угодно ли вам предоставить себя в распоряжение нового правительства?

Очень был вскипячён. Смотрел азартно. Среднего роста, при средней наружности старательного чиновника — кажется, откуда такой революционный размах?

Ломоносов — почти того же роста, но — плотней, и животик округлён, и голая голова как круглый котёл, но с вьющейся бородкой, а глаза тоже — быстрые, острые, колкие.

На Бубликова. На этих. Пожимал руки — а на всякий случай ничего определённого не отвечал.

Бубликов порывисто снова сел на место начальника, Ломоносову указал невдали и так же азартно:

— А я — возглавил министерство, и беру в руки все железные дороги страны! Разослал телеграмму по всей России! А вот, распорядился: на 250 вёрст вокруг Петрограда воспрещаю движение всяких воинских поездов!! И всё! И никакие подавительные войска не продвинутся! А? Яйцо Колумба! Железные дороги в России — это всё!

И правда. Оглушительно простое решение. Ломоносову понравилось. Так и правда перевешивает новая власть? Так быстро и определённо? И Бубликов — по сути новый министр?

И этот новый министр объяснял, что посылает нескольких верных на разные дороги, чтоб утвердить новую власть и ускорить перевозки, в том числе и Ломоносова на Московско-Киевско-Воронежскую.

Э, нет, так Ломоносов не согласен. А за кого Москва? А что в Киеве? Делить шкуру медведя, когда он ещё гуляет в лесу. Э, нет. А где царь, что делает?

Бубликов успел увидеть отказ на метуче-сметливом лице Ломоносова, но не успел ничего ответить — из соседнего кабинета вошёл солдат глистового вида, с полуобразованным лицом, и доложил:

— Императорский поезд прошёл Бологое и следует к Вишере.

— Вот и первый ответ вам! — И переменил план: — Давайте-ка, последите за императорским поездом.

Ещё острей, прямо на нож сажали. Но Ломоносов понимал и даже любил такие перемёты, он в жизни делал их не раз: учился в кадетском корпусе — потом надумал в духовную академию — а поступил в институт путей. Играл с революцией — а сам выдвигался в учёного и в генерала. Он любил приключения, ах, любил! Сейчас — всё на перевесе, но кажется на хорошем. А упустишь момент, несколько часов — и тоже всё упустишь.

— А что вы предполагаете с царским поездом делать?

— Ещё не решено! — быстро ушагивал Бубликов в соседний кабинет.— Сейчас об этом буду с Родзянкой по телефону.

У оставшихся Ломоносов спросил:

— А почему это солдат? Кто это?

— Член Государственной Думы Рулевский,— ответили ему.— Помощник Алексан Саныча.

Побиться об заклад готов был Ломоносов, что такого члена Думы не существует. Сообразил, что тут в шкафу может быть справочник. Пошёл в тот угол, поискал, подтвердилось: такого члена Думы не бывало, ни Первой, ни Второй, ни до сегодня.

Вернулся Бубликов, подошёл сюда в угол, Ломоносов тихо спросил:

— Алексан Саныч, откуда такой член Думы?

— Да пусть, для солидности, ему распряжаться надо.

— Вы его хорошо знаете?

— Только что в Таврическом прицепился.

— Да как же так можно?

— А что? Помогает и ладно! — всё тот же азарт нёс Бубликова.— Всех телеграфистов к рукам прибрал, хорошо! В русском народе ещё какой запас государственной энергии, батенька! Кто б ни пристал — надо пользоваться, переживаем исключительную минуту!

Да чёрт его знает, может быть. Этот вихрь закручивал и Ломоносова! Уж он не спрашивал: а что за солдаты-семёновцы охраняют министерство, кто их набрал? а переменятся в настроении, поднимутся сюда, и всех нас переарестуют? Пистолет-то хоть и принёс в кармане, а никогда по-настощему не стрелял.

Ещё удивительней было, что далёкие, даже сибирские линии, узлы и станции уже подчинялись ещё сегодня утром не слыханному Бубликову? И за 250 вёрст останавливались воинские эшелоны?

Попробовать? приложиться?

Царь, видимо, ехал в Царское Село? Ну, не в Петроград же.

Но тем временем самозваный комендант Николаевского вокзала уже сам скомандовал: забирать его в Петроград!

В плен!

Царя!

А мы?..

Звонил Бубликов Родзянке уже не раз, оттуда отвечали только:

— Сейчас обсуждаем... Ещё не решено... Следите пока за поездом.

Разве с думцами сваришь настоящую раскатистую революцию?!..

232

Генерал-от-инфантерии и генерал-адъютант Алексей Ермолаевич Эверт обладал фигурой высокой, крупноглыбной, большими руками, большой головой и крупными чертами, прямым железным взглядом из-под резких бровей,— и даже кто б не знал, что этот генерал командует Западным фронтом, по всему его облику и повадке должен был предположить такое. Каждым шагом своим несуетливым утверждал: я — Главнокомандующий!

И почерк его на резолюциях был такой — не обычный человеческий

почерк, буквенная вязь, но — громадные буквы, и почти одни палки, ужирняющиеся как дубины. В себе он более всего ценил здравый ум — и через этот здравый ум пропускал воинские уставы и перелагал обширными приказами к войскам, уча и какая должна быть хорошая пехота, и какая должна быть конница хорошая — та, что, не боясь противника, не знает ни фланга, ни тыла. Но и вместе с тем, хотя швед по давнему происхождению, он был генерал православный и не забывал, что стратегия лишь тогда имеет успех, когда благословлена Богом. Но и вместе с тем он был генерал послушный — и любил получать приказания от старших самые категорические. А когда не получал их, то сносился со Ставкой по проводу и всячески спрашивал советов. Сверху вниз — всегда должна быть ясность.

И поэтому особенно обескуражен был генерал Эверт в понедельник утром, получивши, вне всяких диспозиционных расписаний, телеграмму от председателя Государственной Думы, которая ни по какому распорядку не могла быть послана Главнокомандующему фронтом. И почему именно Эверту? (Можно было догадываться, что и другим Главнокомандующим, но неудобно и не у кого спросить.) А сама телеграмма была тона недопустимого, дерзко отзывалась о правительстве и толкала давать Государю неприличествующие советы. За такой тон и такие советы этого мерзавца Родзянку можно было вполне посадить в тюрьму.

Но часы текли, и Ставка же знала, что Эверт получил телеграмму,— и не давала никаких указаний. Часы текли — и Эверт начал думать, что может так это и надо, по новому какому-то распорядку и при смутных петроградских событиях. Или иначе: Ставка упустила, что Эверт получил такую, но сам он не должен был её утаивать. А значит — надо было по долгу верноподданого донести о ней в Ставку же, то есть повторить туда её полное содержание. А уж раз передавать, то, не вмешиваясь в дерзкий смысл телеграммы, можно было и от себя подтвердить то, что в телеграмме было справедливо. И Эверт добавил от себя прямыми словами: я — солдат, в политику не мешался и не мешаюсь. Не могу судить, насколько справедливо изложенное в телеграмме. Но не могу не видеть крайнего расстройства транспорта и значительного недовоза продуктов продовольствия, что может поставить армию в безвыходное положение. А значит, надо принять военные меры против возможных забастовок.

Так Эверт хорошо вышел из положения: и не смолчал, и, как хороший хозяин, защитил интересы своего фронта. И предложил твёрдые меры.

И ещё прошло несколько часов. И он получил из Ставки приказ о высылке четырёх полков против мятежного Петрограда. Итак, он угадал, всё правильно: принять твёрдые меры!

Так он и думал.

С быстротой Эверт стал выполнять это разумное распоряжение. Он рассчитывал, что через сутки, в ночь на 1 марта, уже сумеет доложить о полном исполнении.

Но не мог он и послать эти полки просто так, без отеческого напутствия. Но и сам не успевал к местам погрузки, чтобы предстать солдатам своим могучим видом и словом. И решил воодушевить их пространным письменным напутствием через начальников дивизий, идущих с ними в Царское Село. Что они, доблестные севцы, орловцы, павлоградцы и донцы, отмеченные выбором Главнокомандующего, идут на государево дело, в трудную для государства минуту восстановить внутри России порядок, без которого невозможна победа над нашим жестоким упорным врагом, захватившим часть нашей родной земли и томящим в неволе наших братьев. Без этого сейчас успокоения нарушится снабжение наших храбрых войск, и каждый такой день идёт противнику на пользу. Без этого сейчас успокоения невозможен будет славный мир и свободное широкое процветание нашей родины. А залог успеха полков, идущих на эту задачу,— строжайший порядок, дисциплина и служить живым примером верных слуг своего царя и родины.

И ещё тут же вослед послал трём своим командующим армиями телеграммы, что не может быть допущено никакое брожение среди войск Западного фронта, стоящих перед злейшим врагом России.

И ещё, перерабатывая железнодорожные предупреждения Ставки, Эверт

обеспечил чёткую охрану всех своих фронтовых путей: приготовил подвижные резервы с пулемётами и под начальством твёрдых командиров.

И так — всё было совершено, в чём мог он проявить свой твёрдый характер по отношению к мятежу. Его фронт, как и вся Действующая армия, становился крепостью против мятежного Петрограда. И осталось только ждать новых известий, которые носил ему его начальник штаба генерал Квецинский.

Генерала Квецинского Эверт держал за аккуратность и непротиворечивость. А вид у него был не военный — лысый, обрюзглый, обвислый, с чем-то восточным в наружности, казался как переодет в генеральское и с трудом выравнивается в мундире.

И вот, не успел Эверт хорошо ощутить всё своё железное стояние под волей державного Верховного вождя, как принёс Квецинский длиннейшую осведомительную телеграмму из Ставки. Сообщалось там подробно обо всех телеграммах, пришедших из Петрограда за двое суток, и какие известия, безрадостные и неверные, они приносили, кое о чём в Минске знали и сами,— и вдруг посреди того малозначащей фразой сообщалось: „Государь император в ночь с 27 на 28 февраля изволил отбыть в Царское Село''.

Как?? Что такое?? Верховный вождь не стоял во главе своей несокрушимой армии? И даже прямо поехал в пасть мятежа??

Эверт перекрестился. Как будто перестала поддерживать спину главная опора.

Как же Государь мог рискнуть поехать?

Не наше, конечно, дело судить.

Но теперь во главе Ставки остался всего лишь Алексеев,— и Эверт уже не мог быть таким уверенным и покойным.

Опять потекли час за часом, по железнодорожным проводам из Петрограда катились ужасные известия, распоряжался какой-то неизвестный наглец Бубликов,— а Ставка молчала. Но теперь само молчание её было не доверительно-надёжно, а — тревожно.

Только короткая пришла телеграмма с убедительным предположением, что весь петроградский мятеж возможно подготовлен противником — и теперь он может начать активные действия так же.

Верно! Этого следовало ждать. Требовалось всем фронтом насторожиться. Но тем более беспокоило бездействие Ставки.

Терпел Эверт, терпел — и наконец, уже после часа ночи на 1 марта, поручил Квецинскому поговорить со Ставкой, разведать: что же там предпринимается?

Разговаривал по проводу Квецинский, а Эверт сидел рядом, но не объявлялся: не хотел своего ранга терять.

С той стороны подошёл Лукомский.

Квецинский пожаловался, что по всем станциям железных дорог поступают дерзкие телеграммы некоего Бубликова, потом и поручика Грекова (они задержаны в пределах фронта): что никакой воинский поезд, имеющий назначением Петроград, не может двигаться без разрешения революционных властей! Такое распоряжение, буде оно выполнится, остановит движение всех посланных на Петроград полков, о которых Западный фронт сообщает военному министру в Петроград,— и, кстати, правильно ли это? где там военный министр, во власти ли он? Главнокомандующий Западным фронтом интересуется знать, не признает ли Ставка необходимым изолировать боевые армии от проникновения таких бунтарских телеграмм? — это невозможно осуществить в пределах одного Западного фронта. Благоволите сообщить взгляд наштаверха. И штазап не имеет своевременных сведений — что может Ставка сообщить о нынешнем положении в Петрограде?

Лукомский стал успокаивать, что телеграмма Бубликова нисколько не революционна, ибо призывает к порядку и даже удвоенной работе. Телеграммы же Грекова Ставка не знает, но такой надо было ожидать. Вообще же прекратить телеграфное и почтовое сообщение с Петроградом невозможно, ибо это вызвало бы панику и общее замешательство. Необходимо лишь преподать указания, что по долгу присяги мы должны повиноваться только законным властям. Конечно, военные эшелоны должны следовать безостановочно.

Странное понимание присяги: пусть революционеры рассылают, что хотят...

Да вот, вероятно, завтра, успокаивал Лукомский, все железные дороги на театре военных действий будут подчинены Ставке через Кислякова. А в Петрограде? — теперь спокойно: в управление вступило временное правительство из состава Думы. А бывший военный министр сидит у себя на квартире и, да, по-видимому, ориентирован не во всём.

Прочтя ленту до конца, Эверт только плюнул и выругался.

233

Недалеко до полуночи, когда разогнанный маховик военной экспедиции совершал свои махи по двум фронтам и по нескольким железным дорогам, а завтра уже должны были проступать и результаты,— генерала Алексеева вызвал к прямому проводу неутомимый Родзянко.

Уже простых телеграмм ему было мало. Он желал лично разговаривать с военными властями, неизвестно по какой субординации. Как когда-то аэропланы заказывал у союзников, никого не спросясь. И тогда Алексеев передавал ему государев выговор. И отношения стали между ними натянуты. А вот — вызывал.

По телеграфному аппарату не доносился могучий голос Родзянки, но во всём разлитии фраз проявлялось исключительное успокоение. Родзянко объяснял, что при руководимом им Временном Правительстве всё в Петрограде послушно становится в свои берега. (Вот как, уже не комитет, а правительство? Ну да, и Бубликов же распоряжался как министр.)

Но в каком состоянии гарнизон? Войска дезорганизованы, не подчиняются, бунтуют?

Напротив, все войска непрерывной чередой восторженно приветствуют Временное Правительство. Гарнизон в полном составе примкнул ко Временному Правительству.

Но офицеры арестованы, разоружены, преследуются?

Ничего подобного, какие-то исключительные случаи. Офицеры — при своих частях, руководят ими и ждут указаний от Временного Правительства. Да вся жизнь в столице быстро нормализуется. Вот например, банки и частные кредитные учреждения ввиду наступившего спокойствия населения решили завтра возобновить свои операции.

(Но это был характернейший знак — банки! Да вообще вся картина оказывалась диаметрально не той. В конце концов откуда у Ставки были все сведения? От подавленного растерянного Хабалова, от взвинченного Беляева, от случайных частных лиц, от напуганных иностранных офицеров в Петрограде. Как ни относиться к Родзянке, к его постоянному всезнайству и апломбу, но всё-таки же он фигура, Председатель Думы, и камергер, и паж,— он же взвешивает, что он говорит.)

Но всё это, Михаил Владимирович, слишком разнится от остальных сведений, которыми мы располагаем.

Михаил Васильевич, но на меня вы можете положиться больше, чем на кого-нибудь другого. И моё положение позволяет мне видеть и знать больше других. Все сведения стекаются именно ко мне. А если бы вы могли слышать мой голос, вы различили бы, что даже я — охрип. Это оттого, что полдня я приветствовал полки, приходившие стройными рядами в Государственную Думу. И вот почему я спешу пояснить вам, что войска, которые вы, как слышно, шлёте на Петроград,— исключительно вредны и могут снова опрокинуть нормализующееся положение в анархию, я уже не говорю — вызвать столкновение, страшное взаимное кровопролитие, которого все, решительно все хотят избежать.

(В самом деле, это страшно выглядело: всё успокаивается, всё устанавливается — Алексеев же шлёт войска на кровопролитие...)

Временное Правительство только и ждёт приезда Его Величества, чтобы представить ему пожелания народа. В этих условиях присылка войск и открытие военных действий...

(Опять-таки благоразумно. Сведения Родзянки меняли всю картину, очень ободряли, а доводы его — просто душу поворачивали.)

Официальное подтверждение, что правительство сменилось? Родзянко и посылал его сегодня, уже дважды, а разве Ставка не получала?

Но пришлите ещё раз.

Хорошо, пожалуйста.

После разговора Алексеев ушёл к себе и обдумывал тяжело.

Восстание-не восстание, что бы там ни было — но оно прошло,— и в каком же свете перед обществом представала Ставка, посылая карательные войска? И, действительно, зачем же теперь возбуждать анархию заново?

А за отсутствием Государя — войска посылал лично Алексеев? Очень некрасиво. Взглядом общества, вся ответственность ложилась на него.

Он хотел предотвратить избиение офицеров и администрации? Так ничего подобного в Петрограде, оказывается, не происходит.

По сути вот образовалось то знаменитое правительство доверия или ответственное министерство, которому никогда не хотел дать пути Государь,— а теперь оно приплыло на революционной волне. И какое же моральное право имела теперь Ставка посылать на Петроград войска?

Если бы Государь сейчас был в Ставке! — Алексеев пошёл бы к нему с докладом и ждал приказаний.

Но Государя не было, и связи с ним не было, и вся лёгкость рук и вся тяжесть рук принадлежала Алексееву одному.

Борисова — уже нет в Ставке, не посоветуешься.

Вместо того — насажал здесь Гурко — Лукомского, Клембовского. Впрочем, Лукомский тоже за правительство народного доверия. А Клембовский с мненьем не выступает.

Всё ясней виделась невозможность воевать против русского общества и его законных желаний! Да ещё во время внешней войны.

А разве для армии это будет такая лёгкая прогулка? К чему может привести столкновение с собственным тылом? Расстроятся железные дороги — и армия перестанет получать продовольствие. А она живёт только подвозом, ничего не имея в базисных магазинах.

Армия не сможет спокойно сражаться, когда в тылу идёт революция.

Да всё это стягивание войск на подавление было глубоко внутренне против убеждений Михаила Васильевича.

Но не мог же он и ослушаться государева приказа.

Ах, как несчастно, что Государь уехал! В такую минуту. Был бы сейчас на месте — куда убедительней выразить голосом, рядом, чем знаками азбуки Морзе слать теперь вдогонку — и куда?..

Ну, уехал, так уехал. Знал, что делал. Так тому и быть.

Через несколько часов Государь должен быть в Царском. Послать туда?

Давно так не мучился генерал Алексеев в трудности выбора.

Никогда бы он не взялся служить незаконному государственному перевороту! Он из-за того сторонился Гучкова и князя Львова. Но если — всё равно свершилось и новое правительство само собою благополучно установилось,— то надо ли ему мешать?

Наконец решился Алексеев на такую полумеру: войск ни в чём не останавливать и, значит, приказ будет строго выполнен. Но послать остановительную предупредительную телеграмму Иванову как самому переднему — чтоб остановить самое остриё движения, чтоб он не успел ввязаться в бой. Переложить главные впечатления от разговора с Родзянкой, но из тактичности не называя Родзянки.

Осторожно составили телеграмму вместе с Лукомским. Никакого приказа на остановку не давать, вообще ничего не приказывать, но *советовать*. Но — просить доложить это всё Государю по его прибытии (а значит — пропустить через свою грудь и внять).

Это — хорошо было придумано. Это — очень хорошо придумали.

В начале второго ночи эта телеграмма № 1833 потекла к Иванову по особой линии царскосельского дворца. И едва пошла — как удачно успела! — линия прервалась. (Петроград прервал?)

Наконец мог Алексеев вздохнуть после этой труднейшей телеграммы и отправиться спать.

Но засыпал он всегда не сразу, пока всё перерабатывалось и улегалось,— и не успел заснуть, как ему в постель принесли неожиданную странную телеграмму от Брусилова.

Докладывал тот, что может начать посадку частей на поезда с утра 2 марта (не очень-то быстро) и даже 3 марта (очевидно, от снежных заносов, на юго-западе бушевали мятели). Однако:

„благоволите уведомить, подлежат ли эти части отправке теперь же или по получении особого уведомления?"

Поразила Алексеева и неуместность такого вопроса: какое ещё подтверждение и уведомление, если послан приказ?

Но ещё более поразила *своевременность* этого вопроса: как мог Брусилов так почувствовать без всякого намёка?

Или Родзянко и ему тоже дал как-то знать?..

Вопрос не давал Алексееву покоя. И он поднялся, койка была за перегородкой, недалеко от рабочего стола, в одном белье пошёл, засветил лампочку и нашёл свою дневную телеграмму Брусилову. Вот как? Там стояло:

„как только представится возможность по условиям железнодорожных перевозок... Не откажите уведомить, когда обстоятельства позволят отправить эти войска".

Ни о каком повторном уведомлении от Алексеева здесь речи не было. Но... значит это так звучало? Что тут почувствовал Брусилов?

Вот странно. Ничего подобного Алексеев не задумывал, не включал в приказы главноккмандующим — но вот как будто это было написано — несомненно его почерком — и четырнадцать часов назад?

Это — само написалось, между мыслями.

Так с Юго-Западного фронта войска и не двинулись.

ДОКУМЕНТЫ — 5

Телеграмма, № 1833
Царское Село, генералу Иванову

Ставка, 1 марта, 1 ч. 15 м.

Частные сведения говорят, что 28 февраля в Петрограде наступило полное спокойствие. Войска, примкнув к Временному Правительству в полном составе, приводятся в порядок. Временное Правительство, под председательством Родзянки, заседая в Государственной Думе, пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным Правительством, говорит о незыблемости монархического начала России, о необходимости новых оснований для выбора и назначения правительства. Ждут с нетерпением приезда Его Величества, чтобы представить ему все изложенное и просьбу принять это пожелание народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших действий, переговоры приведут к умиротворению, дабы избежать позорной междуусобицы, столь желанной нашему врагу, дабы сохранить учреждения, заводы и пустить в ход работы. Воззвание нового министра путей Бубликова к железнорожникам, мною полученное кружным путем, зовет к усиленной работе всех, дабы наладить расстроенный транспорт. Доложите Его Величеству все это и убеждение, что дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию. *Алексеев.*

234

Премного был напитан Родзянко своим ночным разговором! Удачная была мысль поговорить со Ставкой!

По недлинным и сперва неохотным ответам Алексеева он стал угадывать безусловный успех. Алексеев явно не имел никаких своих твёрдых сведений о Петрограде, потому — и твёрдых возражений, ему нечего было выдвинуть своего. И ещё текла лента — а Родзянко уже чувствовал, как его слова внедряются в Алексеева. В конце концов, хоть немудрящий генерал, но был он честный человек. Этим ночным разговором, Родзянко чувствовал, он сильно

поколебал посылку войск на Петроград. (А заодно прощупал, что они ещё и не на подступах, никакой полк, видимо, ещё не подъезжает.) Если подавить в этом направлении ещё, то можно войска и вовсе остановить.

И так совершались все деяния героев, от Геракла! — в одиночку и даже не на глазах толпы. В глуши ночи, единолично, при телеграфном аппарате — Родзянко своей широкой грудью прикрыл Петроград и спас, а Петроград спал и даже не знал этого! И только коллеги по Думскому Комитету смогут оценить, но и то — доброжелательные. Не Милюков. Не Некрасов. Не Керенский.

Геройская ночь!

И как тактично и как даже легко Родзянко этого достиг! Просто — силой своего желания. Не пожелал, чтобы войска шли — и они не пойдут. И, кажется, ни в чём не покривил душой. Ну, может быть чуть прибавил насчёт стройных войсковых рядов, глазу старого офицера это не так,— но и искупается же небывалым порывом этих войск идти в Государственную Думу! И в этом, можно сказать, проявлена их верность, так что и тут не преувеличил. И эти войска действительно ожидают приказаний от Думы — а разве можно сказать, что они не подчиняются? Такого не было. Ну, может быть несколько сильно выразился, что офицеров не преследуют,— так это и успокоится уже сегодня. Родзянко выразился — от своего большого горячего сердца, во что бы то ни стало желая остановить войска, предупредить междуусобицу, которая подорвала бы воюющую Россию.

А ещё чего достиг Родзянко этим ночным разговором: он называл свой Комитет Временным Правительством, а самого себя — главой нового правительства, и Алексеев это усвоил, и попросил уяснить добавочной телеграммой. И потому из Главного Штаба Родзянко поехал не домой, а опять-таки в Таврический. Хотелось ему и передать свою удачу коллегам.

Но они все спали деревянно. И он распорядился послать телеграмму в Ставку, что правительственная власть перешла... всё-таки к Временному Комитету Государственной Думы.

После этой ночи Родзянко в своих глазах тем более стал главой правительства. Перед Ставкой и Главнокомандующими он уже и был премьер-министром. И в глазах населения, подписывая воззвания,— кто же он был другой? И перед своими коллегами фактически был им и чувствовал теперь в себе сопротивление этой подстроенной кандидатуре Львова. И только — только перед Государем он ещё никак не был назначен.

Что и надо было сейчас — получить от Государя утверждение Думского Комитета как правительства. И притом — как правительства *ответственного*, парламентского. И этим будет достигнуто последнее его превращение. И вся революция — благополучно окончилась. И всё станет на незыблемые места.

Но пока Государь в движении — аппаратный разговор с ним невозможен. Да даже если б и аппарат был, то разговор такой невозможен: Государь — не генерал Алексеев, ему не напечатаешь требование. Просить утвердить себя главой правительства можно только на личной аудиенции.

Не просто „лицо, пользующееся доверием всей страны", но именно — Родзянко! А глухой упрямый Государь не хочет услышать!

Конечно, тут и заминка, мешающее чувство. Председатель уже несколько раз откровенно обошёл Государя — в телеграммах Главнокомандующим, вот в разговоре с Алексеевым. И свою прямую телеграмму Государю тоже не держал в тайне, но вслух читал с крыльца, и дал корреспондентам, и не мог отказаться от дивной фразы, вычеркнутой зря: „Молю Бога, чтоб в этот час ответственность не пала на венценосца". И во всех речах к войскам как ни патриотичен был Родзянко — а всё время переходил строго законную меру. И чувствовал это — и не мог не переходить, и даже самому нравился этот бунтарский размах, который, оказывается, всегда был в его натуре — и вот проявлялся теперь.

За последние двое суток Родзянко уже привык к свободе — и не очень хотелось сгибать себя к прежней послушности.

А в общем — надо им, надо им, двум первым людям государства, встретиться.

Уже так было поздно, ближе к утру. Поехал Родзянко скорей домой, лёг спать.

Сон у него был богатырский.

235

В два часа ночи на станции Малая Вишера стояла бестревожная глубокая тишина. Сон, морозная ночь, станция пустынна, но ярко освещена. Нигде ничего опасного не совершалось.

И по указаниям Его Величества, данным перед започиваньем, следовало неуклонно ехать дальше — на Чудово, на Любань, на Тосно.

Но к подошедшему свитскому поезду Литер Б по пустому перрону подбежал поручик Собственного Его Величества железнорожного батальона: он только что сам пригнал сюда на дрезине, едва уехал от мятежников! Их в Любани уже две роты, и они очевидно движутся сюда. Поручик Греков линии телеграмму: комендатам литерных поездов направляться на Николаевский вокзал Петрограда!

Свита заволновалась, кто не спал. Как обманчива эта пустота и тишина. Могло показаться, они движутся в тёмной ночи, невидимые и неизвестные. Но начальники станций докладывали новому начальству — и мятежники Петрограда, и пробуждённая Москва, и телеграфисты мелких станций,— все видели через ночь и через даль, как два тёмно-синих поезда несутся в приготовленную раззявленную пасть.

А военной силы при императоре нет никакой. Даже, можно сказать, и простой охраны нет.

Через четверть часа после Литера Б тихо мягко подошёл и царский Литер А. Стали рядом. Не решаясь подвергать опасности поезда на свою ответственность, комендант Литера Б решился разбудить в Литере А дворцового коменданта Воейкова. Воейков крепко спал, сердито проснулся, со всклоченными волосами. Однако очнясь, обстановку сообразил быстро и решился идти будить Его Величество, испросить указаний. Постепенно и вся свита пробуждалась в тревоге.

Только в сон и уйти от этих нелепостей, несоставностей, беспорядков,— но и оттуда, из нежного погруженья, вытягивает, вытягивает почтительный зов. Даже в излюбленном поездном покое не стало укрытия.

Сперва, как всякому спящему,— императору досадно, неоправданно, зачем? Потом серьёзней, встал с ложа, надел халат. Очевидно, очень серьёзно. Смотрели с Воейковым карту. Кратчайшим путём через Тосно в Царское можно не попасть. Успеть проскочить до Чудова, а потом свернуть на Новгород? Ах, удлиняется путь, отодвигается встреча с семьёй. Но Воейков доказывал, что и до Чудова двигаться опасно, что надо от этого места поворачивать назад.

Сов-сем назад?..

...Назад! О, конечно! Заколдованный сон, отлети с моих вежд! В последний момент решенья мужского и царского — вскочить! и ноги в сапоги, уже потом доодевая китель: да, возвращаться! В Ставку, конечно! Сколько часов нам гнать туда? Сколько мы потеряли? 22 часа сюда из Могилёва, 18 часов назад — сорок часов? Так ещё можно успеть! Остановки — только брать уголь и воду. Алексееву скомандовать: обеспечить безопасность линии. Даже не слать войска на Петроград — только выставить заградительные отряды по подкове, на всех линиях. Командующему Московским округом: не допустить заразы в Москву! Разобрать пути между Москвой и Петроградом! Хоть ни единого хлебного эшелона не пропустить в Петроград! Генералу Иванову — держать оборону Царского Села. Составить ультиматум и объявить им из Могилёва: всему Временному Комитету и всем зачинщикам явиться с повинной в Ставку Верховного! все бунтующие бездельные части — в маршевые роты! Попляшет, кто у них там сейчас верховодит!..

...Назад? Через Бологое и Дно, лишь тогда на Царское? А ведь царскосельский гарнизон малочислен, как бы мятежники не захватили императрицу?..

Воейков: никогда они этого не посмеют!

Да впрочем, там и Иванов.

Ну что ж, назад. Обогнём через Дно. Снова в тёплую пододеяльную нежность, в спасительный сон. Завтра в Царском станет ясно, там решим. А пока — спать...

Пока на поворотном круге разворачивали паровозы — прошло ещё полчаса, и слух пришёл, верный ли, неверный, что мятежники уже в двух верстах от Малой Вишеры.

Возбуждённая свита открыто гудела, ощущая плечами и горлами страшную хватку мятежников: надо сговариваться с Государственной Думой! уступать! давать ответственное министерство! Что же думает, наконец, что ж упорствует Государь? Мы так все погибнем.

Но никто не посмел пойти высказать такое Государю.

Да ведь он и почивал.

А на перроне было морозно-преморозно, все расходились.

В половине четвёртого ночи первым отправили на юг царский поезд. Литерный Б — на двадцать минут позже.

И снова скользили синие поезда через тьму и снова просматривались всеми телеграфистами и стоокой революцией.

236

Они отказались идти в батальон,— но как же они представляли себе дальнейшее? Ну, сегодня ночью они рассчитывали пойти на Петербургскую сторону, там при 2-м кадетском корпусе жил отец их хорошего друга-однополчанина, можно было следующий день провести у него. Ну, ещё второй день. А дальше? Всё равно им некуда было идти, как в свой Московский батальон.

Вот что сделала с ними однодневная революция: выкинула их из армии, из полезных офицеров превратила в ничто, в никчемных, опасных, преследуемых людей.

Да неужели так теперь и установится этот обезумелый круг? Не может и неделю так существовать петроградский гарнизон, и вся армия, и вся Россия!

Ах, как пожалели они после ложной паники, что это не правда подошла боевая часть разогнать сброд по местам! Вот что б им одно сейчас — это помочь разогнать мятежную банду. Да где был тот генерал, который в них нуждался? Не звали их.

После совещания в Военной комиссии братья Некрасовы и маленький Греве стали что ж? — искать себе ночёвку в Думе. Даже подосадовали, что пошли на это совещание: успели бы себе лучше место захватить, уже в залах лежали солдаты вповалку. Впрочем, офицерам и надо ложиться из последних, когда уже спят, иначе стыдно.

Почему-то всем хотелось ночевать в Государственной Думе — не только тем, кто спасался, но и кто революцию делал.

Пришлось нашим офицерам проверять комнаты — так и заглядывать во все комнаты подряд, как и другие делали. Решились идти и в приличное думское левое крыло. Так же и здесь во всех комнатах люди укладывались на столах, на диванах, на составленных стульях и на полу. И солдаты тоже.

Наконец нашли не столь набитую комнату — „Секретарь Председателя Государственной Думы''. Места были только на полу, рядом с солдатами. Ничего не поделать. У них же и научились: взяли от печки каждый по три полена и положили их под головы. Легли все трое рядом, не снимая шинелей, лишь расстегнув, тепло было. Братья по бокам, Греве между ними.

Одна лампочка оставалась светить на комнату.

Днём так хотелось спать порой, а тут не сразу и заснёшь: и внутри ещё всё ходит ходуном, и голод грызёт, и рёбра поленьев режут голову, и новое непривычное униженное положение.

Полушёпотом ещё поговорили. Всё не укладывалось.

Всеволод лёг на бок, деревянную ногу книзу, лицом к друзьям,— и тихо рассказал обоим:

— А вот, живёт в Угличе такой старик Евсей Макарыч. Много он читал

Священного Писания и прошлой осенью предсказывал так: скоро наступят для всей России горькие времена-бремена. Люди будут тем спасаться, что надевать лохмотья и уходить туда, где их никто не знает. И будет голод много лет. И людей будут опустошать и уничтожать многими тысячами. Сначала будет плохо одним, потом плохо другим, потом плохо всем. И только седьмое поколение будет снова жить хорошо.

Да...

Теперь надо было заснуть, но не слишком надолго, не пропустить предрассветья, вовремя тихо уйти, иначе опять на сутки застрянут.

Но в чутком сне ещё раньше проснулись от сильного вздрога Греве.

Он — сидел, глаза его блуждали, отдышивался тяжело.

— Что с вами, Павлик?

Держался за бок, на лице страдание:

— Приснилось: всадили штык. Вот сюда.

237

Из своих злонесчастных тяжких позиций всё близ того же Стохода, где прошлым летом и прошлой осенью столько гвардейских сил было положено и уложено на приречных болотах, сегодня утром Преображенский полк получил приказ смениться: выйти из окопов в резерв своей 1-й гвардейской дивизии.

Повеселели солдаты, повеселели офицеры — надеялись недельки три теперь поотдыхать, походить не гнясь, и по земле, а не ходами сообщения, не знать разведок, не знать сторожевого охранения, спать ложиться — как люди, и многие даже в домах.

Но ещё не растянулись они поспать первую ночку, ещё и не стемнело — как командиру полка, флигель-адъютанту свиты Его Величества генерал-майору Дрентельну передали из штаба дивизии, что Преображенский полк в любую минуту может быть вызван куда-то.

Полк довольно располагался в резерве, не зная об этой тревоге.

Уже стемнело, когда Дрентельн получил секретную телеграмму из штаба фронта, перелагавшую секретную телеграмму генерала Алексеева из Ставки: Государю благоугодно вызвать в Петроград Преображенский, 3-й и 4-й гвардейские стрелковые полки для подавления беспорядков.

Та-ак! Дрентельн забывал свой окопный ревматизм. В Петербург! Там беспорядки, ерунда, но в Петербург! Повидать стольких друзей и знакомых; хотя он только что приехал оттуда из отпуска — но с охотой снова.

Команда грузиться была на ближайшую крупную станцию — Луцк. В темноте полк был разбужен, поднят — и выступили походным порядком на Луцк в непроглядную темень и снежную грязь.

И месили её — 30 вёрст.

Всё же какие ни молодцы-удальцы, но к утру выбились — и пришлось трём батальонам дать привал, поспать часа три, в деревне Полонная Горка в 8 верстах от Луцка.

Сам же Дрентельн поехал вперёд, на станцию, куда 1-й батальон уже достиг и готовился к погрузке.

На вокзале Дрентельн обнаружил растерянность у комендантских и железнодорожных чинов,— а в зале близ кассы висел приклеенный на стене, от руки написанный листок — принятая телеграмма какого-то комиссара путей сообщения неведомого Бубликова, который передавал приказ Родзянки: старая власть оказалась бессильной, Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти.

Что за бред? Как это понять? Кто повесил?

Принятая телеграмма из Петрограда.

Тут Дрентельна разыскал офицер связи из штаба армии и подал ему распоряжение командующего Особой армией Гурко: посадку полка временно отложить.

Дрентельна зазнобило. Сочетание этих двух распоряжений было уже нечто очень тревожное. Если что-то делалось в Петрограде с властью — то как раз

и нужна была там гвардия! Кем отставлен переезд? Самим ли Государем? Нет ли здесь недоразумения?

Или даже измены?

Особость момента и особость положения Преображенского полка дали Дрентельну смелось не выяснять через дивизию и корпус, а отправиться прямо к генералу Гурко: штаб армии был тут же, неподалёку под Луцком, в католическом монастыре.

Проехал в автомобиле по пустым ночным плохо освещённым улицам, видя в фонарях только разбрызгиваемую снежную грязь. Потом по загородной дороге.

Проверены в воротах — въехали во двор.

Дрентельн просил дежурного офицера доложить командующему, несмотря на то, что было уже 4 часа утра. Но не удивился дежурный,— и генерал Гурко принял генерала Дрентельна за письменным столом в полной форме, то ли ещё не ложившись, то ли уже поднявшись. Всегда серьёзный, решительный, острый, он выглядел сейчас ещё впивчивей, сжатый рот, усы настороже, стянутые глаза настороже, сосредоточен, и маленькая голова поворачивается быстро.

Никакого замечания не сделал за обращение не по команде.

Приказ? Приказ, генерал, передан Брусиловым от самого Алексеева. Какое основание мы имеем сомневаться? Воля Государя и всегда передавалась через генерала Алексеева. Никому из командующих армий, ни даже фронтов не дано сноситься с Государем непосредственно. Мы — обязаны выполнять. Мы не имеем права переспрашивать.

Но это — не в упрёк Дрентельну. Живые потемнелые глаза генерала Гурко смотрели очень тревожно, и глазами он, кажется, выражал то же самое сомнение.

Но отправить сам преображенцев в Петроград — не смел.

Дрентельн ощущал себя, как паралитик, у которого голова работает, а пошевельнуться не может.

Итак, в ожидании дальнейшего, полк останется в Полонной Горке, 1-й батальон устроить в бараках при вокзале.

На том же вокзале, опять проходя мимо и косясь на мерзкую телеграмму Бубликова, сел пока ожидать и Дрентельн.

Не просто он был командир полка, уже больше года, и не простого полка: в этом полку служил сам Государь, и Дрентельн был его сослуживцем тогда, и обласкан, и близок. И — годы в государевой свите, помощник начальника походной канцелярии, пока его не отлучила императрица из-за его вражды к Распутину. (И даже преображенцев хотела у него отнять.) Не имея никакого служебного права — Дрентельн однако должен был и мог обратиться непосредственно к Государю.

Из 1-го батальона он вызвал доверенного офицера поручика Травина и велел ему готовиться ехать с тайным письмом к Государю.

Пошёл к начальнику станции, достал хороший лист, чернил, сел, стал писать за столом под яркой лампой.

„Ваше Императорское Величество, наш дорогой Государь!

По первому Вашему знаку преображенцы будут подведены к подножию Вашего престола, какие бы препятствия их ни ждали..."

Одно облегчительно помнил: ведь есть же преображенцы и в самом Петрограде, пусть и запасной батальон. Они-то! не стерпят и не останутся безучастны!

═══

ЧТО И СВАРИЛИ — В ПЕЧИ ЗАСТУДИЛИ

═══

ПЕРВОЕ МАРТА

СРЕДА

238

В вагоне были одни офицеры, человек сорок их ехало из Томска в Ораниенбаум для прохождения пулемётного курса в офицерской стрелковой школе. В Тихвине вошёл в вагон комендант и объявил:

— Господа офицеры! В Петрограде бунт. Я не советую вам туда ехать.

Недоумение: какой бунт? что за бунт? Комендант и сам точно не знал. Политические волнения? Да даже если революция, которой ожидали,— так это нас не касается, мы — военные люди, мы относимся к фронту. Что нам грозит? Ничего, поедем посмотрим.

Бывший студент Аксёнов, сын слесаря и казачки, про себя подумал: если революция, то разве мы её враги? Даже интересно.

А стоянка в Тихвине — четверть часа, надо решать. Меньше половины быстро собрались и ушли из вагона, больше половины осталось.

А поезд опаздывал. Он должен был придти в Петроград поздно вечером, но вот уже ночью шёл, дремали, размаривались. Кто-то предложил спрятать револьверы в чемоданы. Так и сделали.

К Николаевскому вокзалу подошли в третьем часу ночи, перрон тёмный. Но — движенье на нём, и сразу ворвались в вагон солдаты с красными бантами. И при свете поездных свечных фонарей приставили штыки к грудям первых же:

— Господа ахвицера! Сдавайте оружие!

Тут, в вагоне, в мерцаньи свечей, не видев Петрограда, ничего не узнав — и решать? и сдавать? Оттого ль, что дремали, час нековременный, как-то и сопротивления не было,— стали шашки сдавать.

Странное чувство, как оголённые или оплёванные. Пошли с чемоданами — куда же? в буфет.

По вокзалу освещение скудное, не всюду. Бродят солдаты, посматривают. Офицеры тесной группкой, защищая себя числом.

Буфет первого класса оказался нараспашку, но разнесен и разбит, осколки на полу, никого из буфетчиков, ни еды, ни посуды, часть стульев поломана, другая унесена,— а прямо на столиках сидели солдаты, курили, шумно разговаривали, не обращая внимания на офицеров.

Одно другого дичей. Бесприютно прошлись по вокзалу — уехать не на чем. Уставили все чемоданы вместе, столпились группкой. И так стояли потерянно, час или больше. Глупое, безвыходное положение. Поезда на Ораниенбаум всё равно не раньше утра, и не тащиться же сейчас на Балтийский пешком.

Вдруг со звонким весёлым разговором вошли в зал четыре студента и две курсистки. Они говорили громко, уверенно, как хозяева тут и будто ничего особенного не происходило. Они глянули на офицеров, но вниманья бы не обратили и прошли — если бы Аксёнов, обрадовавшись своим, не вышел к ним сам. Заговорил, представился, что недавний студент, и другие офицеры такие же. (Несколько и было студентов, а те всё равно молодые, подходят.)

И сразу переменилось.

— Ха-а! Товарищи! Так пойдёмте, мы вас угостим хоть шоколадом!

— Где ж это?

— Да тут, на Разъезжей, не так далеко.

— Да мы с чемоданами.

Никакой камеры хранения, конечно, на вокзале не было, всю разобрали, или разворовали.

— Да оставляйте здесь. Мы вот солдат попросим.— И с уверенностью в расположении и подчинении — к солдатам, сидевшим недалеко: — Товарищи солдаты! Вы здесь побудете? Посмотрите, пожалуйста, за чемоданами.

Уверенно говорилось — и солдаты, как переменённые, обещали.

Рискнули, пошли. Между собой смешки: там-то револьверы.

По дороге узнали от студентов, что в Ораниенбауме мятеж ещё сплошней, нечего туда и ехать: восстали оба пулемётных полка и уже прибыли в Петроград.

Вот так-так.

На Разъезжей во дворе была у них целая столовая, питательный пункт для революционеров. Объяснили, что таких питательных пунктов много сейчас открылось по Петрограду. Откуда же продукты? Начинали вскладчину, а сейчас — за счёт реквизиций частных складов.

Как одна и та же жизнь в одни и те же минуты и рядом — для одних мучительно тянется, грозит опасностями, взбаламучена, непонятна, а для других всё весело и легко!

Ярко горели лампочки, скатерти, правда, сильно замазанные посетителями, сварили им прекрасного шоколада, подали горячим да с бутербродами, со сдобными булочками.

Отлично поели. Весело разговаривали. Не все. Какое-то опьянение, хотя от шоколада ж не опьянеешь. В несколько часов — вагонное томление, отдача шашек, растерянность и этот шоколад. А что там с чемоданами?

Не хотелось уходить, сидели б и сидели до утра. И — куда же теперь, если не в Ораниенбаум? Кто же властен сменить назначение офицеру?

Возвращались по пустынной улице без студентов — и как будто беззащитные. Вот перевернулось: студент — защита офицеру!

Но никого на Лиговке не было, самый глухой час.

И чемоданы — оказались все целы! те самые солдаты добродушно доложили. Один из них, поразвитей, спросил:

— Вы куда хотите пройти? — (Не добавил „ваши благородия'' или „господа офицеры''.)

— Да в какое-нибудь учреждение...— Сами не знали в этом потерянном мире.

— А вы пройдите в Таврический дворец, там наверно вам укажут, что делать.

— Да мы и дороги не знаем, не здешние. И трамваи утром не пойдут?

— Трамваи? — засмеялся.— Их не будет. Да мы вас проводим. Сейчас время такое, а вы офицеры, целой группой вместе идёте, чего подумают. Давайте проводим.

А что ж, вещи опять оставить? Опять оставили.

Пошли. Между тем рассветало.

Около памятника Александру III лежал убитый в штатском, и густо-красный снег под ним.

Улицы безлюдны, но начинали оживляться. Около хлебных лавок выстраивались хвосты.

Перед Таврическим ещё было пусто. Караул впустил без труда.

За столиком подпрапорщик из вольноопределяющихся был очень обрадован:

— Как хорошо, господа офицеры, что вы пришли! Вы поможете нам устанавливать порядок!

Как приятно. Возвращались в нормальное состояние.

Одним предложил помогать какому-то поручику выписывать удостоверения всем офицерам, кто явится. Другим... А Аксёнову:

— Будьте добры, господин прапорщик! Сейчас явится сюда взвод солдат гвардии Волынского полка. Возьмите их, пойдите на Исаакиевскую площадь, там грабят винный склад. Восстановите порядок, поставьте караул.

Аксёнов потянулся пощупать пустое место на левом боку, как отрезанную конечность.

— Шашку? — догадался подпрапорщик.— Господа, это у нас есть, пойдёмте выбирать.

И в соседней комнате показал им груду сброшенных шашек.

Выбрали, надели. Не своё, не так, а сразу — лучше, людское состояние.

Тем временем взвод уже пришёл и ждал у крыльца. Унтер подошёл с рапортом, правда не „ваше благородие'', а „господин прапорщик''.

Оказалось — надо далеко, и Аксёнов решил: пять минут шагом, пять

минут бегом, всё время подсчитывая ногу, проверяя дисциплину. И что ж? Держались прекрасно, как будто никакой революции.

Так ничего ещё такого страшного.

Грабители разбежались, уже на виду их, завидев через площадь.

Забили склад досками. Поставил караул на час.

239

— А вы, Юрий Владимирович, смелый человек. Как это вы так сразу ко мне поехали? Действительный статский советник! Ведь вы же понимали, что похоже на авантюру?

Бубликову хорошо лежалось в этом кабинете, а через день-два он перейдёт в кабинет Кригера. Проснулся, переполненно довольный своими вчерашними действиями. Одна настольная лампа всё время горела на столе: рваная ночь, звонки да вскоки. Да было уже утро, скоро семь.

С другого дивана басовитый смешок Ломоносова:

— Взвесил, конечно.

— Ведь революция что могла сделать — уже всё и сделала: свалила правительство, захватила Петроград. А больше у неё нет сил ни на что. Вы видите, что делается с гарнизоном? Гарнизона сразу нет, остался сброд. Никакого отряда никуда выслать невозможно. И чем мы будем Иванова отражать — я не представляю. В Думе, вы видите, полная растерянность, ни руководства, ни решительности.

Он так по-настоящему не думал, но — проверить.

Ломоносов, так же помятый от лёжки одетым, как и Бубликов, рассматривал лепку на потолке:

— Ну, чего-нибудь же стоит, Алесан Саныч, вся традиция свободолюбия, в которой воспитаны три русских поколения. Она нас как-нибудь и выручит. Я и в генеральском мундире всегда был — запасной рядовой революции. У нас каждый культурный человек на счету, мы не имеем права неглижировать собой. А то, позволительно спросить: на что рассчитывали вы, когда шли сюда и когда меня вызывали?

— А вот,— сам себе удивлялся Бубликов,— какой-то порыв! Я в Думе просто позорился от безделья, как они все там руки опустили. И подумал: ну как не использовать министерство путей сообщения, если мы тут как рыба в воде, а никто больше ничего не понимает?.. Вообще, для человеческой деятельности существует только три стимула. Любознательность. Стремление к славе. И стремление к комфорту. Первые два по всяком случае у меня наличествовали.

— А освобожденческая традиция?

— Не уверен. И смотрите, как оказалось легко: просто нахрапом начать приказывать всей России — и слушаются. Россия — привыкла слушаться, наш народ — никуда не годится.

— Но мы пока ещё ничего серьёзного им не приказывали.

— Ну всё-таки! Моя телеграмма пошла по всей России без сопротивления. Во всяком случае, я вам гарантирую, что вы будете у меня товарищем министра. Нынешних обоих придётся убрать. А вот если что, если что... Так мы побежим с вами через Финляндию, успеем.

Ломоносов невесело:

— Да кто ж не бегал через Финляндию. Не мы будем первые.

Всё опять ходуном внутри.

— Знать бы, насколько серьёзные эти войска у Иванова. Если хороших есть полка четыре — то за полдня раздавят.

Бубликов закричал с диванного валика:

— Но я хочу знать, куда повернул царь? Куда он там едет!

Ломоносов перекатил по валику голову, сощурил цепкие глаза:

— Может, в Москву? Чтобы там укрепиться?

— Не-ет,— ликовал Бубликов,— мой диагноз, что он в панике!

Ломоносов спустил ноги и сидел, наклонив голостриженную голову с оттянутым мощным затылком:

— Надо не дать ему вернуться к войскам.

— Верно! Да что, чёрт возьми, этот Родзянко не мычит, не телится?

От самого поворота царского в Вишере они ему звонили — то не могли его найти, то не могли добудиться, наконец велел заказать с Николаевского вокзала поезд, поедет к царю сам, и вот уже, звонят,— поезд готов, а Родзянко всё не едет, всё через полчаса,— а царский поезд прошёл Алешинку, прошёл Березайку...

Дружно вскочили, пошли в соседний кабинет Устругова, начальника службы движения, откуда была связь по линиям. Устругова они домой не пустили, он спал где-то ещё, а при телефонах сидел неусыпный костлявый Рулевский.

Рулевский только что узнал из Бологого, что оба царских поезда прибыли туда.

— Уже? — метнулся Ломоносов.— Задерживаем сами, никого не спрашиваем! — Схватил линейную трубку.

Бубликов — за городской:

— Нет-нет, всё-таки надо спросить Родзянку, комиссар-то я от него.

И опять, и опять ждать, пока там в Думе ищут, вызывают, советуются. Уже у Бубликова рука затекала трубку держать — ответили: да, царский поезд в Бологом задержать, удостовериться, что телеграмма Председателя передана ему.

Как они боялись, страховались — задержать, и тут же оправдательная телеграмма. Нет, не будет из них революционеров!

И когда это Бревно наконец сдвинется и поедет на вокзал?

Зато Бубликов с Ломоносовым ощущали себя в полёте, какого не знавали в жизни. Или всё уже выиграно, или всё потеряно! Ни умываться, ни чаю пить,— ходили, нервно потирали руки, пылали в четыре глаза: небывалая охота! Задерживаем Царя!

Бологое что-то не отзывалось. Вместо того самая верная за эту ночь из дорог Виндавско-Рыбинская доложила: из импереторского поезда поступило требование дать назначение на станцию Дно.

Молниеносно: Николай хочет пробраться к армии?!

— Не пускать ни в коем случае!

— Слушаю, будет исполнено.

Хор-рошо! Ещё потирали руки, похаживали, ещё изучали карту, как шахматную доску. Значит, во всяком случае — не на Москву. Движение царя на Москву опасно, хотя и там уже *начинается.*

И вдруг с Бологого подали телеграмму:

„Поезд Литер А не получив назначения прежним паровозом отправился Дно".

Бубликов взбесился! закричал! зачертыхался! затопал! — и к трубке — упустили, идиоты!!!

Туда им: изменники! головы оторвём! расстреляем!

Но что-то — делать? Что-то делать!

Ломоносов впился десятью пальцами в карту на стене. Цедил, соображая:

— Задержать его прежде Старой Руссы...

Но задержать — кем? чем?

Взорвать мост? Разобрать пути?.. Можно попробовать, но Дума совсем перепугается.

Да и кто это будет, как этим на расстоянии управлять?

— А вот что: забьём полустанок товарными поездами. Где два пути — поставить два поезда, вот и всё.

Вызвали Устругова. Пришёл, исправный движенец, вялый от сна.

Бубликов распорядился.

Устругов вздрогнул, очнулся. И, чиновничья душа, отказно глянув на дерзких революционеров, заикаясь:

— Нет, господа, этого не могу... Такое распоряжение... невозможно.

— Что-о?

— Как? Отказываетесь?

Вдруг из угла выбежал длинный худой Рулевский с револьвером — и приставил прямо к переносице Устругова:

— Отказываешься?

И Ломоносов присмехнулся:

— Милейший, придётся подчиниться.

ДОКУМЕНТЫ — 6

Виндавская ж-д, ст. Дно

1 марта (около 8 ч. утра)

Благоволите немедленно отправить со ст. Дно в направлении на Бологое два товарных поезда, занять ими разъезд и сделать фактически невозможным движение каких-либо поездов. За неисполнение или недостаточно срочное исполнение настоящего предписания будете отвечать как за измену перед отечеством.

Комиссар Государственной Думы
Бубликов

240

Кажется, никогда так трудно не выбуживали — да ведь не молодое офицерское время. Сперва Родзянко вообще ничего не мог разобрать-понять: смотрел на часы — шестой час? А лёг в три? кто затеял требовать, почему? Ах, этот Бубликов неуёмный.

Этот Бубликов вчера вечером ни с какой целью, просто из революционного озорства, предлагал: не остановить ли царский поезд? Охладил его Родзянко, что цели такой нет.

А сейчас он докладывал, что *царь слизнул* — так буквально, *слизнул*: от Малой Вишеры повернул назад!

Вот так-так! — пробуждался Родзянко.— Что ж это могло значить? Намерения Государя переменились?

Но оторванному ото сна так трудно уразуметь, ещё трудней что-нибудь решить.

Да, хотели же повидаться. Куда он?

Что-то надо ответить.

— Вот что. Вы дайте Государю по линии телеграмму, что я прошу у него аудиенции в Бологом. И приготовьте мне на Николаевском вокзале поезд, я скоро поеду.

Но хорошо — сказать. А не только сил нет подняться — а как же ехать самовольным решением? Ведь заругают. И — с чем ехать? Чего просить? на чём настаивать? А если Государь — ни на что не согласится, тогда как? Надо с коллегами посоветоваться. А они спят хоть и в Таврическом — так тоже не добудишься, не досознаешься.

И сам свалился ещё на полчасика.

Разбудила жена через два: от Бубликова всё звонят, и поезд готов!

Ну, теперь уже время человеческое. Голова прояснела — и стукнуло в неё: да не в Москву ли??.. Да не в Москву ли он покатил?

О, конечно! И там объявит свою столицу! И оттуда будет давить мятеж. А мы — не успели Москвой овладеть.

Плохо!

Надо догонять! Надо удержать Государя от безумия!

Ах, время пропустил!

Скорей умываться! Скорей автомобиль!

Покатил в Таврический.

Под лежачий камень вода не течёт. Надо нагонять Государя! И остановить его от чего-то непоправимого. И окончательно перенять себе правительственную власть, ответственное министерство.

Всё твёрже и увереннее наливался Родзянко. Наконец, пришло время говорить с Государем не только в форме верноподданной просьбы. Подошёл момент и потребовать.

Ему рисовался разговор достойный, независимый, собственно — равный,

даже с перевесом сил у Председателя. Разговор, начинающий новую эру в истории России.

По сути от хотел перенять власть из слабых рук Государя в свои сильные — для пользы родины.

На февральском докладе почему-то так почувствовал, сказал Государю: это я последний раз у вас, больше не увидимся.

А вот и увидимся.

Но в Таврическом ещё никого он не успел созвать, как телефонировал Бубликов: царский поезд упущен! улизнул из Бологого без разрешения на Валдай!

На Валдай? На Старую Руссу? Куда ж это? Ну, хорошо, что не на Москву. И ещё лучше, что не в Ставку.

Ну, держите мой поезд под парами, скоро поеду!

Куда ж он двинулся? Если на Петроград — то уже было совсем рядом, зачем же объезжать?

Тут недремлющий секретарь — у Председателя, несмотря на всю сумятицу в Таврическом, ещё были секретари, и у них столы, и они пробивались через толчею,— поднёс копию записки великого князя Кирилла начальникам царскосельских воинских частей. Поскольку гвардейский экипаж Кирилла приписан к Царскому Селу, то и сам он как такой начальник сообщал остальным, что он, свиты Его Величества контр-адмирал Кирилл, со своим экипажем вполне присоединился к новому правительству — и уверен, что также все остальные царскосельские части присоединятся.

Здорово! Вот это — неожиданная поддержка! Удивил и изумил! Даже развеселил: уж если видные члены династии и сами присоединяются... и ещё других зовут! Наша победа!

Сильно взбодрился Родзянко, совсем другое ощущение. Наша победа! (Да что ж он сам, голубчик Кирилл, не докладывается, прямо?)

А каково теперь ведьме в Царском Селе?

Легка на помине. Комендант царскосельского дворца передавал просьбу государыни принять меры к водворению порядка в Царском Селе и в районе дворца. И ещё такая от государыни просьба: не может ли господин Родзянко приехать к ней этим утром переговорить?

Ну, дура форменная, не представляющая жизни! Как она это себе воображает, что Председатель поедет к ней сейчас с визитом? Как бы это выглядело в глазах революционного Петрограда! Раньше даже не приглашала к завтраку, когда он ездил на всеподданнейшие доклады. А теперь — просила приехать? Как смирилась! А почему потеряла вчерашний день, и вечер, и ночь, пренебрегла родзянковским советом уехать поскорей? Ждала супруга? А он вот повернул.

Ну, двух депутатов Думы послать на успокоение Царского можно.

Кажется, день начинался неплохо. Рассвело. Вот уже скоро опять, наверно, станут подходить к Таврическому с музыкой и в дурном строю воинские части, желающие приветствовать Думу. И в общем, эти шествия лучше, чем солдатский бунт. Но сегодня пусть служит отечеству горлом кто-нибудь другой — а Председатель поедет на переговоры с царём.

Пора была известить Комитет о своей поездке, договориться о полномочиях, да ехать на вокзал.

Но тут почти вбежал бледный Энгельгардт.

А такая обстановка опять была, посторонняя публика, не всё и скажешь вслух. Отошли в сторону.

— Михаил Владимирович, страшная беда! — говорил Энгельгардт, в военном мундире, но не с военным видом крайнего испуга.— Откуда-то пошёл среди солдат слух о каком-то „приказе Родзянко", которого вы ведь не издавали? Будто ваш приказ: всем возвращаться в казармы, сдавать оружие и подчиняться офицерам.

Брови и лоб Родзянки выкатились. Такого прямого приказа он не издавал, но высловлялся именно так,— а как же иначе? А если солдатам не вернуться в казармы и не подчиниться офицерам...? До каких же пор хулиганить?

— Ужасное, ужасное недоразумение! — сокрушался Энгельгардт.— Вы

не представляете, что заварилось! В казармах — новые вспышки! Вернувшихся офицеров — прогоняют, грозят убить! Говорят — будет массовое их избиение! И грозятся убить — вас!.. Вам небезопасно выходить сейчас к делегациям...

Родзянко почувствовал, как кровь отлила от головы и объяло её недобрым холодком.

И это была ему благодарность за то, что всех их он спас этой ночью!

ДОКУМЕНТЫ — 7

ПРИКАЗ

(1 марта)

Господа офицеры петроградского гарнизона и все господа офицеры, находящиеся в Петрограде!

Военная Комиссия Государственной Думы приглашает всех господ офицеров, не имеющих определенных поручений Комиссии, явиться 1 и 2 марта в зал Армии и Флота для получения удостоверений на повсеместный пропуск и точной регистрации, для исполнения поручений Комиссии по организации солдат...

Промедление явки господ офицеров к своим частям неизбежно подорвет престиж офицерского звания... В данный момент, перед лицом врага, стоящего у сердца родины и готового пользоваться ее минутной слабостью, настоятельно необходимо проявить все усилия к восстановлению организации военных частей...

Не теряйте времени, господа офицеры, ни минуты драгоценного времени!

241

Георгий проснулся не в темноте по будильнику, как приготовлено было, а падал через открытую дверь дальний непрямой свет. И Калиса стояла у кровати, будя его.

Уже ждал его горячий завтрак.

Теперь как по тревоге он вскочил, оделся, сапоги его ещё вчера с утра были начищены. Вот и сидел за столом. Калиса кормила и охаживала его со всей привязанностью, и угадывала, что бы ему ещё.

Как жена. Нет, не как жена. Нет, именно как жена! — он только теперь узнавал.

Смотрел на её капот в подсолнечной россыпи, смотрел на её добрую улыбку и поражался, и не верил: позавчера ещё сторонняя, какая же она стала своя и близкая. Как успокоительным маслом натёрла сердце его.

Раз и два поймал её руку и с благодарностью окунулся в ладонь.

Эти предрассветные утренние сборы прорезали напоминанием о других сборах: как он уходил на эту войну. Тоже было ещё темно, проснулись они по будильнику. И Георгий сказал Алине: „да ты не вставай, зачем тебе?'', зачем ей терять постельное тепло (а сам-то хотел, чтобы проводила). Но Алина легко согласилась и осталась лежать, натягивая одеяло,— то ли ещё заспать горькие часы, то ли понежиться. А он поглотал в кухне холодного и уже в шинели, в полной амуниции, подошёл ещё раз поцеловать её в постели. Так и ушёл на войну и сам не находил в этом худого, хотя в те дни по всей России бабы бежали за телегами, за поездами, визжали и голосили.

И только вот сейчас, когда Калиса отчаянно обнимала его за шею, утыкалась в лацканы колкого шинельного сукна, вышла с ним во двор и ещё на улицу бы пошла, если бы это было прилично,— только сейчас он обиделся на Алину за те проводы.

Быстро пошёл по пустынной Кадашевской набережной. Ему надо было до вокзала неизбежно зайти домой. Но сейчас он вполне мог и домой.

Рассвет был туманный. Набережная была видна повсюду, а через реку, ещё разделённую островом, туман уплотнялся так, что Кремль не был виден, только знакомому глазу мог угадаться.

У Малого Каменного стал ждать трамвая. Сколько дозволял туман — не было видно. Ни в другую сторону.

Воротынцев стоял так, задумавшись, рассеянно наблюдая где дворников, скребущих тротуар, где разносчиков молока, булок. Не заметил, что, как ни долго не было трамваев, никто больше не подходил к остановке.

И сколько б он так простоял, не очнувшись, если б не подошла баба с корзиной бубликов и сочным говором, жалеющим голосом обратилась:

— Ваше благородие! Трамваи ить не ходят. Второй день.

— Как? — обернулся Воротынцев.— Почему?

— А — не знаю. Забунтовали.

— Да что ж это? — будто баба знать могла.

Могла:

— В Питере, говорят, большой бунт. Вот и эти переняли.

— Воо-от что... Спасибо.

Значит, в Петербурге не стихло.

Взять извозчика? Но теперь Георгий понял, что и извозчик за это время ни один не проехал, и сейчас не видно было.

Да что тут ехать? — глупая городская привычка. Он быстрым лёгким шагом пошёл через Малый Каменный мост, и дальше на Большой Каменный.

Теперь, хотя морозный туманец не ослаб, но вполне рассвело, и сам он ближе,— стала выступать кирпичная кремлёвская стена, и завиделись купола соборов, свеча Ивана Великого.

Что же с ним, что в этот приезд он даже не заметил самой Москвы, ни одного любимого места,— всё отбил внутренний мрак.

Зато теперь, пересекая к Пречистенским воротам, он внимчиво, освобождённо смотрел на громаду Храма Христа. Стоит! Стоят! Всё — на местах, Москва — на месте, мир на месте, нельзя же так ослабляться.

Да, действительно, так и не прозвучал и не появился нигде ни один трамвай. Один, другой санный извозчик прогнали поспешно, в стороне. И людей было мало.

Чуть бы позже — газету купить, узнать, что это где делается,— но киоски закрыты, и газетчики не бегут.

На углу Лопухинского булочная уже торговала, внутри виднелся народ, а снаружи хвоста не было. Булочная Чуева у Еропкинского ещё была закрыта.

А сохранялось радостное ощущение — излечения. От алининых терзаний, претензий. Он освобождён был ехать на своё фронтовое место. Совсем без угнетения всходил на лестницу и только когда дверь открывал — хотя знал теперь, что она в отъезде, что её быть не может, что не вернуться ей так быстро,— всё-таки сжалось на миг: вот сейчас она выскочит с раздирающим криком.

Но не выскочила. Всё же — сразу обошёл комнаты и проверил. И посматривал на все места ножниц: не раздвинуты ли опять жалами?

Но — не было Алины, и все ножницы лежали спокойно соединёнными, как он их оставил,— когда ж это было? Только позавчера?..

Пошёл проверил почтовый ящик — тоже ничего.

Самое главное — не было этой соединённой боли всей квартиры — и всей кожи — и всего сознания, острой боли от каждого взгляда на каждый предмет. Он смотрел вокруг и удивлялся, как всё надрывало его тут позавчера. Как он мог так мучаться? Сейчас — его не бередило, сейчас он бодро мог побриться, собраться, да и прочь, пока Алина не нагрянула.

А уезжал-то он отсюда — не навсегда ли? Через месяц — великое наступление, и Семнадцатый год по изнурению, по потерям не затмит ли три предыдущих?

Пока расхаживал да брился, думал, написать ли ей письмо? Что-то надо было ей оставить, совсем короткое простое?

Но чувство вины ушло. Но и никакого другого, отталкивающего, к Алине тоже не возникло. Эта несчастная её способность всё превращать в громокипение. И когда ты под снарядами.

За тем прошло может быть и больше часа, туман изник, день обещал ясность. Воротынцев услышал с улицы, несмотря на замазанные рамы, шум многих голосов и обрывки пения.

Подошёл к уличным окнам — не высунуться, плохо видно вниз. Пошёл к окну, смотрящему вдоль Остоженки,— и увидел в спину толпу человек в двести, скорей молодёжи, рабочей, не студенческой: нестройно, но весело они шли в сторону Пречистенских ворот — с красным вроде флагом на палке. Кто-то запевал, не подхватывали, а гулко говорили все.

Из шествия один выскочил, побежал к решётке Коммерческого училища — и там проткнул и рванул косой полосой наклеенный лист объявления, которого утром в сумерках Воротынцев не заметил. Но лист остался, так и свисла косая отдирка.

Что-то творилось! Если с раннего утра такое шествие? Надо будет газету достать. И пойти прочесть это объявление.

Сбежал вниз. Привратница сказала ему, что никаких газет нет второй день, а в городе — „бушують".

Быстро пересек Остоженку, подошёл к изуродованному объявлению, близ которого и читателей не было, и придерживая отодранную полосу, что наверно выглядело смешно, прочёл:

„Объявляю город Москву с 1 сего марта состоящим в осадном положении. Запрещаются всякого рода сходбища и собрания а также всякого рода уличные демонстрации. Требования властей должны быть немедленно исполняемы. Запрещается выходить ранее 7 утра и после 8 вечера кроме случаев...

Командующий войсками
Московского Военного Округа
генерал-от-артиллерии Мрозовский".

242

Сколько там было сегодня сна, и как государыня без него держалась, ещё при расширенности сердца, слишком требовательно перерабатывающего все события? Ожидая приезда Государя, она поднялась и оделась в пять утра. Как сговорясь, покинули её все, все болезни и боли, которые многомесячно и многолетне приковывали к постели, к кушетке, к возимому креслу, почти не давая появляться ни в обществе, ни в Петербурге. И — не отказывали ноги. И даже — при испорченном впервые лифте, стало для неё вполне посильно подниматься по лестнице к детям на второй этаж.

Стряхнулись все оправдательные помехи, не оставляя ей в эти дни никаких уловок, а только проявить всю волю, всю власть. Но теперь-то и оказалось, что — не через кого проявить: все линии её власти обрывались на придворных и не продолжались дальше.

Должны были доложить во дворец по телефону в ту же минуту, как поезд Государя прибудет на станцию. Но в пять часов его ещё не было. Ни в половине шестого. А близ шести доложила камеристка, что передали со станции: поезд Государя задержан, где, кем, почему — неизвестно.

За-дер-жан??! Государь з а д е р ж а н в своём отечестве???

Может быть — обстоятельствами? может быть — поломкой? вьюгой? А иначе — что же делала железнодорожная охрана? власти? Ставка, генерал Алексеев?

Генерал Алексеев — как же может допустить такое, со своими главнокомандующими?! Ах, говорила Государю не раз: грязный он мужик, прислушивается к Гучкову, к дурным письмам, потерял дорогу. Посылал Господь эту болезнь, перстом указывал — отодвинуть его. А Государь вернул.

Однако всё, что она могла,— это с выравненным окрепшим телом расхаживать по дворцовым переходам, опираясь на руку дежурного офицера Сводного полка Сергея Апухтина,— и швырять о стены свои отскакивающие вопросы, и смотреть в немые тёмные окна.

Она гневно спрашивала у стен — но внутренне уже подготовлялась, что всё — возможно.

Царское Село было черно, неподвижно.

Не укрыла своей тревоги от рано поднявшейся Лили Ден (она спала близ спальни государыни, чтоб не оставить её одну на этаже). Обошли с ней детей. Анастасия — в жару, старшие две девочки плохи. А наследник, напротив,

легче. Но их всех оберегали от внешних известий, оставляя ещё в благой доле — лежать в полутьме с жаром, сыпями и кашлем и совсем ничего не знать, не представлять о творящихся событиях.

Долги и мучительны были эти ночные часы до рассвета, не приносившие никакого разрешения и разгадки.

На память о них императрица подарила Апухтину свой платок в слезах и пепельницу императорского фарфорового завода.

От офицеров железнодорожного полка со станции пришёл слух, что царский поезд где-то остановлен бунтовщиками!

В 8 часов утра, уже в свету, пришёл доложить генерал Гротен: императорские поезда остановлены ночью в Малой Вишере и теперь не поспеют раньше полудня. Но и он не знал причин остановки.

Но ещё несколько часов? Но как остаться безопасными эти несколько часов? Уже вчера вечером бунтовал царскосельский гарнизон, уже вчера вечером шла громить дворцы мятежная толпа из Колпина, слава Богу не дошла, может быть из-за мороза. Но — сегодня?

Как не хотелось унижаться перед этими скотами думцами! И перед этим гнусным Родзянкой, говядиной Родзянкой! Но — уже посылала к нему флигель-адъютанта за распоряжением охранять дворцы,— и теперь уже легче был шаг: просить Гротена звонить немедленно Родзянке, спрашивать его — кто и почему смел задержать Государя?? И: может ли господин Родзянко сам приехать сюда для объяснений?

Самый шумный из бунтовщиков становился единственной законной опорой.

И не было от Государя никакой объяснительной телеграммы! У постели больных детей — ничего не знать об отце!

Ах, зачем же он не поехал по прямой линии через Дно, уже был бы тут?

Теперь слать телеграммы наудачу на разные станции по пути следования?

Да, но где же были — великие князья? Свора ничтожеств! Их голоса только и слышны, когда делить доходы удельного ведомства или хором защищать династических убийц. Сейчас они не только не неслись к императрице с помощью, не спешили ей телефонировать или приехать — но все затаились злорадно и ждали развязки. Что делал Кирилл? Ничтожный пустой хвастунишка, всегда она и видела его таким (но подсылал свою жену с выговорами к государыне!),— таким он и сейчас затаился. Ведь его гвардейский экипаж вот тут стоит — а где же он сам? А милый бесхарактерный Миша, весь в руках своей властной жены, даже и на этой войне так и не ставший человеком? А повеса, развратник, опустошённый Борис, только место занимающий казачьего походного атамана, ведь он не в Ставке сейчас, ведь он где-то здесь болтается, где же он? Да перебирая их многочисленные мужские ряды — императрица и вообразить и назвать не могла такого мужчину, который мог бы представить защиту. Все — тряпки и трусы. Один стареющий Павел хоть похож на мужчину.

Но — что же он делал — не делал? — с гвардией? Но — что ж он придумал и сделал со вчерашнего дня?

И ещё доложили: уходившая из дворца ночевать рота железнодорожного полка — не вернулась утром, как должна была.

Охрана таяла.

Хам Родзянко передал, что не может быть речи о его приезде — и ничего он не знает о причине задержки Государя.

Не может не знать, лжёт как всегда. Но обещал, что пришлёт в Царское Село для успокоения — депутатов Думы.

Этой Думы, которую всю давно следовало разогнать, а кого и обезглавить, депутаты — теперь явятся как ангелы-хранители царской семьи. Боже, до чего всё пало! Боже, куда это всё закручивается!

Тем временем вернулась из Петрограда посланная вчера, по уговору, депутация дворцовой охраны. Им обещали, что дворца не тронут.

Только стоять им с белыми повязками на рукавах. Повязками, означающими что же? Что эта охрана не враждебна взбунтовавшимся царскосельским войскам!..

Ну, может быть, всё и к лучшему, обойдётся мирно. Но где же Государь? Но как же узнать о причине и месте задержки?

Повелела государыня запросить Ставку, по прямому проводу.

Их разлучили на неизвестно какой срок — и вот она осталась единственной и отдельной старшей. Она знала, что и рост и наружность её — царственные, все манеры прирождённой повелительницы. А хмурый сбор её бровей выражал все её неизбежные 46 лет. Но одна способность отказала ей: угадывать и произносить правильные решения.

Доложили: прямая проводная связь дворца со Ставкой — прервана распоряжением Государственной Думы. Отныне такая связь может идти только через Таврический дворец.

То есть, через думское подслушивание, каково! Да будьте вы прокляты, чтоб ещё унижаться до вашего подслушивания!

И — зачем теперь ей Ставка, если Государь неизвестно где?..

243

В штаб Балтийского флота сведения из Петрограда приходили и ночью и утром самые наилучшие: Революция — в полном разгаре. Всем распоряжается президиум Думы во главе с Родзянкой и больше никто, нечто вроде Комитета Общественного Спасения. Разгромлены все полицейские участки! Выпущены все политические арестованные! Порядок постепенно восстанавливается. Только промелькнул очень печальный эпизод на „Авроре'': убили трёх офицеров. Но морской министр вошёл в соглашение с Думой об охране Адмиралтейства, а Родзянко приказывает также и Главному морскому штабу.

Только из Кронштадта ночью же поступили тревожные сведения о беспорядках там, правда — в сухопутной части гарнизона.

Вице-адмирал Непенин не спал. Верный взятому теперь правилу — обо всём объявлять открыто командам, он решил, что и о кронштадтских беспорядках здесь, в Гельсингфорсе, команды должны узнать от самого адмирала.

В 4 часа ночи он велел разбудить и позвать к себе Черкасского и Ренгартена. Составляли текст бодрого приказа по флоту — укреплять боевую готовность, вместе с тем сообщали и о петроградских новостях и кронштадтских беспорядках. В девятом часу утра приказ уже и разослали.

Непенин был очень твёрд. Вчерашние вечерние три визита декабристов к командующему флотом имели наилучший результат. Старшему из них, князю Черкасскому, Непенин сказал, что на взятой позиции он будет неуклонен. И если, например, Государь пойдёт на такое безумие, как приказ о смещении Непенина,— то адмирал этому приказу просто не подчинится!

Да в нынешней изумительной обстановке и странно было бы действовать иначе!

Ещё и оттого Непенин был так смел и дерзок — в 45 лет он испытывал вторую молодость: всего лишь в этом январе, вот только что, он женился на молодой вдове своего адъютанта, погибшего при взрыве крейсера.

Утром же с опозданием пришли две вчерашних телеграммы Родзянки, где он призывал войска и флот к спокойствию, а Комитет Государственной Думы наладит порядок в тылу.

Непенин вновь вызвал Черкасского и Ренгартена прочесть им свой ответ: что он считает намерения Комитета достойными и правильными.

Но это получалось уже не просто вежливое подтверждение, но открытое заявление, что Балтийский флот фактически присоединяется к новой власти?

Тем лучше!

Тут же, в девять утра, командующий собрал у себя в салоне „Кречета'' всех флагманов и капитанов. Прочёл им сведения из Петрограда, прочёл телеграммы Родзянки. И свой ответ.

Затем — и свою телеграмму Государю, что все сведения он объявляет командам и только таким прямым правдивым путём надеется сохранить флот в повиновении и боевой готовности. Более того — передаёт Его Величеству своё убеждение, что необходимо идти навстречу Государственной Думе.

И чем же, правда, не благоразумный совет? И какой же, правда, иной выход?

Черкасский и Ренгартен, стоя у стены, зорко поглядывали на выражения лиц флагманов и капитанов. Разные были выражения, но больше — непроницаемые. Нельзя было ясно определить, кто и насколько действительно принимает, а не просто вынужден подчиниться.

Но коренастый, сбитый Непенин и не спрашивал их согласия. Он обвёл всех тяжёлым взглядом (угадывая это сопротивление), протолкнул твёрдо, негромко, очень внушительно:

— Требую от вас полного повиновения! Всё, господа офицеры.

И ни слова больше. Он и не предлагал им решения. Он всё решение самолично взял и произвёл!

А декабристы чувствовали себя так, что каждый их нерв живёт обострённой отдельной жизнью.

Ренгартен открыл их план каперангу Щастному — и встретил его сочувствие.

И лишь несколькими часами позже этого совещания дошли подробности из Кронштадта — ужасные: там разыгралась полная анархия, адмирал Вирен убит и сброшен в овраг у Морского собора. Убит и адмирал Бутаков. И арестованы многие офицеры!

Какой кошмар! Какое ложное направление невразумлённого народного гнева! При чём адмиралы? при чём офицеры?

Ах, будьте вы прокляты, все Протопоповы и гессенские немки! Это всё — из-за вас! Это вы довели! Столетиями.

Непенин обратился по телеграфу к Родзянке с просьбой восстановить порядок в Кронштадте: тому было близко, отсюда через ледовые пространства — недостижимо.

ДОКУМЕНТЫ — 8

ИЗ БУМАГ ВОЕННОЙ КОМИССИИ
(1 марта)

— Громят погреб Рауля на Исаакиевской площади.

— Сыскная полиция ответила, что ее больше не существует и надо обращаться в Государственную Думу.

— Фонарный — погром. 8 часов утра.

— Стреляют из пулеметов в Зимнем дворце по набережной и по площади. Наших совсем нету...

— Из достоверного источника мы узнали, что к Зимн. дв. подано несколько автомобилей с целью удрать из последнего. Просим принять надлежащие меры для задержания последних.

Подпор. Пашкевич

— Угол Жуковской и Лиговской — разгром подвалов Соловьева. Отстояли один погреб, а один разгромлен. Пьяные солдаты по трое ходят, один караулит — все пьют. Квартиры не трогают, спрашивают — где хозяин.

— В Спасо-Преображенском лазарете есть „больные" офицеры, не примкнувшие к движению, и укрывшийся генерал Акимов — яркий сторонник царя. Оружие их хранится в лазарете... Необходимо подчинить их новому правительству.

— На углу Кирочной и Воскресенского патрули просили прислать поддержку, т. к. солдаты грабят магазин.

Отряд Красного креста лейб-егерей.

— По приказу временного правительства Николай Степанов, Лазарь Израилéвич и Александр Ротерштейн уполномочены офицерскими правами для защиты населения от насилий и грабежей. Солдаты обязаны во имя общего успеха дела помогать предъявителям сего.

— Заведующему гаражом и складами Гвардейского Экономического общества. Имеющееся в погребах вино выпустить из бочек.

Председатель Военной Комиссии

— Предписывается прапорщику Пикоку отправиться в Красное Село и передать

нижним чинам своего полка, еще оставшимся в Красном, чтоб они до распоряжения полка не двигались и с особым усердием немедленно приступили к занятиям.

Председатель Военной Комиссии Энгельгардт.

— Нужна военная охрана Зимнего дворца и Эрмитажа. Там правительственных войск нет, я сам обошел один в сопровождении коменданта весь дворец. Сам комендант просит охраны.

244

Крепко и долго поспал Гиммер на частной квартире, позавтракал на целый день вперёд, и с отличной головой шёл к Таврическому, щурясь на разнообразные, красные и розовые, кто какие достал, банты, повязки и знаки на людях, идущих порознь или уже построясь в манифестацию, и все куда же? — к тому же Таврическому.

Всё казалось прекрасно, только — где генерал Иванов? Он всё может накрыть и уничтожить.

Итак, прошло уже два полных дня революции, начинается третий, а никто не беспокоится о формировании власти,— каково! Во всяком случае, в кругах Совета заняты суетным верчением вокруг текущих разрывающих вопросов. Но Гиммеру — не пристало упустить вопрос о власти или недостаточно осветить для товарищей. Вопрос о власти был один из коньков его, изучен заранее, и сейчас он великолепно охватывал его головой, лучше, чем глазами — утренние революционные улицы ещё и в десять утра мглистого города.

Итак, снова и снова: абсолютно ясно, что демократия, даже оказавшаяся хозяином положения в столице, даже и возглавленная авангардом циммервальдски-мыслящего пролетариата (как концентрат этого пролетариата Гиммер ощущал себя),— не должна брать власть в данной обстановке, но для успешного разгрома царизма, но для установления широкой политической свободы — передать власть в руки цензовой буржуазии. Однако это значит передать её в руки классовых врагов? Так надо передать на определённых условиях, чтобы врагов обезвредить. Надо поставить буржуазию в такие условия, чтоб она стала ручной, чтоб она не могла своею властью помешать дальнейшему развёртыванию и продвижению революции. То есть, короче, надо и с п о л ь з о в а т ь врагов для своих целей.

И этот солдатский гнев, который сегодня с утра вероятно ещё больше разыграется, нежелание возвращать оружие,— эта стихия придётся очень на руку. Она верней всего и обессилит буржуазию.

Тем временем пробравшись через толчею Таврического в советское крыло, Гиммер увидел Капелинского. Со своим быстро-хитреньким и отзывчивым видом тот ему сообщил:

— Ты слышал? Царский поезд задержан железнодорожниками в Бологом.

— Ах, вот как? Попался царишка?

Новость была превосходная, но Гиммер не придал ей слишком большого значения. Вопрос об отмирающей династии не должен заслонять вопроса о живой власти. Надо думать — кто и на каких условиях сформирует правительство.

Тут, рядом с Советом, собирались теперь домочадцы членов ИК, помогали создавать делопроизводство, из других комнат Думы тащили и пишущие машинки. Отвлекая Гиммера от важных мыслей, ему хотели подсунуть какие-то бумаги разбирать, но тут же, ещё раз отвлекая, передали ему, что его искал и очень хочет видеть Керенский.

Керенский стал за два дня уже такой важной фигурой, что не заставить его ждать, надо сходить. Гиммер снова нырнул в толпу, пробиваясь к Керенскому на думскую половину.

Там было всё же попросторнее и потише. У некоторых комнатных дверей стояли юнкера и преграждали доступ. В одной из таких защищённых комнат оказался и Керенский, хотя всё равно и в ней народу порядочно.

Керенский сидел — нет, был погружён, нет, упал — в мягкое кресло с толстым подлокотником,— упал, так что не поджаты были его ноги, а весь он составлял прямую от лакированных, но отоптанных ботинок, до короткого

бобрика на голове, откинутой на спинку. Одна рука неизвестно где была, а другая через подлокотник свисала плетью, показывая всю изнеможённость хозяина, впрочем выраженную и лицом.

Керенский и не пытался менять эту позу ни для Соколова, подсунувшегося к нему на стуле, чтоб легче говорить, ни теперь для подошедшего Гиммера. Он ощущал, что ему простят теперь и всякую позу, и дослышат негромко высказанные слова, и наклонятся к нему, сколько это потребуется. Вот, объявил он Гиммеру, как уже прежде Соколову: предлагают вступить в образуемый цензовый кабинет. Парадокс! Что делать? Хотелось бы знать ваше мнение, вообще ядра Совета.

Очень важно! Очень серьёзно! Это, действительно, был не пустой вопрос, он касался самого главного! Гиммер пошёл поискал стул, из-под кого-то высвободил, принёс и подсел, как и Соколов, к Керенскому тесней, как к больному. Тот всё так же был вытянут павшей палкой, и так же плетью свисала неподвижная рука.

Вот ведь! Всего три-четыре дня назад на квартире у Соколова Керенский не удосужился выслушать лучшие теоретические прозрения Гиммера — а никуда не ускакал, всё равно сам же теперь и спрашивает. А Гиммер очень любил, когда его спрашивают о каком-нибудь принципиальном вопросе.

Так вот: сам Гиммер — решительный противник и того, чтобы власть приняла советская демократия, и того, чтобы она вошла в коалицию с буржуазными кругами. Кем стал бы официальный представитель советской демократии в буржуазно-империалистическом кабинете? Он стал бы *заложником*, и только связал бы руки революционной демократии в проведении её поистине грандиозных и по сути международных задач.

Лоб Керенского ещё более омрачился, взгляд его потускнел, потерял интерес. Не шевелились ни губы, ни пальцы. Новознакомому было бы не понять — слышит ли он ещё. Но Гиммер хорошо его знал и знал, что — слышит.

Однако, изящно повернул он теперь. Считая невозможным вступление Керенского в кабинет Милюкова в качестве представителя революционной демократии, он находит объективно небесполезным индивидуальное вступление Керенского как такового. Как свободной личности. Как человека, формально не связанного ни с одной социалистической фракцией. (Собственно, и Гиммер с таким же успехом мог бы войти в кабинет, но ему не предлагали.) А советские круги таким образом имели бы в правительстве заведомо левого человека. Керенский не давал бы правительству зарваться в реакционно-империалистической политике...

Если и оживился утомлённо-созерцательный взгляд Керенского, то лишь очень немного, только малый свет от потухлости, чтобы теперь иметь силы поискать, кликнуть ещё какого-нибудь советчика, и не обязательно из ядра Совета, да и кто проведёт это разделение, где ядро, где не ядро?

Гиммер горько усмехнулся (больше — внутренне, сам себе): конечно, Керенскому хотелось не такого ответа. Конечно, Керенский хотел быть м и н и с т р о м. Но при этом честолюбиво (да и осмотрительно) хотел он сохранить роль посланника демократии в первом правительстве революции.

Но по всем теоретическим основаниям это было полностью невозможно!

Гиммер с Соколовым пошли на заседание Исполнительного Комитета. Пригласили с собой Керенского — он и не тронулся, он уже считал такую роль для себя недостойной.

Он остался всё в том же утомлённо-изящно-тусклом погружении. Размышлении. Предположении.

245″

(из бюллетеня петроградских журналистов)

ПАДЕНИЕ АДМИРАЛТЕЙСТВА

ВСЕ политические заключённые, томившиеся в казематах **Петропавловской крепости**, в том числе и 19 солдат, выпущены на свободу.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК перешёл в революционный лагерь со всем офицерским составом во главе.

...Мало было вчера офицеров в революционной армии. Сегодня их уже много. Здесь и прапорщики, и поручики, есть капитаны, полковники и даже генералы... Чувствуется настоятельная потребность в организации воинских масс, исполненных лучших стремлений. Офицеры приглашаются оказать всемерное содействие в этом тяжёлом труде...

Несмотря на глубокое различие политических и социальных идеалов членов Государственной Думы, вошедших в состав Временного Комитета, в настоящую трудную минуту между ними достигнуто полное единение.

Граждане, организуйтесь! — вот основной лозунг момента.

В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ЗАЛЕ воинские чины отдельных частей формируются в батальоны, получают вооружение и занимают свои места в частях города согласно установленной диспозиции.

АРЕСТ А. Д. ПРОТОПОПОВА ...В отдельной комнате между ним и Керенским произошла беседа. О содержании её мы сообщим завтра.

СИБИРСКИЕ ПОЛКИ. Депутаты от двух сибирских полков, прибывших на Николаевский вокзал по пути на фронт, явились в Таврический дворец с предложением своих услуг Временному Комитету. Предложение было принято с восторгом.

Комиссары Комитета Государственной Думы вместе с представителями Исполнительного Комитета петроградских журналистов отправились 1 марта в Петроградское телеграфное агентство с целью взять в руки осведомление провинции. Директору агентства Гельферу предъявили приказ. Немедленно же во все провинциальные газеты переданы циркулярные телеграммы с изложением событий за последние три дня. Редакторы агентства и весь состав машинисток оставлены на местах. Перемена принята в агентстве весьма радостно.

...Список арестованных прислужников старой власти растёт с каждым часом... Полагают, что среди арестованных за последние дни могли оказаться лица, в аресте которых Временный Комитет Государственной Думы не видел надобности.

ОТКРЫТИЕ БАНКОВ — Совещание руководителей банков и частных кредитных учреждений постановило: ввиду спокойствия населения открыть все банки.

ВОЗЗВАНИЕ группы СОЗНАТЕЛЬНЫХ СОЛДАТ ...констатирует, что к прискорбию некоторыми лицами разгромлены лавки и разрушены помещения. Группа сознательных солдат считает, что эти эксцессы дискредитируют великое движение к освобождению народа. Воззвание обращается к солдатам с просьбой не принимать участия в разгроме магазинов и винных складов, наоборот содействовать убеждению громящих...

СОБСТВЕННЫЙ КОНВОЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПЕРЕШЕЛ НА СТОРОНУ РЕВОЛЮЦИИ! — Сегодня в здание Таврического дворца явилась команда Собственного Его Величества Конвоя. Конвойцев встретил М. А. Караулов, обратившийся к ним с приветственной речью. Он призвал их примкнуть к восставшему народу для защиты своих интересов. Конвойцы встретили речь Караулова громовым „ура". По предложению депутата Караулова команда немедленно отправилась в казармы для ареста офицеров, оставшихся верными кровавому режиму.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. Запасы муки в Петрограде увеличиваются благодаря прибывающим вагонам.

АРХИВ ДУБРОВИНА. В квартире небезызвестного председателя Союза русского народа доктора Дубровина произведен обыск. Все архивы и дела в огромном количестве доставлены в помещение Таврического дворца.

КУДА ДОСТАВЛЯТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ

...Распространяемые с провокационной целью слухи, будто обыскиваются квартиры частных лиц, из домов которых не стреляли, лишены всякого основания...

В ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ ВОШЛИ СОЛДАТЫ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОСКВЫ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ ...готовы в любой момент стать на сторону Временного Комитета...

ПОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ заготовляет то, без чего дороги

существовать не могут. А потому призываю вас к спокойствию и усиленной работе. Да поможет Бог Временному Комитету Государственной Думы вывести Россию на путь славы и победы...

Инженер Чаев

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ — **ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ** ...Французский и английский послы вступают в деловые отношения с Временным Комитетом Государственной Думы, выразителем истинной воли народа и единственным законным временным правительством России.

246

Ставка не прервала связи бунтарского Петрограда с Действующей армией — и всю ночь и утро сотни телеграфистов, железнодорожных и военных, ловили и ловили поток бунтарских посланий и воззваний, передавали их по службе и не по службе,— и мятежный поджог разливался и растекался.

Но среди неведомых выскочек и поручиков также и всеизвестный Родзянко, на всю Русь распоясавшись, слал и слал свои телеграммы — то вообще в воздух, никому или к жителям, а то опять прямо Главнокомандующим фронтами, как будто стоящая над ними инстанция,— и сообщал о взятии власти своим комитетом, и уже указывал, что делать армии.

Как это всё может быть? Как он это смеет без воли Государя? И почему не одёрнет Родзянку Ставка? Хорошо, на Бубликова не обращать внимания, на Грекова не обращать внимания,— но Родзянко? Ведь он же занимает государственный пост?!

Но Ставка — всё утро продолжала молчать, как будто ничего не знала о самозваной власти в столице.

И в одиннадцатом часу утра генерал Эверт сам сел к аппарату, назвал себя и вызвал Лукомского. По должности, по равным правам и потому что ровесники, тоже шестьдесят,— он мог бы вызвать и Алексеева, но не позвал, поскольку тот сейчас замещал и Верховного. Эверт думал — может быть Алексеев всё-таки подойдёт сам.

Однако не только не подошёл Алексеев, а и Лукомский заставил себя изрядно подождать. У Эверта терпение лопнуло, он подставил вместо себя Квецинского. Потом уже объявился сам. Назвал номера двух родзянковских телеграмм, вероятно и Ставка получила их?

— Сначала я предполагал ничего не отвечать. Но это может иметь вид, как будто я принял их к сведению, или, ещё хуже, к исполнению. Поэтому, думаю, лучше ответить. Вот так: армия присягала своему Государю и родине. И её обязанность исполнять повеления своего Верховного вождя и защищать родину. Хотел бы знать мнение Михаила Васильевича. В трудные минуты нужна наша полная общая солидарность.

Своим тяжёлым крупным корпусом, и решимостью, и тяжёлыми словами он как бы, со своей стороны провода, перевешивал всю Ставку вместе с маленьким Алексеевым и Лукомским. Ясней, прямей, даже грубей не мог он спросить: начальник штаба Верховного признаёт ли необходимым выполнять п р и с я г у, данную Государю?

Но Лукомский не пошёл спрашивать Алексеева, а взялся пространно отвечать сам:

— Да, генерал-адъютант Алексеев — (не Михаил Васильевич!) — получил сегодня одну телеграмму от Родзянки, и смысл её тот, чтоб армия не впутывалась пока в дело. Генерал Алексеев хотел ответить, что подобными телеграммами вносится совершенно недопустимое отношение к армии и что необходимо посылку таких телеграмм прекратить.

Ну всё-таки, молодец Алексеев, не потерял разум. Темноватый, сощуренный мужичок, а не сдаётся.

— Однако,— продолжал Лукомский,— эту телеграмму генерал Алексеев пока не послал.

Да почему ж?

— ...Он хотел прежде выяснить, прибыли ли в Царское Село Государь и генерал Иванов.

При чём тут одно с другим? В огороде бузина, а в Киеве дядька.

— А получить этих сведений до настоящего времени мы не можем потому, что по распоряжению Думы нам не дают прямого провода с Царским Селом.

Что-о? Да это просто мятеж! От штафирок?? У Эверта сжимались огромные кулаки. Как же Алексеев это может терпеть??

Видимо, ещё что-то есть. Ещё что-то, они не объясняют. Или — уязвимость Государя под самым Петроградом? Вот разве.

— ...Генерал Алексеев вчера послал телеграмму генерал-адъютанту Иванову об успокоении, наступившем в данный момент в Петрограде, и просит доложить Государю, что было бы желательно избежать применения открытой силы.

Успокоение?.. А как же Бубликов, Греков? Им уже снесли головы? А задержка военных эшелонов? А самочинная власть Родзянки вместо законного правительства? Чего-то здесь Эверт не знал или не понимал.

Между тем добавлял Лукомский, что начинаются беспорядки в Москве и в Кронштадте.

Так тем нужнее действовать! Какое тут рассуждение? — присяга!!

А Лукомский добавлял дальше, что генерал Алексеев подписал телеграмму Его Величеству с просьбой издать акт об успокоении населения. Но пока за отсутствием связи...

Ну, может быть... Чего-то Эверт не ухватывал.

— ...Ваше предположение об ответе Родзянке я сейчас доложу генералу Алексееву, который к несчастью чувствует себя плохо.

Ну вот, остался в Ставке один — и раскис.

Успокоение?.. Наверно, правильно.

Эверт объяснил, что и его предлагаемый ответ Родзянке тоже имеет в виду необходимость скорейшего успокоения.

Желательно вот эту телеграмму об успокоении, произошедшем в Петрограде, тоже получить.

Пожелал Алексееву выздоровления. И отошёл от аппарата тёмный, в растерянности, меньше понимая, чем знал до разговора.

Конечно, главное — сохранить порядок.

Но как же быть с этим потоком петроградских телеграмм? Скрывать их от населения Минска? Или, опять же для успокоения, публиковать?

Не догадался спросить.

Только часа через два передали Эверту телеграмму Алексеева Иванову № 1833, отправленную сегодня в час ночи.

Эверт стал читать — и ещё более изумлялся. Тут говорилось о *полном спокойствии*, наступившем в Петрограде, где только что был анархический ад (за эти часы подтверждённый и офицерами, вернувшимися в Минск из отпуска). И упоминалось ещё какое-то иное воззвание родзянковского комитета о незыблемости монархического начала в России. Но сколько ни пересматривал Эверт полученные депеши и поручил Квецинскому искать — никакой даже тени такого воззвания они нигде не нашли. Могло ли оно проминуть Минск?

Был ли Алексеев введен в заблуждение?

Или: с Государственной Думой тоже не надо ссориться?

Нет, чего-то тут решительно не понимал обескураженный Эверт. И не было сверху ясных приказаний.

Правильно всегда говорилось: политика — не дело армии.

Не может генерал-солдат вести свою политику.

247

Дворцовый комендант Воейков был очень самополный человек, сам для себя достаточный: наполненный своими личными успехами, устройством,

постройками, миллионами (недавно продал выгодно минеральный источник „Кувака" в Пензенской губернии) и всегда исключительно уверенный в собственном мнении. По старческой слабости своего тестя графа Фредерикса Воейков стал главным лицом в свите, и поминутно давал чувствовать это всем остальным. Теперь и ближайшие свитские, едущие в поезде А, проснясь и видя по просвечивающему солнцу странное направление поезда, спрашивали у Воейкова, проходившего коридором, и получали загадочно-раздражённый ответ: „Не задавайте вопросов".

Местность за окном проходила совсем неизвестная, не видели такой ни в одной из регулярных поездок. От этой новизны свита тревожилась теперь ещё больше. Тут от Граббе узнали, что идут кружным путём на Дно, чтоб оттуда в Царское по прямой могилёвской линии. И ещё от своих сопровождающих железнодорожников узнали, что паровозная бригада отказалась меняться в Бологом, чтоб не задерживать императора, но взялась везти его до Дна. Теперь ехали по линии, не готовой к пропуску императорских поездов, ещё медленнее обычного, и сами станции узнавали о них едва ли не на последнем перегоне. Такое несогласованное движение тем более грозило задержками. Свита шепталась о неизбежности уступок, неужели Государь не согласится на ответственное министерство, ну что ему стоит? А иначе,— сказал адмирал Нилов,— все будем висеть на фонарях.

Воейков, в шинели, крупной решительной фигурой соскакивал на каждой станции. В Валдае ему поднесли телеграмму от Родзянки и потребовали расписки для телеграфного ответа.

Прочтя телеграмму, вскочивши в поезд и снова никому из свиты — Воейков пошёл будить Государя.

А Государь, долго не спав после Малой Вишеры, тяжело забылся следующие часы, проспал разворот в Бологом.

Сейчас не в миг и вспомнил всё.

К Воейкову вышел в халате.

И так же не сразу мог себе уяснить смысл подаваемой телеграммы: от Родзянки?.. с просьбой аудиенции?

Как-то — мысли у него не было о возможности прямого и скорого разговора с Родзянкой. После последней враждебной февральской аудиенции, когда толстяк надменно пытался поучать своего Государя,— и вот снова с ним встретиться?

Да ведь и Дума распущена позавчера, Думы — нет.

Думы — нет, но Родзянко — есть. Из Петрограда, закруженного в бунтах, он естественно возвышается самой солидной крупной фигурой. И даже больше того: он там самозваный комитет создал, чуть ли не правительство? Он чуть ли не перенял правительственную власть? Но обстановка так переменилась, что — отчего же? Пожалуй да, можно будет его принять.

Это даже хорошо, что он обращается. Это даже выход.

Да как-то надо уладить. Министерства кроме главных — военного, внутренних дел и иностранных — можно, пожалуй, им и уступить. Отчего уж, правда, быть таким неуступчивым? Когда со всех сторон решительно все хотят одного и того же — это начинает угнетать.

Реально императорское правительство сейчас не существует — так естественный момент и заменить.

— Хорошо, вызывайте Родзянку — куда же? На Дно. Я согласен его там принять.

И Воейков отправил согласие.

Ехали дальше, к Старой Руссе.

И тут Государя стало разбирать, разбирать сомнение: не слишком ли он быстро согласился — с распаху, со сна? Он так легко согласился,— и вот через несколько часов встретится с Родзянкой — прежде чем встретится с Аликс? А — что скажет она? А — как она отнесётся, что он такую уступку сделает без её совета?

Ну, выход есть: разговаривать с ним твёрдо.

Ах, Господи, в такие дни — и он оказался оторванным от Аликс!

Как — не ошибиться сейчас?

Тревожно перебирал Николай цепочку у шеи своей,— цепочку образка, повешенного женой.

Это — он так страдал, а как же — она страдает? А каково же ей там сейчас, рядом с бушующей столицей?

И на запутанном его маршруте Аликс не могла найти его никакой телеграммой.

О Боже, как разбаливалось, как разрывалось сердце после этого несчастного вишерского поворота, удлинившего путь!

Хотя нет, не попустит Господь: Иванов — уже там, и она под его защитой.

А поезд — небыстро постукивал по боковой тихой, малоезженной линии. Все должностные лица — жандармы, охрана, были на местах, и опять начинало не вериться в опасность. Углублялись надежды, что всё обойдётся,— и сегодня к ночи он достигнет мирного круга своей любимой семьи.

Оттого что сбился маршрут, Государь не получал сегодня никаких телеграмм из Ставки. Да и вчера их было не густо. Он понимал, что в Петрограде — мятеж, но — ничего по сути, подробно.

Что казалось Николаю благодеянием в начале их поездки — отсутствие штабной связи, приносящей грозные депеши,— уже щемило и недостатком: семья была в острой опасности, и он не имел права так поздно и бесполезно всё узнавать.

На остановках он не выходил прогуливаться. Смотрел из вагонного окна. На ходу пытался читать, но не укладывалось в душу.

Подошло время общего завтрака. Перекидывались самыми ничтожными замечаниями, пытались шутить над Мордвиновым. Но и самые выдержанные лица не могли скрыть тревоги, и немо воспарялась ото всех к Государю мольба: уступить. Он чувствовал эту мольбу.

Вскоре после завтрака пришли в Старую Руссу. На платформе — толпа и много монахинь. Народ снимал на морозе шапки и кланялся синим вагонам с орлами.

Тут Воейков получил и принёс сразу три телеграммы — все через Ставку транзитом, но ни одна прямо от Алексеева, почему-то начальник штаба ничего не докладывал своему Верховному сам. И все три телеграммы были не о главном — не прямо о Петрограде, как будто расстроилось зрение, и главное пятно расплылось.

Рузский доносил в Ставку о перерыве всякого сообщения между Петроградом и Финляндией, отчего он уполномочил командующего тамошним корпусом располагать всеми сухопутными войсками от финского перешейка.

Морской министр Григорович, не имея прямой связи с Его Величеством, доносил в Ставку, что им получена телеграмма от коменданта Кронштадта о начале волнений вчера вечером.

И наконец наморштаверх (начальник морского штаба Верховного Главнокомандующего) передавал телеграмму от командующего Балтийским флотом, что с 4-х часов утра сегодня прервано всякое сообщение с Кронштадтом, где убит командир порта и арестуются офицеры.

Главное пятно не давалось глазу, но и от того, что по краям его,— холодило сердце.

Таким кружным путём — Государь получал столь сбивчивые сведения!

Чем больше он их получал, тем меньше понимал, что творится.

А Алексеев почему-то не давал ясной сводки.

248

Чувствовал себя генерал Алексеев совсем неважно, хуже вчерашнего. Но не было покоя и ночью. Да от этих забот он и разбаливался.

В ночном бессонном ворочаньи ещё ясней ему увиделось, как это было бы благотворно: если б Государь признал родзянковский комитет общественным министерством, и всё бы сразу успокоилось, никакого конфликта, и армия терпеливо и без помех готовилась бы к наступлению. И оставалось только — убедить Государя.

А утренние телеграммы ещё добавили. Пришли из Москвы от Мрозовского:

что со вчерашнего дня бастуют заводы, рабочие манифестируют, разоружают городовых, собираются толпы — и нельзя дальше умалчивать о петроградских событиях.

И тем более спешить о них разъяснить, раз в Петрограде успокаивается! Ночные сведения из главного морского штаба подтверждали, что в Петрограде порядок понемногу восстанавливается, и войска всё более подчиняются Думе, однако необходимы решительные акты власти, чтоб удовлетворить общественное мнение и так противопоставить пропаганде революционеров.

Адмирал же Григорович, такой же сейчас больной, как и Алексеев, не имея сообщения с Царским Селом, чтобы прямо доложить приехавшему Государю, пересылал через Алексеева телеграмму кронштадтского коменданта, что со вчерашнего вечера гарнизон Кронштадта волнуется, и некем его усмирить, нет ни одной надёжной части.

Так всё сходилось! И потому, что в Петрограде наметилось успокоение, и потому, что в Москве и Кронштадте подымались волнения,— нужна, нужна была уступка Государя обществу! И Алексеев всё более чувствовал бремя убеждения на себе: тем более он должен был убеждать Государя, что тот в пути многих сведений не имел.

И даже чая не попив, начал раннее утро Алексеев с составления уговорительной телеграммы Государю, чтоб успела она вскоре после его прибытия в Царское и сразу дала бы ему правильную ориентировку. Он привёл полностью тревожную телеграмму Мрозовского. Предупредил, что беспорядки из Москвы несомненно перекинутся в другие центры России. И тогда окончательно будет расстроено функционирование железных дорог, армия же губительно останется без подвоза, тогда возможны беспорядки и в ней.

Так звено за звеном неумолимо цеплялись, и Алексеев уже ясно видел — и писал: революция в России станет неминуема, и это будет знаменовать позорное окончание войны со всеми тяжёлыми последствиями. И нельзя требовать от армии, чтоб она спокойно сражалась, когда в тылу идёт революция,— особенно при молодом офицерском составе с громадным процентом студентов. Поведут ли они свои части в таком столкновении? Прежде того — не отзовётся ли на волнения сама армия?

Так и писал Алексеев в разраставшейся телеграмме: „Мой верноподданнический долг и долг присяги обязывают меня доложить всё это Вашему Императорскому Величеству''. Пока не поздно — принять меры к успокоению населения. Подавлять беспорядки силою — привело бы и Россию и армию к гибели. Надо спешить поддержать Думу против крайних элементов. Для спасения России, для спасения династии — поставить во главе правительства лицо, которому бы верила Россия. И в этом — единственное спасение. Другие подаваемые вам советы — ведут Россию к гибели и позору и создают опасность для династии.

Давно уже так убедительно не составлял Алексеев ни одного письма. Испытал большое душевное облегчение, когда написал.

И — скорей отправлять. Прямой связи с Царским Селом нет, но передать через Главный Штаб, *такую* телеграмму в Петрограде никто не задержит.

Передали. И попил генерал Алексеев чайку, подкрепился. И тут же пришла какая-то случайная дикая телеграмма, почему-то из Новосокольников: что литерные императорские поезда повернули из Бологого на Дно и в данное время прошли Валдай.

Что такое?? Это почему??

Ничего нельзя было понять. И никаких сведений Государь не послал ни из Бологого, ни из Валдая,— куда же он ехал? Зачем?..

Но и часу не прошло, как донесли в Ставку перехваченную телеграмму всё того же знаменитого Бубликова, разосланную по станциям Виндавской дороги: двумя товарными поездами закупорить разъезд восточнее станции Дно и сделать невозможным движение каких бы то ни было поездов,— то есть несомненно императорских.

И подписано: комиссар Комитета Государственной Думы, член Государственной Думы...

Государственная Дума — мятежно останавливала императорские поезда?..

Родзянко?..

Зря послушался Кислякова вчера??

И как раз к этому, на горячее сомнение,— Эверт вызвал Ставку к прямому проводу. Алексеев по болезни вообще не становился к аппарату, не пошёл, и ничего важного он от Эверта не ждал,— а вышло важно. Принёс Лукомский неприятную ленту. В пределах допустимого генеральского этикета тот — что же? подвергал сомнению верность Алексеева присяге??

Чудовищно! Именно движимый долгом присяги и давал Алексеев свои лучшие советы Государю.

Да что на Эверта обращать внимание — он бы лучше не струсил вести наступление в 1916 году. Недостаточно коснувшийся общего образования и в грубой прямолинейности военной среды, Эверт полагает, что проще всего — подавлять беспорядки военной силой. И вот — рвался оскорбить Родзянку.

Всего часом раньше — не обратил бы Алексеев внимания на Эверта. Но сейчас так пришлось, после этой жгуче-дерзкой попытки Бубликова остановить императора,— и всё именем Государственной Думы?

И то, что, оказывается, неясно зрело в Алексееве ночью и мешало ему спать: не слишком ли он вчера поддался Родзянке? не уступил ли ему много? — и те наброски телеграммы к нему, которые Алексеев с утра уже намечал неуверенным карандашом,— теперь подтолкнулись укором Эверта.

Хотя в остальных четырёх главнокомандующих Алексеев не предполагал такой крайности настроения, однако и выступка Эверта обнажала спину Ставки, лишала её опоры говорить ото всей армии.

Да, да! — яснело: необходимо несколько осадить Родзянку. Не повреждая открыто ещё хрупкому думскому комитету. Но — лично Родзянку, чересчур уже занесшегося.

И Алексеев стал доправлять набросок в телеграмму, погнал своим энергичным бисером.

Высшие военные чины и вся армия свято исполняют долг перед царём и родиной согласно *присяге*,— напоминал он Самовару. И надо оградить армию от влияния, чуждого присяге,— так и повторялось больное слово. Между тем ваши телеграммы ко мне и к главнокомандующим и распоряжения, отдаваемые по железным дорогам театра военных действий... Думский комитет не считается с азбукой управления военными силами — и может повести к непоправимым последствиям... Перерыв связи между Ставкой и Царским Селом... И центральными органами военного управления... Литерные поезда не пропускаются на Дно... Прошу срочного распоряжения о пропуске литерных поездов... И чтобы никто не делал помимо Ставки никаких сношений с чинами Действующей армии... И чтобы сношения Ставки не контролировались вашими агентами из младших чинов... Иначе я вынужден буду...

Поток упрёков легко строился, он был верен. Но где был довод военно-убеждающий, тот, который окончательно уставляет весы в достойное положение? Только что рождавшейся народной свободе и начавшемуся успокоению — не мог же Алексеев угрожать применением грубой военной силы. Он мог сердиться лично на Родзянку, но не так, чтобы подорвать его власть, единственно спасающую сейчас столицу.

И оставалось закончить слабою ноткой, что это поведёт к нарушению продовольствования армии и даже голоданию её. И пусть Родзянко сам судит о последствиях голодания армии.

Угрозить, оказывается, было нечем. Голодом армии.

Не аптекарские были весы, но с теми чугунными платформами, на которых взвешивают возы с рожью,— у них была невозвратимая утягивающая сила.

Телеграмму эту — послал. Больше для очистки души и для осадки родзянковской гордыни. Но не могло измениться решение — искать всеобщего примирения, единственный разумный выход.

А вопрос о посланных войсках всё неумолимее нависал: что же с ними делать? Остановить их, как разумно видел Алексеев,— он не смел своим решением. Но и откладывать решения было нельзя, потому что войска стягивались, продвигались, и вот-вот могло произойти непоправимое столкновение. Но

никакое внешнее событие не приходило на помощь. А Государь — всё далее путешествовал, всё более неуловимый для совета, в том числе и для посланной такой убедительной утренней телеграммы.

Распорядился — звонить во Псков и узнавать об императорских поездах, они там ближе. А Псков сообщал, что в Петрограде — порядок не восстанавливается, ещё добавились к мятежникам гарнизоны Ораниенбаума, Стрельны, Петергофа. Аресты продолжаются. По Петрограду шляется масса бродячих нижних чинов, много офицеров убито на улицах, срывают погоны. Много разбитых магазинов.

Ещё поворачивалось по-новому... Какое противоречие Родзянке! Кому же верить? *Полное спокойствие* начинало выглядеть призрачно. Уже голову больную ломило, не рад был Алексеев, что и узнавал.

А между тем — уже обещана была Эверту вчерашняя успокоительная № 1833 Иванову, нельзя было теперь не послать, хотя теперь как-то и неловко она выглядит. (А сам Иванов до сих пор до этой телеграммы не доехал!)

Но как это всё согласуется?

Но раз выбрал действие — надо его продолжать. 1833 разослать и на все фронты.

С Кавказа докладывали, что всё у них спокойно.

От Эверта — что продолжают отправлять войска.

А что же с Юго-Западным?.. Да может быть проще всего: поскольку войска ещё не начали отправляться — так пока и не двигать?

И это — не будет остановкой войск.

Распорядился так Брусилову.

249

* * *

С утра — петербургская мгла. Туманно, сыро. И — холодно, 13 градусов мороза.

Расклеены по городу объявления к гражданам: сдавать оружие! Но кары за несдачу нет.

* * *

Стоит сожжённый Окружной суд — на высоком цоколе два высоких этажа, длинных и по Шпалерной и по Литейному. Все окна пустые, и подпалины, где вырывался огонь. И внутри на белых стенах полосы дымной копоти. Только на закруглении окно не вывалилось — оно ложное. Во многих местах сохранилась благородная баженовская полулепка.

* * *

И рано опять началась по городу беспорядочная стрельба. Бьют больше по крышам. „Фараономания", все смотрят на крыши и показывают пальцами. Там от пуль пылит штукатурка, а возвратно падающие пули кажутся огнём с чердаков.

— Ищите оконце! С какого стреляли.

Столпились, головы задрали.

— Как же ты вгадаешь, коли окна на семóм етаже?

— Я-то угадал, угадай ты.

— А как?

— А вишь: во всех оконах стёклышка целы, а в энтом блеску нет, знать стекольце вынуто.

Слух, что городовые стреляют с Исаакиевского собора.

* * *

Толпа подростков, а с ними двое-трое взрослых ведут по улице арестованного городового в форме, саженного роста, вместо лица кровавая маска. Мальчишки на ходу дёргают его, толкают, щиплют, плюют на него. Он, не пошатываясь, идёт.

Завели в какой-то двор и донеслось несколько выстрелов.

* * *

В доме жил и вчера арестован помощник пристава. Но и сегодня время от времени подходят и стреляют по его окнам. А в доме — и другие квартиры.

— На то и слобода: куды хочу, туды стреляю.

* * *

Плотными жадными группами сбивается толпа — и простонародье, девочки в платках и картузы, и котелки, и дама в кораблевидной шляпе. Что-то прочесть из наклеенного на стене,— нет, послушать переднего громкого чтеца.

— Ага-а-а! — чрезвычайно рада публика аресту Протопопова.

Когда прочтено, что министр юстиции сперва скрывался в итальянском посольстве:

— А-а-а! Макаронов захотел!

Про явку конвоя Его Величества:

— За царский счёт жареными гусями да поросятами обжирались, а вот...

* * *

День светлеет, становится белым, и белое небо. И теплеет.

На Аничковом мосту столпилась публика у перил с одной стороны. Упала винтовка на лёд, а достать её нельзя: пошёл солдат, а лёд у берега подламывается.

Над винтовкой кружатся голуби, садятся около. „Долой войну!"...

* * *

Везут по Фонтанке и так: грузовик-платформа, на ней сидят и стоят избитые чины полиции, окружённые штатскими с красными повязками на рукавах. Из толпы кричат со злостью:

— Куда их везёте? Давите гадов на месте! Поставить в ряд, да из поганого ружья одной пулей!

* * *

Прислуга: „Ой, что это всё кричат — долой монахиню? Знать, всех монахов хотят повыгонять?"

* * *

На Невском — меньше автомобилей, чем вчера, но ещё больше пешей публики и развязных солдат, валят прямо серединой проспекта, празднично. На всех опять красное — банты, ленты, в обтяжку кокард, на погонах, вокруг пуговицы шинели, на георгиевских крестах, на медалях, на концах штыков, у барышень — на муфтах или на груди, кокетливо сшитые. Не всё из кумача, бывают — и из шёлка.

А на перекрестках появились студенты-милиционеры, опоясанные отобранными офицерскими шашками, с белыми повязками на рукаве и буквами ГМ („городская милиция").

Возмущённые голоса:

— Это что ж, мы и полиции опять дождёмся? Вот так свобода!

Но — красные повязки на рукаве сильнее действуют, чем белые. Красных — слушаются.

* * *

У Таврического — опять толкотища. На Шпалерной много любопытствующих интеллигентов. И опять одни войска идут к Думе, другие из Думы, всё перемешивается, столпотворение. Говорят: вот приходил под марсельезу и петроградский жандармский дивизион. Автомобили гудят, шипят, проезда им нет. Один грузовик заехал на тротуар и пробирается. Молоденький шофёр бросил руль, растопырил руки, показывая, что не управляет. Публика шарахается.

У главного подъезда двое конных пытаются сдержать напор толпы. Лошадиными копытами топчут выделанную кожу, кем-то сложенную к крыльцу.

* * *

С Владимирского проспекта пересекает Невский Измайловский батальон. К старому боевому знамени с регалиями прошлого века привязаны красные ленты. Оркестр. Толпа приливает, вне себя от восторга:

— Спасибо, измайловцы! Да здравствует свобода!

А офицеры, с навязанными красными бантами, идут сосредоточенные, задумчивые. В ответ толпе прикладывают руку к козырьку.

* * *

В исподних полушубках, без погонов, не узнаешь части,—побрели по городу гулять и нестроевые конвойцы Его Величества из своей казармы на Шпалерной. Одного конвойца подхватили, долго возили на автомобиле в первом ряду, везде приветствовали как казака. На углу Невского и Владимирского заставили говорить речь. Сказать он нашёлся только: „Да здравствует Терское и Кубанское войско, ура!" И все закричали „ура" и замахали шапками. Повезли дальше, кормили в питательном пункте.

* * *

Командующий отдельным корпусом жандармов генерал-майор граф Татищев в ожидании царского приезда метался между Тосно и императорским павильоном Царского Села. Искал поддержки Государю у стоявших там эшелонов Кирасирского и Кавалергардского полков. Но они — „примкнули к народу".

Тогда просил подцепить его салон-вагон к проходящему от Петрограда поезду. Отказали ему.

Пошёл пешком по путям — и был арестован.

* * *

Шли матросы колонной и с музыкой. Вдруг — стрельба сбоку, неизвестно откуда. Сразу стали падать, бежать за угол, перемахивать через заборы. Только винтовки да матросские бескозырки остались на снегу.

* * *

На Спасо-Преображенской площади перед семёновцами держал речь с овсяного ларя депутат Государственной Думы Родичев. Вдруг — пулемётный обстрел, неизвестно откуда! Все повалились. Никого не задело.

Но возникло среди солдат, что их нарочно подвели под этот обстрел.

* * *

В толпе, по тротуарам — глядящих на войска много радостных верящих лиц. Богатый господин на краю панели то и дело срывает с головы шапку, седого камчатского бобра, и кружит ею в воздухе, выкрикивая приветствия проходящим манифестациям.

* * *

Из сумасшедшего дома тоже разбежались.

* * *

По всему Петрограду разгорается день повальных обысков. Вломятся в дом — и идут по всем квартирам подряд.

Начался грабёж и на императорском фарфоровом заводе.

* * *

К памятнику Александру III пристроили красный флаг. Держится.

На Николаевском вокзале от имени коменданта расклеено объявление:

„Солдатам запрещается отбирать у офицеров оружие. Вооружённым офицерам, приезжающим в Петроград, предписывается являться для получения инструкций и документов в зал Армии и Флота. От Государственной Думы не исходило распоряжение отбирать у офицеров оружие".

Вокзал полон солдат разных частей. Квартира начальника Николаевской дороги Невежина разгромлена служащими и солдатами. Везде следы пуль, разбиты зеркала, поломана мебель, не вся. И покрадено.

* * *

Евгений Цезаревич Кавос, подъезжая к Петрограду московским поездом, очень смеялся рассказу спутника, представляя себе сцены ареста министров. Но поезд остановился, сильно не доезжая вокзала. И Кавос застрадал, как же он потащит несколько своих чемоданов, да непривычными руками. Ведь не поднимешь. — „Нет, это мне не нравится. Я скоро начну кричать — да здравствует Николай II!''. И верно, до дому по городу он добирался, пока все вещи, двое суток.

* * *

На петроградских улицах уже много испорченных и даже опрокинутых автомобилей. Но и ездят немало, на грузовых платформах — свесив ноги как с телеги. Ездят и в богатых легковых: за бахромой роскошных занавесок — винтовки и папахи.

* * *

На углу Литейного и Невского остановился грузовик с вооружёнными солдатами, а студент без фуражки оттуда держал речь к публике о войне до победы. Толпа рукоплескала, кричала „ура''. Грузовик ушёл по Невскому, а из публики любопытствующий адвокат Каменский пошёл по Литейному. Но его нагнал человек в военной шинели и стал звать людей: „Вот этот — кричал долой войну! Надо его арестовать, он шпион!'' И уже схватили. Каменский сильно перепугался: „Я не говорил! это ложь!'' И смелей: „Я петербургский старожил, присяжный поверенный и живу там-то. Если угодно — пожалуйте со мной на квартиру. А кто этот такой? Пусть назовёт!'' Тот стал ретироваться. „Ага! Так он и есть немецкий шпион!'' Стали хватать того.

* * *

По улицам гарцуют всадники, да на лошадях дрессированных: из цирка Чинизелли, разграбили цирковую конюшню.

* * *

Над Зимним дворцом вместо императорского штандарта — красное знамя.

На Дворцовый мост въезжает с Дворцового проезда грузовик, полный солдат. Стоящий сзади молоденький солдат, глядя назад на ходу, поднимает ружьё и бухает в воздух.

Грузовик останавливается, среди солдат смятение: „Кто стрелял? Откуда?'' Хватаются за ружья. Тот самый солдатик показывает им на ближайший дом по Адмиралтейской набережной:

— Вона, оттуда! С чердака.

Солдаты матюгаются, грузовик даёт задний ход, на расправу.

Из проходящих двое объясняют им, кто выстрелил на самом деле.

Но грузовик всё равно свернул, поехал в сторону Исаакия. И оттуда слышна сильная стрельба.

* * *

Шальною пулей с Марсова поля убило в своей квартире художника Ивана Долматова, 9 лет назад получившего звание за картину „Торжество разрушения''.

250

Не только листовками по всей Петербургской стороне, но и объявлением в „Известиях Совета рабочих депутатов'' оповещал комиссар Петербургской стороны Пешехонов о создании своего комиссариата в кинотеатре „Элит'' и обращался к населению с просьбой (чтоб не добавить „покорнейшей''): во

имя великого дела соблюдать спокойствие при развивающихся событиях. Доверять комиссарам, назначенным новою властью. Исполнять их распоряжения, равно как и обязанности, необходимые для населения. И присылать представителей от заводов и фабрик по одному человеку от пятисот.

Империя Романовых стояла 300 лет, и у чиновничества её были готовые выработанные организационные формы и приёмы. И вот надо было в один день начать на неочищенном месте, в ещё не известных формах, с ещё не найденными приёмами и с ещё не осмысленными целями: ни сам Пешехонов, ни его сотрудники по комиссариату — то есть бывшей полицейской части — не могли представить и предположить, в чём же именно будет заключаться их деятельность. А переехав через Неву, он от Таврического дворца уехал как будто в другую страну: там оставил он решаться государственные вопросы — и сам для Таврического провалился как в тёмную пропасть: назначили его и больше не вспоминали.

Мечта всей жизни Пешехонова была н а р о д н а я в о л я, в обоих значениях этого великого слова: и в смысле народной свободы и в смысле народной власти. И он был переполняюще счастлив, что не только дожил до воплощения их в России, но вот теперь будет и лично участвовать в водворении свободы, хотя бы в небольшом уголке.

На призыв его откликнулись стократно с тем, что комиссариат мог перенести. Довольно было только пискнуть этой первой твёрдой точке — и уже через четверть часа к ней потянулись люди, а сегодня с утра обступали уже целые толпы.

Одни являлись — чтобы поддерживать и помогать. Наугад назначенные отделы комиссариата сразу переполнились добровольными сотрудниками, и на первый взгляд — вполне бескорыстными. Преобладали интеллигенты, но были и всех званий, был грузин в форме классного фельдшера, а например обязанности кучеров вызвался выполнять отряд бойскаутов.

Ещё больше было помощников другого толка: они не записывались в сотрудники, но не предупреждая и по собственному почину совершали повсюду обыски, реквизиции, аресты — и потом с торжеством несли и катили захваченные трофеи в комиссариат и вели арестованных.

К счастью, Пешехонов, ещё в Таврическом заметив, как много ведут арестованных, предвидел такое явление, и сразу же назначил в составе комиссариата „судебную комиссию". Арестованных приводила иногда целая толпа — но часто тут же и расходилась, и через пять минут не у кого бывало узнать и спросить: на основании чего задержано это лицо. Среди них могли быть самые опасные преступники, но и самые невинные люди,— и что же делать с ними дальше? Судебная комиссия и должна была кого освобождать, а о ком составлять протоколы, указывать свидетелей.

Но никакая комиссия не успела сформироваться, ещё первое объявление о комиссариате не было прикреплено к стене, как уже привели трёх арестованных, и сам же Пешехонов должен был их разбирать. Двое оказались городовыми, уже снявшими форму, но опознанными. Арестовывать бывших городовых Пешехонов считал совершенно бесцельным — и решил освободить их, отобрав подписки, что они ни в коем случае не будут исполнять приказаний своего прежнего начальства и немедленно сдадут оружие, если такое у них ещё есть. Третий же арестованный обвинялся толпой, что он высказал осуждение революции. Ему приписывали какую-то фразу, сам он, бледный, отрицал, что говорил её. Пешехонов внутренне затрепетал и вознегодовал: отрицать революцию — право каждого, иначе какая ж это будет свобода? *Этого*-то — надо было немедленно освободить!

Но не так это было просто! Тут толпа сгрудилась и ждала от комиссара строгого приговора. Оправдательные решения произведут на неё самое неблагоприятное впечатление. Итак, чтоб освободить, да всех трёх подряд, должен был Пешехонов взять с обвиняемыми преднамеренно-резкий тон, и самыми резкими квалификациями ругать старые власти, и высказать самые жестокие угрозы тем, кто ещё осмелится противиться революции! — и только так поддержать перед толпой свой авторитет как революционного деятеля, иначе и самого б его заподозрили в контрреволюции.

Комиссар Пешехонов объявил власть — и никто как будто её не оспаривал. Но быстро, в час и в два, понял он, ещё отчётливей, чем в Таврическом: никто не был власть в Петрограде сейчас — ни комиссар, ни Совет депутатов, ни тем более думский Комитет,— а вся полнота власти была у толпы. Власть её была — самоуправство, и сама толпа и все понимали так, что это и есть настоящая народная власть.

Однако Пешехонов принять этого не мог! Как раз наоборот, с первого часа и с первого дня ему пришлось напрячься, как смягчить это самоуправство и как защищать единицы населения от проявлений народной власти!

Но арестованных всё вели, вели — и чтоб как-нибудь разгрузить комиссариат, пришлось всю судебную комиссию перевести в другое помещение, рядом по Архиерейской, где в одной большой комнате устроили и собственную каталажку. Набралось туда работать пятеро юристов, потом десять, потом в две смены двадцать,— и всё равно едва справлялись.

Грянула — именно сегодня — эпидемия или вакханалия арестов! Показалось, что революция катится к гибели: она кончится тем, что все граждане переарестуют друг друга! И всё закружилось — вокруг Родзянки: всюду звучало его имя, он подписывал указы, он назначал комиссаров в министерства, он велел войскам возвращаться в казармы и подчиняться офицерам,— и вокруг имени Родзянки замятелила смута в умах и зажглись на улицах споры — до драки и до арестов, и какая где сторона оказывалась сильней — та тянула слабую на арест. И в судебную комиссию тащили, тащили арестованных, а там на вопрос „за что?" отвечали:

— Он — против Родзянки!

а следующие:

— Он — за Родзянку!

Тут прибегали сообщить: на Песочной улице — квартира известной черносотенки Полубояриновой, и туда стекаются черносотенцы!

Собрали наряд, послали арестовать — но супруги скрылись и квартира пустая.

А сам комиссариат хотя и разгрузился от привода арестованных, но в помещениях его никак не стало просторно. На Петербургской стороне с островами жило 300 тысяч жителей, и кажется третья часть их добивалась войти в комиссариат.

Распорядительностью прапорщика поставили стражу у дверей комиссариата, а вход в него установили только по пропускам. Выдавали пропуск всякому, кто заявлял о надобности ему войти, но лишь бы предупредить вторжение целых толп и вовсе уже праздношатающихся. Запутались, сами не заметили: столик с выдачей пропусков вдруг оказался так, что к нему нельзя было пройти, не имея пропуска. И не сразу заметили, потому что каким-то образом ухитрялись получать, и все шли с пропусками. Тогда поставили две вооружённых заставы: одну перед столиками, где выдавали пропуски, чтоб только толпа не опрокинула, а вторую заставу уже при самом входе. (И перила бы поставить — да ещё надо всё найти, да их сломают.)

Товарищи хотели устроить Пешехонову уголок в самой дальней верхней части кинематографа, за рядом барьеров,— но всё равно толпа теснилась и туда, да Пешехонов и по характеру своему не мог так усидеть, он рвался в толпу, в тиски. Где уж там руководить деятельностью отделов, и что они делали? и были ли они вообще? — Пешехонов был теперь на целый день до вечера окружён и стиснут требовательной толпой. У него и вид был не революционно-грозный, и не барский, и не образованный, росту он был самого среднего и наружности самой средней, так, из мещан или худой купчишка, голова стрижена под машинку, усы свисли и спутались с бородой, и приём ко всем услужливый. Так весь день и слушал он, во все стороны поворачиваясь, говорили с ним сразу несколько, а другие тянули за пиджак, чтобы вниманье обратить, а третьи тянули, куда надо пойти и распорядиться. За целый день он не присел и стакана чаю не выпил.

Может быть, можно было всё это лучше устроить, но никогда Пешехонов ни организатором, ни администратором себя стать не готовил, да и знал за собой недостаток находчивости, особенно чувствительной вот в такой обста-

новке. Дали б ему подумать, сообразить — он бы уладил всё лучше. Но слишком сразу всё нахлынуло — и действовать надо было немедленно. И он ли сам всё решал и распоряжался, или оно само решалось и распоряжалось,— этого нельзя было уследить. Но, кажется, так решалось, как именно и он был согласен, вместе с народом.

Со всех сторон донимали добровольные горячие доносчики, кто по мнительности, а кто и по злобе, счёты сводя. Один тащил в сторону и шептал, что такой-то поп сказал контрреволюционную проповедь. Другой совал донос, что в таком-то учреждении такой-то собрал некоторых служащих в комнату, закрыл дверь и имел с ними несомненно контрреволюционное совещание. Всем, кто не успел поучаствовать в революции в начале, хотелось вложиться хоть теперь и захватить в плен ещё хоть одного противника. Так и звучало:

— То была *их* воля, они нас сажали в кутузки, а теперь наша воля, мы — их...

Чуть не на каждого человека готовы были наброситься как на шпиона. Чуть не в каждом доме чудился спрятанный пулемёт.

Пешехонов совал доносы в карман. (Вечером опорожнял, набиралась их пачка.)

Но больше всего сообщали о запасах продуктов в домах и квартирах (все запасы назывались спекулянтскими по самым фантастическим признакам), совали списки квартир и лиц, у которых есть запасы, или предлагали спросить прислугу, та знает и покажет. Вокруг продовольствия было особенно растравлено и теперь исправляли, кто как понимал, а многие очевидно рассчитывали, и это удавалось, при реквизиции поживиться самим. А оставшуюся часть несли или везли в комиссариат — и надо было озаботиться местом для склада, охраной его и каким-то же распределением. Сваливать начали в самом комиссариате, а тут ещё и спиртные напитки (толпа особенно охотно отыскивала и реквизировала именно винные запасы) — и в таком доступном месте! Нельзя было положиться ни на публику, ни на самих солдат, поставленных стражей. Несколько подвод с винами Пешехонов сразу направил в соседнюю Петропавловскую больницу, рассчитывая, что её-то громить не станут. Создавать надо было продовольственный отдел, и какого-то случайного активиста туда назначили (потом оказалось — жулика).

А по улицам — пёрли и пёрли вооружённые, неизвестно откуда набравши винтовок.

В комиссариат прибегали и жаловаться на самочинные обыски, начавшиеся погромы квартир: пришлите же защиту! обороните!

И кого-то посылали.

То — просили прислать караул, что-то важное охранять, какой-то покинутый склад.

Свои солдаты таяли, надо было где-то искать подмогу. И помощники Пешехонова отправлялись в питательные пункты: среди уже наевшихся солдат искать себе помощь.

То — напирал безоружный бродячий солдат — просил винтовку или револьвер.

Вид его был подозрительный, и ему отвечали: нету.

— А может, всё-таки? — мирно клянчил тот.— Солдату без ружья как быть?

— И ружей нет.

— А пойдёшь с пустыми руками — фараон с крыши застрелит. Хучь бы тогда револьвер.

— И револьвера нет.

— Так нас здесь — трое,— мялся, плутовал солдат.— Хучь бы на троих один. На каждом углу убить могут. Или,— мялся,— с обыском идти придётся, как же без оружия?

— Товарищ, не задерживайте, нету.

Да! А что же с охранкой? Вчера говорили Пешехонову, что она сожжена, и он успокоился. Но она находилась в его районе, и надо бы проверить. Явился какой-то прапорщик и доложил, что в помещении охранки остались бумаги, и публика их понемногу растаскивает. Пешехонов тут же назначил этого

прапорщика комендантом охранки, поставить там стражу, если бумаги уцелели. Прапорщик съездил, поставил и привёз образчики бумаг со списками секретных сотрудников. Это поразительно! — и такое сокровище пропадало! (Догадался прапорщик вступить в сношение с Горьким — и тот взялся разбирать архив.)

Тут — новая атака на комиссариат: гимназист лет шестнадцати, рыжий как огонь, глаза выпученные, лицо безумное, и с ним несколько штатских, не все старше его, и такой напор, что сразу прорвали первых часовых и уже прорывали вторых. Пешехонов выставился им навстречу: что такое?

Такой-то негодяй, назвал фамилию, живёт на одной лестнице с этим гимназистом, известный черносотенец — выписывает „Новое время"! Как бы не открыл из окон стрельбу! Надо против него вооружиться.

— Нет, нет, оружия лишнего у нас нет! — двумя руками им перегораживал, останавливал Пешехонов.

За его спиной, по лестнице вверх, лежало на втором этаже больше сотни исправных винтовок, старинные кремнёвые ружья, два ятагана, несколько кинжалов, медвежья рогатина и австрийский дротик. Но — беда, если попадёт в руки вот таким. (А слух — очевидно их достиг.)

Перегораживал руками Пешехонов, не слишком надеясь на своих часовых, совсем случайных солдат, приведенных с улицы за рукав. Они в любой момент и уйти так же могли.

Рыжий гимназист выразил демоническое изумление и презрение:

— Как? Как? — не хотел он верить, спазма сжимала горло.— Ну, знаете, товарищи... Ну, знаете, товарищи... По-моему, вы все здесь — провокаторы!

ПОШЛА БРАГА ЧЕРЕЗ КРАЙ – ТАК НЕ СГОВОРИШЬ

ДОКУМЕНТЫ – 9

Сего 1 марта среди солдат петроградского гарнизона распространился слух, будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат... Как председатель Военной Комиссии Временного Комитета Государственной Думы я заявляю, что будут приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных.

Член Государственной Думы *Б. Энгельгардт*

251

Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Такое qui pro quo получилось и с полковником Половцовым. 20 февраля он был в Гатчине на приёме у великого князя Михаила Александровича, ещё ничего в Петрограде не было, 25 февраля — в Ставке на приёме у Государя, 27-го вернулся в Петроград в самую кашу, 28-го вечером присоединился к революции.

Это вот как всё произошло. Начальник штаба Кавказской Туземной дивизии и вообще большой энтузиаст кавалерии, Половцов... Кстати, был такой случай. О нём никто не знает, сверхсекретно, но если бы узнали — было бы изумление и хохот. В прошлом году стало известно намерение Ставки резко сократить кавалерийские части: мало используются в боях, несут большие потери, съедают много фуража. И вот Половцов гениально сочинил по-немецки и ночью на Румынском фронте безымянно пустил по радио телеграмму якобы фон-Шметова, поздравляющего своих коллег немецких генералов по поводу сокращения русской кавалерии, что означает отказ русских от наступательных операций. Потом ему удалось узнать, что телеграмма эта, перехваченная, была доложена Государю — и так было отменено уже начинавшееся сокращение казачьих полков.

Пётр Половцов вообще считался патентованный гений, Академию генштаба в своём выпуске он кончил первым.

Но несмотря на это и на видное положение своего покойного папаши, служебное продвижение его было ниже ожидаемого, ниже заслуженного. Да вот на этих днях, когда он ожидал производства в генерал-майоры, он получил всего лишь „высочайшее благоволение'', облизнись.

Так вот, как энтузиаст кавалерии он и поехал в феврале проталкивать через верхи преобразование этой дивизии в Туземный корпус. По письмам с Кавказа была уверенность, что горских добровольцев наберётся на корпус, только кликнуть набор, они рвались (а мобилизации у них не полагалось). Великий князь Михаил, конечно, поддержал, но в Ставке было противоречие, ничего определённого пока не удалось,— и надо было Половцову возвращаться в свою дивизию, он решил — через Петроград, ещё раз провеяться.

В Могилёве он останавливался у флигель-адъютанта Адама Замойского, с ним вместе и приехали в Петроград, а тут... Замойский вскинул гордую шляхетскую голову и заявил, что в такую минуту он как флигель-адъютант обязан предложить свои услуги и шпагу покинутой угрожаемой императрице. Половцов сдержал улыбку и остался в столице оглядеться, на квартире у знакомого. Его авантюрное сердце забилось в представлении, что такие события и минуты происходят не в каждое столетие раз. Он сутки проследил за происходящим по телефону, попутно телеграфировал в свою дивизию, что вот, застрял в Петрограде,— и вчера вечером получил от Энгельгардта приглашение в Военную комиссию. И тотчас помчался туда.

А так как шашку свою он ещё прежде оставил на хранение в Генеральном штабе, то теперь явился в Таврический с кинжалом и револьвером, в лохматой папахе, изумительной черкеске с серебряными газырями, высокий, стройный, как всегда поражающий выправкой, той степенью выправки и даже той английской отделанностью манер, когда можно дозволить себе и свободные жесты,— чересчур даже сильное, страшноватое явление для такой комичной организации, какою была эта Военная комиссия.

Как раз — офицеры генштаба собрались сюда, и всё знакомые, всё *младотурки*, собранные всё тем же Гучковым и многозначительно-шутливо поигрывающие своею прежнею кличкой: от них-то и ждали когда-то государственного переворота, и он вот совершился, да сам.

Но не смотри на кличку, а смотри на птичку. Офицерики-то были так себе, все эти Туманов да Туган-Барановский. (Впрочем, и внимательно пошарив по Академии и по Главному штабу — не так много людского материала найдёшь.) А приведенный им генерал Потапов был просто сумасшедший (перед войной — гулял в отставке из-за умственного помешательства). Энгельгардт — пустое место. Все они здесь просто болтались, а кто был создан для штабного руководства — так только Половцов да, смешно, инженер Ободовский.

А ещё и сами от себя целый день валили неизвестные офицеры, предлагая себя для службы народу. И много их...

Но при такой неопределённости состава, обязанностей, и, главное, общего военного положения Половцову тоже было рано разворачивать все свои способности, он пока полуиграл, отпускал шуточки, болтал на подоконниках с одним, другим и третьим — и ко всему присматривался.

Обсуждали пикантную историю с явкой в Думу конвоя Его Величества. Вспоминали, как верна оставалась Людовику XVI швейцарская гвардия: все были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца, а не сдались.

Военная комиссия перешла на 2-й этаж в более спокойные отдалённые комнаты, в бывшую квартиру коменданта Государственной Думы, и его же печать присвоив себе за неимением лучшей. Провели какую-то всё же штабную организацию, учредили отделы — автомобильный, радиотелеграфный, технической помощи, санитарный, расставили несколько столов, пишущих машинок, расселись преображенские писаря, нашлись и две девицы с лихими причёсками, печатались удостоверения, заносились исходящие, в тетрадь записывались показания всех желающих что-то сообщить, раскладывались свеженькие обёртки дел, и адъютанты расхаживали с ними от стола к столу.

В течении дня посылали караулы в ещё не охранённые министерства и департаменты.

Презабавная была эта Военная комиссия, довольно раскоряченная в своём положении. Связь между царём и Царским Селом переключили на Таврический, в Военную комиссию приносили копии всех телеграмм между царём и царицей, о здоровьи детей, о передвижениях царя,— можно было за ними следить как за увлекательной игрой, но не приказывали стеснить, если он едет в Царское,— а от Вишеры, жаль, собственной волей повернул, ушёл. Военная комиссия считалась подчинённой временному думскому Комитету, а этот ни на что не решался, всё гнулся перед Советом рабочих депутатов — и в угоду ему особым постановлением зачислил в Военную комиссию также и полный состав Исполнительного комитета Совета, чушь какая-то,— хорошо, что у тех хватило ума или чувства юмора сюда не являться, только болтался от них кислый библиотекарь Академии Масловский. Но если кто оттуда являлся, или слишком революционные солдаты в этих непрестанных депутациях, выражающих революции верноподданничество,— то приходилось полковникам рассыпаться перед ними в иронической любезности. С депутациями этими вообще было много возни и с сигналами тревоги тоже. Явился молоденький военный врач и заявил, что в Сенате и в Синоде установлены пулемёты и работает контрреволюционная типография. И хотя сразу было понятно, что это — чепуха собачья, но такова была обстановка революционной настойчивости и недоверчивости, что нельзя было посмеяться и нельзя было отказать, а пришлось Половцову с самым серьёзным видом взять этого врача, нескольких кексгольмцев и поехать на долгий обыск и по Сенату и по Синоду, ничего не найти и составить о том протокол.

Тут ещё много смешил и путал безудержно-инициативный думский казак Караулов. Сам ли себя или кто-то надумал его назначить с вечера 28-го на быстросменный пост коменданта Петрограда. И с утра 1 марта уже был распубликован и кое-где развешан „приказ № 1 по городу Петрограду'', счёт начинался с особы Караулова. А приказ был: беспощадно арестовывать пьяных, грабителей, поджигателей — и всех чинов корпуса жандармов, то есть последних ещё охранителей порядка. Разыскали чубатого казака, трясли его — что ж он делает? Нисколько не сумняшесь, он тут же размахнулся, написал, да успел же где-то напечатать и расклеивали — дополнение к „приказу № 1'': что чины корпуса жандармов аресту не подлежат, и сразу же „приказ № 2'': что чердаки и крыши заняты сторонниками старого порядка, и дворникам предписывается обыскивать и проверять.

Караулов не знал себе никаких границ, и составленный в Военной комиссии приказ военным училищам возвратиться к военным занятиям был на ходу как-то перехвачен и появился за подписью почему-то опять Караулова и Керенского. Творилось полное безначалие в самом Таврическом дворце.

Да если бы только во дворце! С минувшей ночи по-новому бушевали казармы там и сям от слуха, что „офицеры отбирают оружие'', захваченное в революционной суматохе. Прорывались и сюда: „Что? На расправу нас затягивают? А дать окорот и тому же Родзянке! Хоть и самого арестовать!'' Смертельно перепуганный Энгельгардт, не посоветовавшись с офицерами в комиссии, ни даже с Гучковым, которому был теперь подчинён, но тот всё в разгоне,— с панической быстротой написал и тут же отдал в распечатание ужасающий приказ, что он примет самые решительные меры к недопущению разоружения солдат, вплоть до расстрела офицеров. И когда члены Военной комиссии об этом узнали — остановить приказ уже не было возможности, он раздавался ликующим солдатам! Так сама же Военная комиссия и вызывала у солдат панику.

Расстреливать офицеров за то, что они владеют оружием своей части!

Так что: и заманчивы были возможности революции для взлёта, но и тут же грохнуться наземь также вполне возможно. Половцов усмехался, похаживал, сдерживался проявлять себя. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе...

Думский Комитет с каждым часом показывал свою абсолютную беспомощность. В запасных батальонах творилось полное безвластье, особенно

в Московском, где хозяйничали рабочие и убивали офицеров, полковые казармы были блокированы, и доступа туда представителям власти не было. Из других батальонов офицеры передавали в ужасе, что сохранение порядка невозможно. „Известия" Совета и прямо высказывались против восстановления порядка. Для защиты Петрограда не было ни одной боеспособной части. Между тем отличный боевой Тарутинский полк высадился на станции Александровской, рядом с Царским Селом для действий против Петрограда. Но надеялись облапошить Иванова, принять его глупую генеральскую голову в объятье Военной комиссии, послали к нему офицеров.

А ещё — разбуравливался Кронштадт и отнюдь не в подмогу революции, как казалось прошлой ночью и радовались. С утра убили адмиралов Вирена и Бутакова, убивали ещё офицеров. Что там творилось — чёрная буря, не дознаться, разверзалась пугачёвская бездна, это уже не игра. С полковничьими погонами на плечах воспринимались эти вести зябко, даже под защитной крышей Таврического.

По едкой иронии именно в этот момент прибрёл в Военную комиссию растерянный старичок генерал Адлерберг, усмирявший Кронштадт в 1906, и просил удостоверения на право жительства в Петрограде и носить шашку...

Всё зависело теперь — что предпримет адмирал Непенин. Сегодня из Гельсингфорса он приказал читать командам обращения думского Комитета. Значит, Непенин присоединялся к революции. Так.

Да, большие возможности обещает революция, но лучше бы их обуздать.

Но — кому?

Руки Гучкова, понимал Половцов, были для этого отнюдь не достаточны, слабы.

Может быть — и зря кинулся он в эту Военную комиссию? Может быть — и зря заезжал в Петроград? Сидел бы у себя в дивизии спокойно?

252 ″

(по „Известиям Совета Рабочих Депутатов")

...Высказываются суждения, что вся задача только в том, чтобы „восстановить порядок". Такие суждения способны внести смуту в умы, они свидетельствуют о глубоком непонимании смысла происшедшего. ...Мы намеренно пока не ставим все точки над „i". Но сделаем это в следующий раз. С т а р о й в л а с т и в о з в р а т а н е т — и совершают преступление перед народом те, кто пытаются заключить с ней компромисс. Им придётся расплачиваться...

ПРИЗЫВ К ПОЖЕРТВОВАНИЯМ — Драгоценная кровь народная льётся за дело свободы. Никакие следовательно жертвы материальные не должны вас останавливать. ...Собирая деньги, учреждайте сразу строгий контроль из надёжных лиц, чтобы не было упрёков в корысти.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Товарищи! Петроград — в руках свободного народа. Ещё несколько ударов — и старый строй отойдёт безвозвратно в вечность. Враг, окружённый ненавистью и презрением, трусливо прячется в своих подземельях, чтобы собрать свои чёрные рати. Уже полнеба охвачено красным заревом свободы, но солнце ещё не взошло, и предстоят ещё жестокие схватки между народом и старой властью. Пролетариат опрокинул все тонкие дипломатические расчёты либеральных политиков... Нужно, чтобы пролетариат, вставший в авангарде революции, был окружён стеной всенародного сочувствия. Нужно с лихорадочной поспешностью приступить к созданию рабочих организаций. Оплетите неорганизованные массы густой сетью организационных ячеек!..

ОК РСДРП (меньшевики)

АРЕСТОВАННЫЕ ВРАГИ НАРОДА...

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНИИ ПЕТРОГРАДА

Граждане! Чтобы нам не быть одинокими... Наша борьба будет выиграна только в том случае, если с нами будет вся страна. Старая власть употребит все усилия, чтоб отгородить Петроград от страны. Граждане, распространяйте наши издания, рассылайте их с почтой и нарочными по городам...

Следующее заседание Совета Рабочих Депутатов назначено на 29 февраля.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПЬЯНСТВА! — Опасный враг достоинства революции — **пьянство**. В погребах большие запасы вина и водки, революционный народ находит их. Революционному народу они все не нужны. В историческую минуту революции надо быть трезвыми и чистыми. Поклянитесь в этом, товарищи, друг другу! — **УНИЧТОЖАЙТЕ ВОДКУ!**

...Вооружённые жильцы каждого дома должны заняться очисткой своих домов от уцелевших убийц...

БЕСЦЕЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА И КАТАНИЕ НА АВТОМОБИЛЯХ.

Товарищи! Не будем тратить бесцельно ни одной лишней пули. Все они нужны для будущей борьбы с контрреволюцией и кровожадным преступным правительством. Не забывайте, что под покровом ночи правительство готовит удары революции, что оно собирает опричников, чтобы потопить дело революции в крови народа. Для них — и нужны пули. Избегайте ненужных выстрелов. Они лишь пугают мирное население и могут даже убить наших товарищей-революционеров. Избегайте, товарищи, бесцельных поездок по городу на автомобилях. К тому ж иногда бесцельно расходуется драгоценный для нас бензин. Товарищи, не превращайте выступления дружин в увеселительные прогулки с ненужной пальбой.

Следующее заседание Комитета Государственной Думы назначено на 12 часов ночи.

НЕ НАДО ЖЕСТОКОСТИ. Народ разделывается в настоящее время с наиболее ненавистными представителями старого строя. Они гибнут на улицах и площадях, платясь за свою былую жестокость... Непосредственных преступников, кто расстреливал наших братьев, если они сопротивляются, надо уничтожать... Нельзя однако быть жестокими с теми, кто сдаётся на милость революционного народа. Не надо надругаться и издеваться над ними. Они в большинстве безвредные подлые людишки, в крови которых не стоит пачкаться.

В распоряжение Совета Рабочих Депутатов поступили от неизвестного солдата золотые часы.

...Трусливые приспешники старого режима попрятались в разных дворах, подвалах, выгребных ямах. Революционному народу они все не страшны. Они тонут в народном презрении в тот светлый праздник свободы, который мы переживаем. Нужно принять меры к задерживанию лишь тех, кто куёт новые удары против революции.

...На Финляндском вокзале никаких данных о возможности прибытия войск.

К РАБОЧИМ. Совет Рабочих Депутатов просит всех товарищей рабочих, у которых имеется оружие, сдавать его Совету. Плохо делает тот, кто стреляет без толку в воздух... ТОВАРИЩИ, ВООРУЖАЙТЕСЬ!

ТОВАРИЩИ ПЕЧАТНИКИ! Помогите свободному печатному слову! К верстакам, наборным и печатным машинам!

Студенческие группы с-д, с-р и Бунда призывают товарищей студентов энергично записываться в городскую милицию. Помните, товарищи, что Совет Рабочих Депутатов — ваше Верховное начальство.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ? — В городе появились слухи, что рабочие металлисты должны уже приступить к работам. Нет, забастовка может быть прекращена лишь полновластным постановлением Совета Рабочих Депутатов. Все обособленные шаги могут внести лишь деморализацию в великое дело революционного народа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! — Необходимо занять Государственный Банк, но помнить, что **там, кажется, есть пулеметы.** — Необходимо охранить Гостиный Двор и Апраксин рынок от хулиганов.

253

Ещё на прямой парадной мраморной лестнице под стеклянным колпаком Дома Армии и Флота, главного столичного офицерского собрания, и потом на окружных перильчатых галереях второго и третьего этажа со множеством пилястров, зеркал, дверей, голубого, золотого и дубового, и в кольце гостиных — тёмно-розовой „дамской'', кофейной, зеленоватой „мужской'', буфетной, строгой мрачной столовой с витражами (ничем сегодня не кормили), и в самом концертном зале у крайних кресел — стягивались знакомые и не-

знакомые группками по трое, по пять, по десять,— и друг от друга надеялись получить объяснение? поддержку?

Всех званий и всех полков были офицеры — все без оружия, но и без дам, но и среди буднего дня,— сколько служили они, кто год, кто четверть века, никогда бы не могли представить, что такое наступит в их жизни или вообще с какими-нибудь офицерами какой-нибудь армии. В один день все они были обезоружены, как бы разжалованы с чинов, уволены с должностей, а кто-то ещё и приговорён к смертной казни.

И со всем тем они должны были продолжать жить, ходить с офицерской выправкой, изображать офицерский вид.

Все обречённые, вот они согнались теперь вместе, в одно здание на углу Литейного и Кирочной, здание, знававшее их блеск, успех и досуг,— в прежней полированности, при прежних бронзовых группах и бра, кажется, последнее здание в Петрограде, куда ещё почему-то не врывались всевластные обнаглевшие солдаты. Согнались в ожидании начала,— неизвестно чего начала и в какой час. В обрушенном мире было тоскливо, страшно — но и не может же офицер это выказать.

И в одной группе в розовой гостиной, где подвески двух роскошных люстр мелодично позванивали от ходьбы по паркету, подполковник с ярким золотым передним зубом находил способность шутить:

— Теперь, господа, устанавливается черта оседлости, только вот какая: жить в столицах запрещается — офицерам, и на право проживания в виде исключения будут выписываться кратковременные свидетельства, как вот у этого штабс-капитана. Спешите в Государственную Думу, пока хоть выписывают.

Выразительная дерзкая губа его с жёлто-белым усом изгибалась.

У Райцева-Ярцева это была не роль и не бравада, а способ жить. Как в окопах шутят над Вильгельмом, над лётчиками, над толкущими вокруг снарядами врага — так отчего ж было изменить стиль и не пошутить теперь? Ведь всякий жизненный случай всегда кому-нибудь смешон, это правда,— и когда офицеры бежали из петроградских казарм, то сами не замечали смешных подробностей, а многим солдатам это даже весело представляется.

Когда вчера на улице Гоголя кучка солдат вдруг резко повернула к нему, и один грубый с тяжёлой челюстью закричал ему сдать оружие — в какую-то секунду всё взвилось, провертелось как будто даже не в голове Райцева-Ярцева, а где-то выше, выше, откуда видно всё хорошо, и откуда к нему уже спустилось. Что вот — и его не минуло, а надеялся — не тронут. Что выход только: обнажить саблю и убить одного мастерским кавалерийским изворотом, вот эту огрузлую челюсть. Но тут же и — быть растерзану самому. И вся нелепость: погибнуть на петербургской улице, убивая русского солдата. Вся нелепость — погибнуть, не дожив до сорока лет, со всем цветным, что теснилось в груди.

А значит — не убивать.

А тогда — и не убиваться. Тогда — отдать с лёгкой косой усмешкой, видя, как это несомненно смешно. Подполковник Райцев-Ярцев, потомственный дворянин и кавалерист, всю силу мужества своего вытягивавший в продолговатое тело сабли на её взлёте,— теперь отдавал эту душу-саблю как ненужный привесок.

Отдать с косой усмешкой — и потом шагать дальше по улице — и видя навстречу другого такого же опорожненного, правой рукой приветствовать его к козырьку, а левой шутливо прихлопывать по пустым ножнам на бедре.

Прежде сам бы не поверил, что так усмешливо перенесёт, когда его обесчестят.

Не так всё в тонкости, но с той же усмешкой он рассказывал теперь это всё своим собеседникам тут.

Тут-то, в Доме Армии и Флота, они все на короткие часы каким-то недоразумением были вполне безопасны. Может быть — можно было дойти до квартиры и оставаться там. Но — день, другой, а дальше? Ведь надо возвращаться в казарму?

Но это теперь — это теперь невозможно!!

А чем позже вернуться — тем хуже, укреплять солдатские подозрения.

И как же вернуться, если оружие части держат солдаты, а офицерам оно недоступно?

Перевернулся мир.

Новый опыт настолько неизвестен, посоветоваться настолько не с кем — непростительно давали украсить грудь красным бантом, даже второй на папаху, и так шли с солдатским строем в Думу (а кстати: здесь, сейчас, почти ни у кого красных наколок нет — в гардеробной сняли? спрятали в карман?),— да ведь в Государственную же Думу! — таков был призыв Родзянки, это законный человек.

Но не становилось с солдатами доверительней. Всё равно смотрели волками.

Да ведь кто ж и остался в Петрограде, кроме Думы? И она зовёт восстановить в частях порядок.

Но как восстановить, если вышибло из рук? И если нельзя забыть? Тех минут страха. Тех минут оскорбления.

Конечно, возврат в казармы неизбежен. Но и непонятен. Вернуться — значит потребовать, чтобы солдаты не шли разбойничать по городу, когда хотят, а спрашивали разрешения на каждую отлучку,— разве это ещё возможно? чтоб они сдали оружие и патроны из разгромленных цейхаузов? И это возможно?

Нет, восстановить прежнего уже нель-зя.

Или прилаживаться к тому тону, который за эти дни взят там без нас? Даже брать ноты ещё резче, чтобы никто не усумнился в их революционности?

Охватывает апатия. Последняя усталость — до неспособности сопротивляться, до тупого безразличия ко всему.

Рослый мрачный полковник, лицо из одних простых крупных черт, как будто вдесятеро меньше черт, чем бывает вообще у людей, такие лица хорошо смотрятся перед полковым строем,— говорил вопреки очевидности:

— Нет, господа, это всё зависело от нас. Это — мы сами упустили.

Впрочем, он не гвардеец был и, видимо, даже не петроградского гарнизона.

Да и Райцеву-Ярцеву не надо было возвращаться в казармы: он в Петрограде в отпуску, его-то полк на фронте. Ему только предстоял позорный возврат без сабли, до первого полкового склада. А пришёл он сюда за охранным документом, чтоб не подвергаться новым оскорблениям.

А между тем громко звенел по зданию электрический звонок: звали в большой зал. И тут в их группе к измайловцу подошёл взбудораженный другой и уверял, что час назад от думской Военной комиссии полковник Энгельгардт издал публичный приказ: офицеров, которые будут заставлять солдат возвращать оружие,— р а с с т р е л и в а т ь!

Что? Что-о?? Не может быть!

Чушь какая: Государственная Дума именно и звала ведь...

Шли в зал рассаживаться.

Непривычное для офицеров: публичное заседание. Но там уже сидели на сцене за столом — и все с красным на груди, правда не вызывающие банты, но скромные бутоньерки. Самочинно занявшие места. Называли председателя, секретаря, полковник Перетц, полковник Защук, полковник Друцкой-Соколинский. Испарения революции взнесли их туда.

Они и начали говорить один за другим. И что несли! —

— ...Лучшие из вас шли во главе солдат на штурм режима...

Кто это шёл?

— ...Рухнули барьеры и создаётся внутренняя связь между офицером и солдатом. Дух крепостничества навсегда исчезнет из военной среды!

По залу шёл гул от разговоров, плохо слушали.

— ...Граждане офицеры!..

Вот ещё как, по-новому.

— ...скорей вернуться на свои места в строй, просветлёнными, возрождёнными,— и восстановить духовную связь с солдатом на началах равенства и братства. И при поддержке того коллективного прапорщика, который вышел из рядов народа...

Рядом с Райцевым сидел молодой, с умным лицом моряк:

— Собрание самоубийц. Разве *тех* умилостивишь? Никогда. Знаю я их.

— Откуда?

— Студентом тёрся с ними.

А со сцены излагали замысел такой: либо всем сейчас идти отсюда шествием к Думе, и даже демонстративно через Невский („Господа! Зачем же всем? разве нельзя обойтись делегацией?''),— либо делегацией, но она должна понести резолюцию всего собрания. Это должно быть приветствие Государственной Думе в её благородном деле возглавления народного движения к свободе. И — присоединение: что офицеры, находящиеся сейчас в Петрограде, все тоже идут рука об руку с народом. (Эта подручка сейчас тяжелей всего представлялась.) Что вот они, собравшись тут, единогласно (почему-то настаивали, чтобы только единогласно, как будто отщепление одного голоса могло всё испортить) постановляют: признать власть Временного Комитета Государственной Думы! — впредь до созыва Учредительного Собрания.

Загудели возмущённые голоса: что-то слишком уж чудовищное! Не слишком ли большую цену спрашивают с них за возврат в казармы и за право свободно ходить по петроградским улицам? В России царствует Государь император, которому они все присягали,— и как же они могут теперь *признать власть* какого-то временного комитета из общественных деятелей? А Его Императорское Величество?

Но ещё можно бы этих признать до прибытия Государя в столичный град (скорей бы они шли, эти эшелоны, где они там застряли?), ну до образования постоянного правительства,— но почему нужно признать до созыва Учредительного Собрания? Разве Россия — не существует, чтоб её заново учреждать?

Да немногие и понимали, что это за выражение: „Учредительное Собрание''.

А виделись и молодые сияющие лица — и среди ораторов, и в зале.

И сосед, корабельный инженер:

— Разве наши офицеры подготовлены противостоять им? Чтоб их знать — надо в их драконовой крови искупаться прежде. Вот эти взрывы во флоте — „Мария'', да несколько под Архангельском, да пожары на складах, и вот в январе взорвался ледорез „Челюскин'',— это кто работает, вы думаете?

Он сам был сейчас — флагманский инженер в Беломорском флоте.

Ничтожная кучка говорила со сцены, вот ещё какой-то полковник Хоменко,— а ужасный поворотный ход событий придавал силу их словам. Вот уже взывали откровенно — не к сердцу, а к самосохранению: какие угодно имейте убеждения, но чтобы выйти из этого здания, но чтобы шаг ступить по улице, но чтобы сутки следующие проносить свои погоны,— присоединяйтесь, и *единогласно*! И тогда получите регистрацию и удостоверение на повсеместный пропуск.

Тот рослый полковник, с простыми чертами отважного лица, сидел от Райцева наискось вперёд, у прохода. И басил для соседей:

— Какая низость! Какое раболепство перед новыми правителями! И что же случилось с нами, господа офицеры? Неужели это не мы водили полки всю войну? Как быстро нас растрясли! Да сколько нас тут? — оглядываясь по залу.— Да тысячи полторы. Если на каждого считать хоть по 40 солдат — мы представляем 60 тысяч войска.

— Солдат — отвыкайте считать,— отозвались ему из ряда впереди.

— Хорошо, нас полторы тысячи.

— Теперь безоружных.

— Хорошо, почти безоружных. Но зато каких опытных. Да вот сейчас принять это идиотское предложение — и идти безоружным шествием якобы приветствовать Думу. А как дойдём до самой или даже внутрь — хватать там солдат за винтовки, отнимать, из рук выворачивать — и стрелять. И разогнать к чертям их пьяное сборище, а второго у них нет. И вообще ничего больше нет. Да это верный успех! Если б вот сейчас встать, объявить своё, сговориться — и пойти! Но ведь мы уже разложены, ведь тотчас побегут докладывать. Мы уже — как не одной армии офицеры, что с нами сделали, а?

Крупно решительный, он встал, за ним те два измайловца, и пошли по проходу вон.

И Гарденин посмотрел на Райцева:

— Пошли? Не идёте?

Резко встал — и тоже прочь, за теми.

Нет, Райцев-Ярцев остался. Хотя бы — оценить это всё с точки зрения юмора.

А на сцене появился сам Энгельгардт, очень благоприличный. Читал с приготовленной бумажки проект воззвания:

— ...„К величайшему нашему прискорбию как среди солдат, так и среди офицеров были предатели народного дела, и от их предательской руки пало много жертв среди честных борцов за свободу..."

Э-э-э. Это уже было недалеко и до *расстреливать*?..

254

В городе Луге, в 120 верстах от Петрограда по железной дороге на Псков, гарнизон стоял такой. Только что сюда прибывшая и предназначенная к отправке во Францию артиллерийская бригада — ещё без единой пушки, без единой винтовки, с неподготовленным составом и слабым командиром, генералом Беляевым, братом военного министра. Запасной артиллерийский дивизион — из новобранцев, неопытный, беспокойный, и тоже невооружённый. Автомобильная рота, как всякая автомобильная набранная во многом из рабочих и неблагонадёжная. И сборный пункт гвардейских кавалерийских частей из нескольких команд. Во главе пунктов стоял генерал граф Менгден, он же старший офицер гарнизона, весьма благодушный, хотя вспыльчивый, его солдаты любили и называли „наш старик".

Старшим же адъютантом этого пункта и начальником одной из команд Конногренадерского полка был ротмистр Воронович, после лечения от раны поступивший сюда несколько месяцев назад. Ротмистр этот был из молодых да ранних: из Пажеского корпуса, не окончив его, он успел удрать на японскую войну вольноопределяющимся и там получить георгиевский крест, правда в лёгком деле. Пажеский корпус не хотел принимать его вновь для окончания курса — и так Воронович застрял бы надолго армейским прапорщиком, но Государь распорядился принять его. Беглец отсидел месяц в карцере, а потом, вместе с пажом Макшеевым, успел кончить корпус из лучших, так что на последнем году они оба были произведены в камер-пажи императрицы и не раз дежурили в её покоях. Далее с георгиевским крестом Воронович оказался единственным таким среди юнкеров, так что все они обязаны были отдавать ему честь,— а затем и в гвардии, в Конногренадерском полку, его Георгий выглядел редкостью, ибо гвардия не была на японской войне. А ещё, по быстроте, он успел приобрести и передовые взгляды. А ещё он вынес тяжёлое впечатление от 1905 года, когда, на возврате с Дальнего Востока, тонул в стихийном море солдатских толп и вывел для себя, что нельзя оставлять солдат самим себе без правильного руководства. Оттого усвоил он самый доверительный стиль в отношениях с солдатами, а особо с теми, которые имеют революционные связи. Так и здесь в Луге, на пункте, у него был такой доверенный, рядовой Всяких, недавний студент-электротехник, связанный с эсерами.

С 27-го февраля, при смутных известиях о петроградских событиях, проникших слухами и в солдатскую массу, решено было воспретить отпуска и командировки нижних чинов в Петроград и усилить наблюдение за неблагонадёжными. Многие офицеры поняли это так, что надо подтягивать дисциплину и придираться к солдатам. Ротмистр Клейнмихель распорядился всыпать розог одному из гусар за неотдание чести. (Генерал порицал его за то.)

Напротив, ротмистр Воронович вызвал Всяких и тайно поручил ему ехать в Петроград и узнать как следует, что там творится. Затем велел вахмистру созвать свою команду, триста старослужащих, и обратился так:

— Ребята! В Петрограде происходят беспорядки. Чем они кончатся — неизвестно, но нужно быть готовыми *ко всему*. Я прошу вас не волноваться зря, не верить никаким слухам, продолжать занятия. Я обещаю, что буду

сообщать вам всю правду, что произойдёт в Питере. А вы обещайте мне вести себя благопристойно, как и до сих пор.

Кавалеристы обещали.

А граф Менгден поверх всех один оставался совершенно спокоен: и что в Петрограде всё кончится благополучно и что вверенные ему кавалерийские команды останутся преданы Государю императору при всех обстоятельствах. А с их помощью он в любой момент подавит в Луге любые беспорядки. Начальники команд предлагали ему меры, как отъединить кавалеристов от ненадёжных частей: окружить расположение пункта заставами, запретить нижним чинам отлучку и не допускать посторонних. Но генерал Менгден отменил всякие заставы:

— Я уверен, господа, что у нас, в Луге, опасаться нечего. Запасный дивизион и автомобилисты не посмеют выступить, если будут знать, что кавалеристы остались верны своему долгу и присяге.

И 28-го, вполне спокойный в Луге день, но когда пришёл слух о движении генерала Иванова, граф Менгден оставался тем более спокоен: вот Иванов и обнаружит тех мерзавцев, которые довели Петроград до восстания. Вот и будут приняты реформы, которые давно необходимо произвести. (Он возмущался некоторыми безобразиями на верхах.)

А Воронович так и не узнал ничего достоверно: весь день он прождал Всяких, а тот не вернулся.

Только утром 1-го Всяких уже сидел ждал в канцелярии с выразительным лицом. Ротмистр выпроводил вахмистра и писарей и остался с ним вдвоём. Всяких вытащил из-за обшлага шинели обтрёпанную газетку Совета рабочих депутатов и бюллетень петроградских журналистов с воззванием Родзянки о принятии власти думским Комитетом.

И понял Воронович, что революция — уже совершившийся факт. И почти не дослушивая рассказов Всяких — поспешил в управление пункта к Менгдену. По обязанности старшего адъютанта, он каждое утро подавал ему папку бумаг на подпись. Теперь поверх этих бумаг он вложил петроградские листки, внёс генералу — а сам ждал в адъютантской.

Через несколько минут распахнулась дверь генеральского кабинета, и старый Менгден, бледный от негодования, протянул измятые листки:

— Возьмите от меня эту гадость. И потрудитесь просить начальника гарнизона немедленно собрать у себя всех командиров отдельных частей.

Через полчаса в управлении все собрались, встревоженные. Командир автомобильной роты доложил, что у него и весь вчерашний день волнения. На вечерней перекличке солдаты отказались петь гимн, а сегодня в полдень намерены устроить митинг.

Исправник принёс целую пачку тех самых листков, за которыми так тайно посылался Всяких,— они уже сами притекли в Лугу.

На этот раз генерал вынужден был их прочитать. И все читали, молча шелестя. Воронович следил за графом. На его открытом породистом благородном лице видна была вся борьба сомнений.

— Господа... Я вижу, события в Петрограде приняли такой характер, что прибывающим с фронта войскам придётся выдержать с изменниками настоящий бой. Я не сомневаюсь, что фронт останется верным Его Величеству. И это всё решит. А наша задача здесь — только чтобы лужский гарнизон не оказался на стороне мятежного Петрограда. А главное ядро гарнизона — вверенные мне кавалерийские части, конечно присоединятся к верному фронту.— Он решил подавлять? Нет, свойственное ему миролюбие и великодушие, да долгая традиция брали верх: — А если какая-нибудь автомобильная рота желает присоединиться к мятежникам — мы ей мешать не будем! Если запасный артиллерийский дивизион захочет последовать её примеру — скатертью дорога! Они — не подкрепленье для бунтовщиков, потому что у них нет оружия. И ещё, я не сомневаюсь, к нам подойдут казаки с фронта. Итак, я принимаю решение: всячески воспрепятствовать кровопролитию между частями гарнизона. Но, разумеется, приму меры оградить вверенные мне части от касания с бунтовщиками.

Исправник пришёл в ужас: значит, город оставался в добычу мятежным

частям? Да ведь в Луге ни фабрик, ни заводов, за спокойствие населения он ручается, но надо же обуздать мятежные части!

— Так что ж, ваше превосходительство, вот митинг автомобилистов — не мешать?

— Не мешать! — величественно держал голову старый граф.

И взяв Вороновича, поехал делать смотр отправляемой на фронт команде. С обычным спокойствием он ласково здоровался с ней, та дружно отвечала на приветствия. Смотр прошёл великолепно, генерал остался очень доволен выправкой людей, состоянием лошадей, несколько раз благодарил ротмистра, вахмистра и солдат.

Кончился смотр — в управление кавалерийского пункта позвонили из полиции, что автомобилисты ранее своего назначенного митинга соединились с запасным дивизионом, выкинули красный флаг и идут в город „подымать кавалерию".

Генерал Менгден первый раз за все эти дни растерялся.

— Так что же. нам делать? — спросил он у Вороновича, вскидываясь старыми глазами с краснотою.— Неужели стрелять по этим мерзавцам? Как не хочется проливать кровь.

Воронович был рад оказаться на месте у совета и спешил высказать его, чтоб доклонить генерала, куда он уже клонился:

— Ваше сиятельство! Что революция в Петрограде произошла — это уже несомненный факт. Во что она выльется на фронте — это пока неясно. Зачем вам спешить занимать резкую позицию? Ваше миролюбие вас не обманывает. Что могут сделать наши команды? Ещё неизвестно, согласятся ли все солдаты выступить против остального гарнизона. Но если и да — это будет бесцельное кровопролитие, за которое потом жестоко поплатятся наши же офицеры. Нет, вы правы: надо во что бы то ни стало избежать крови! Ну, пусть эти автомобилисты и артиллеристы придут к нам. Что они могут сделать? У них кроме шашек никакого оружия нет, придут, поговорят и уйдут к себе. Важно, чтоб наши солдаты знали, что их офицеры будут вместе с ними,— и тогда у нас внутри всё обойдется благополучно. Не выступайте! — пожалейте собственных офицеров! Я свою команду — берусь удержать от всякого выступления. Прикажите начальникам других команд...

Генерал сидел в изумлении и потерянности. Он дряхлел на глазах, на год в минуту:

— Но не могу же я, верой и правдой прослужив трём Государям, теперь изменить своему долгу и присяге?! Конечно, я против кровопролития. Но... Что же вы посоветуете мне делать? Я готов принести в жертву самого себя, пусть убьют меня, если только это поможет с честью выйти...

Воронович умолял его только не выступать перед возбуждённой толпой. Уговорил отправиться на квартиру и спокойно ждать.

А сам поспешил в свою команду.

Тем временем снаружи уже слышался глухой шум приближения толпы. Из окна Воронович увидел, как к крыльцу команды подскакал верховой артиллерист с красной повязкой на рукаве. Прокричал:

— Выходи все из казармы!

И поскакал к следующей команде.

Воронович прошёл в команду и нашёл солдат в полном смущении. Они не знали, что делать. Некоторые уже шли к выходным дверям, но заметили ротмистра, остановились.

Теперь-то он и должен был оказать своё водительство. Вот пришёл момент управлять массой! Он вышел на середину казармы и громко крикнул:

— Кто хочет — иди на улицу, остальные — собирайся ко мне!

Казарма загудела — и все окружили ротмистра.

Тогда он громко сообщил им, что в Петрограде произошла революция, и почитал из воззвания и листков.

Кричали нестройно „ура", спрашивали, что им делать.

Воронович предложил отправить по человеку от взвода, узнать, чего артиллеристы хотят.

А сам срочно вызвал к себе в канцелярию Всяких и совещался с ним. Тот

сообщил, что в автомобильной роте выбран „военный комитет", чтоб руководить восстанием гарнизона. Воронович немедленно послал Всяких установить с комитетом связь и начать переговоры.

Между тем артиллеристы с красным флагом дошли до управления кавалерийского пункта и звали кавалеристов „присоединиться к народу" и идти на манифестацию. Но кавалеристы мялись, а посланные от взводов вернулись недовольные:

— Болтают, а чего — не поймёшь.

Это даже превзошло ожидания Вороновича: кавалеристы не поддались! (Так они бы и бились?)

Но прошёл час (Всяких не возвращался, только за смертью посылать), и узнали, что артиллеристы обезоруживают соседнюю конную команду, вошли в их казарму.

Это уже через меру. Это не годилось. Надо было держаться. Воронович построил своих и выразил, что старым солдатам стыдно дать себя разоружить новобранцам.

Ответили, что сраму такого не допустят.

Усилили караул к оружейному складу, дежурный взвод построили в казарме у выхода, а строгий стройный высокий Воронович с дежурным унтером вышел на крыльцо.

Вот подходили и артиллеристы, человек сто и всё новобранцы, лет по 18-19, а ещё несколько местных гимназистов и двое-трое подозрительных штатских. В руках толпы виделось штук 40 винтовок, которые они без труда взяли в соседней команде.

Из толпы выступил вольноопределяющийся, взял под козырёк и предложил ротмистру немедленно сдать всё оружие, которое имеется в команде.

Ротмистр спросил, по чьему распоряжению? Вольноопределяющийся ответил, что у них есть сведения о неподчинении кавалеристов Государственной Думе, и поэтому решено их обезоружить.

Это и было решено в том „военном комитете", от которого ждал сведений и прояснений ротмистр, да Всяких всё не возвращался. Сложное положение, как ноги разъезжаются.

Между тем из толпы, опьянённой успехом в соседней команде, раздались крики:

— Да что с ним, золотопогонником, разговаривать! Дай ему в ухо и вали в казарму!

Тут на крыльцо высыпал дежурный взвод с винтовками.

Толпа поостыла.

Сверхсрочный унтер спросил вольноопределяющегося, зачем пожаловали.

Тот повторил.

— Ах ты, щенок лопоухий! — закричал на него унтер.— Да ты с кем разговариваешь? Да ты ещё с голой задницей бегал, когда меня дяденькой величали! — и ты от меня винтовку требуешь? Да я тебе такую винтовку пропишу, ты до самого полигона катиться будешь! Ребята,— оборотился он к своим на крыльце,— а ну, покажите соплякам дорогу на полигон.

И человек двадцать кавалеристов, оставив винтовки у своих, со смехом и шутками врезались в толпу и быстро отобрали у сопляков всё оружие соседней команды.

Штатские убежали, а новобранцы и гимназисты растерянно смотрели на своего предводителя.

Но, конечно, это было не решение вопроса. Ротмистр подошёл к вольноопределяющемуся и стал его уговаривать.

— Поймите. Если бы мы захотели действовать против вас, то несколько сот хорошо вооружённых старослужащих легко справились бы со всем вашим беспушечным дивизионом.— Что была совершенная правда.— Но мы не хотим ненужного и бессмысленного кровопролития. Вот хорошо, что кончилось мирно. Отправляйтесь к себе в дивизион и объясните там это...

То есть „военному комитету". Хотел бы Воронович понять их замысел и цели. Петроградская революция всё равно уже победила, бессмысленно и не надо с ней спорить, а повторить её в Луге наиболее безболезненно.

А солдаты смаковали, как они сейчас будут срамить соседнюю команду, отдавшую оружие.

255

Хотя в соседней комнате уже собиралось топтание Совета рабочих депутатов — Исполнительный Комитет не намеревался к ним туда выходить, занятый настоящей работой. Неизбежно только было послать одного на председательствование. Самый подвижный и неуёмный Соколов рвался туда, сидеть здесь за столом ему казалось скучно. (И Гиммер тоже подбивал его уйти: он выведал утром, что тот неверный союзник, и в вопросе о власти — допускает участие в коалиционном правительстве, и в вопросе о войне — имеет такое уродливое представление, что Германия может насадить у нас опять царский строй, а поэтому именно теперь надо против неё воевать.) Итак, Соколов ушёл руководить толпой, а остальные рассаживались вкруг своего стола за занавеской, установив сколько можно прочный заслон на дверях, чтоб хоть сегодня-то не мешали. (Но и тех, кто задерживает, уже набралось тут полкомнаты.)

Не сразу, но спохватились: не нужно ли протокол писать? Большинство кричало — не нужно, опасаясь попасть в секретари. Но Капелинский склонялся, и его упросили.

А Чхеидзе начал председательствовать тут. Но все видели, что уже и на это он не годится, состаревался рано. Ему было только за пятьдесят, в Думе он держался на крайнем левом фланге молодцом, петушком, а в эти дни охрип и иссилился, выступая перед солдатами, валящими в Думу. Но больше всего он изнемог от наплыва счастья: вся Дума оказалась неправа, а одна кучка социал-демократической фракции права! — вот совершилась предсказанная им народная революция, и больше ничего он не хотел, не мечтал и не мог направить. От этого исполнения желаний, от этого полного прохвата счастьем он вконец обмяк. Не успевал замечать, кому дать слово, и не имел расположения да и могущества отнять у кого-нибудь, то блаженно кивал противоположным мнениям, то как будто засыпал. (А ещё ему подносили подписывать то пропуска, то какие-то другие клочки.)

Соседи его пытались руководить собранием за него, потом всё смешалось, не слушали и заику Скобелева, а Керенский конечно не присутствовал, он даже и для вида не вбегал, уже открыто презирая этот ИК,— и заседание пошло просто на перекриках и спорах, кто слово захватит.

Вообще неотложных вопросов и сегодня было на целый день заседаний, но наконец не избежать было вопроса о власти: кто же и как устроит революционную власть? И большевики своей дружной группой настаивали именно об этом говорить и даже именно: Исполнительному Комитету немедленно брать всероссийскую власть. А неугомонный Гиммер своим пронзительным голосом ещё прежде объявил, что, как ему стало известно, цензовые круги на полных парах подготовляют создание правительства,— он и не скрывал своего одобрения,— а Исполнительный Комитет, значит, вынужден разработать свою позицию и занять её.

Вынужден так вынужден. Стали занимать и высказываться.

Гиммер же поспешил и захватить общее внимание. Он так и открыл, что только этим вопросом постоянно и был занят и вот к каким выводам пришёл. Конечно, цель империалистической буржуазии, этих Гучковых и Милюковых, понятна: ликвидировать произвол только над самими собой и закрепить диктатуру капитала и ренты. Правда, для этого им придётся создать полусвободный, так называемый либеральный, политический режим и полновластный парламент. Но на этом подражании „великим демократиям Запада", а на самом деле диктатуре капитала, они хотели бы революцию остановить, кроме того ещё обуздав её для целей национального империализма и „верности доблестным союзникам".

Всякому мыслящему марксисту эта тактика насквозь и с железной необходимостью понятна.

Выступление Гиммера затягивалось вроде лекции, но так назойливо

режуще он говорил, и такая несомненно марксистская тут сквозила теория, что его слушали.

Однако есть другие мыслящие марксисты, скажем группы Потресова, не говоря уже о народниках-обывателях, которые отсюда утверждаются в мысли, что наша революция и обречена быть буржуазной. Так вот: это — логически необязательно и фактически неправильно! В условиях идущей войны и в страхе перед мнимой „национальной катастрофой'' это означает не что иное, как планомерную и сознательную капитуляцию перед плутократией, означает политический, социалистический и социальный минимализм — тогда как эпоху империалистической войны должна увенчать непременно мировая социалистическая революция!

Правые тут меньшевики, окисты,— поняли ли, куда ведёт Гиммер? Вряд ли. Уж только не Гвоздев, сидел с потерянным выражением, как будто и не слышал. Но обманулись и левые. Единственный тут, но пламенный эсер Александрович, единственный, но неуклонный межрайонец Кротовский и Шляпников с верными большевиками всё больше сияли, что представитель *болота* Гиммер говорит им на руку, прекрасное выступление! Если их левое крыло объединится с болотом, то вот сейчас можно будет и провести постановление о взятии Советом депутатов всей революционной власти!

Однако болото вязко поворачивало дальше так, что демократические массы в настоящее время не имеют реальных сил для немедленного социалистического преобразования страны.

У Кротовского лицо было жирноухое, жирнощёкое, жирногубое, и он выражал им хохот: а кто же распоряжается всюду — на улицах? на вокзалах? в казармах? — разве думский комитет? Всюду командуют уполномоченные Совета или его добровольные сотрудники. Кто же ещё другой имеет сегодня авторитет в массах? К воззваниям Совета прислушиваются как к приказам.

(Так-то, может быть, и так — а вместе с тем и страшен же этот шаг: взять власть самим, никогда не подготовленным,— как? что? И в какой момент? Когда старая власть вовсе не уничтожена и может опять нагрянуть сюда. Конечно спокойней, если возьмёт Милюков, пусть они и голову ломают.)

Нет и нет! — настаивал Гиммер: в данный момент демократия не в состоянии достичь своих целей одними своими силами. Без цензовых элементов мы не справимся с техникой управления. А значит — надо использовать империалистическую буржуазию фактором в наших руках! Надо, по сути: при буржуазном правлении установить диктатуру демократических классов!

Это была захватывающая идея, которою Гиммер гордился, не все вожди мирового пролетариата могли такое придумать. И свои сверлящие пальцы он устанавливал попеременно в сторону собеседников. Вот в чём особенность обстановки и вот в чём должен быть ядовитый дар данайцев: предложить буржуазии власть в таких условиях, которые бы *обеспечили нам полную свободу борьбы против неё самой!!!* Ещё очень может быть, что они раскусят и не захотят взять власть в таких условиях. А пролетариат должен заставить их взять власть!

Ну что-то слишком мудро, просто смех! Кричал буйный Александрович, и подавал басок Шляпников: нам просто смешны ваши опасения, что буржуазия откажется от власти! да никакой класс ещё никогда добровольно от власти не отказывался! А что ж все эти годы толкало нашу буржуазию в оппозицию к царю, если не жажда власти?

Но хоть они так и наскакивали резво, но не было в них настоящей настойчивости. Какая-то неуверенность в них была. Шляпников, видно, очень непристроенно себя здесь чувствовал: выступал не бойко, часто отвлекался к своим приходящим, а то исчезал с заседания. Большевики, они ведь главное видели не в Совете, а что захватывали тем временем Выборгскую сторону, и кажется Нарвскую. А тут, на заседании, они только и знали голосовать дружно как один, типичное поведение для недостаточно мыслящих. По их примитивному представлению, восстание в Петрограде уже и было начало мировой социалистической революции, поэтому и речи не может быть ни о каком цензовом правительстве — но брать самим полноту власти и реализовать программу-максимум! (Да они и вели так, без всяких заседаний. Вон, уже

успели напечатать в „Известиях" свой манифест, опередили всех: отдельное социалистическое правительство! Напечатали свой манифест как выражение общесоветской программы, что за нахальство!)

Но тонко и сложно вёл Гиммер: суметь сохранить свои руки свободными, а власть направлять из-за её спины.

Капелинский зачарованно заслушивался говорящих, то и дело забывал писать протокол — да и кому зачем он нужен, что он такое против живого дела?

Шехтеру тоже была не по уму вся гиммеровская теоретическая высота и тактическая изощрённость, но главное он ухватывал и поддержал: вообще допустимо или недопустимо социалистам участвовать в буржуазном правительстве? — как следствие допустимо ли сейчас войти в коалицию с цензовыми кругами? Шехтер считал, что ни в коем случае не допустимо. Это было бы изменой революционной социал-демократии. Если социалисты войдут в коалицию, то у рабочих создадутся иллюзии, что грядёт социализм,— а потом наступит убийственное разочарование.

Так всё больше сходилось против оборонцев. Голоса тех звучали совсем робко: что война всенародная и нельзя уклоняться от ответственности за неё.

Так тем более они сплачивали против себя всех циммервальдистов здесь, а их было большинство: участие в коалиции есть измена Циммервальду!

Гиммер проницательно предвидел парадокс, что большевикам, межрайонцам, эсерам придётся голосовать за его программу, никуда не денутся. Даже не оценив её красот и глубин, а всё равно проголосуют.

Правда, тонко и умно один за другим защищали коалицию бундовцы Эрлих и Рафес. Они исходили из осторожности. Они и подводили известную теорию, что революция у нас — буржуазная и должно пройти свободное буржуазное развитие, это целая эпоха.

А других сильных защитников коалиции — Пешехонова и меньшевика Богданова, на заседании не было.

Тут неожиданно для всех раскричался до сих пор всем довольный и счастливый Чхеидзе. Потому ли, что дольше всех ему уже досталось заседать с этой цензовой буржуазией в Думе — но он стал сердито и даже неразборчиво кричать, что он решительно не допустит никакой коалиции! поломает её, а не только, что будет голосовать против!

Столько прожив на краю парламентской оппозиции, он привык бояться малейшей причастности к власти — и для себя, и для друзей. Он считал: лучше будем снаружи подталкивать цензовую власть.

И опустил утомлённую голову на грудь.

И Скобелев, конечно, с ним заодно.

Некоторые колебались, меняли мнения.

Сообщник Гиммера Базаров, никого не слушая, сидел тут же за столом и писал. (Не знал Гиммер измены: статью в завтрашние „Известия" в пользу коалиции!)

Интересно, что никто из двадцати присутствующих не потребовал помешать созданию буржуазного правительства, хотя знали, что каждый час оно движется к формированию. В этом-то и была неуклонность хода событий, предвиденная Гиммером.

Тут выступил Нахамкис. Он по-разному умел выступать, он умел и громить, он и очень, он очень умел быть осторожным. (Дошёл же и до него слух, что генерал Иванов ведёт на Петроград 26 эшелонов войск подавления, что с Карельского перешейка идёт 5 полков. А какие силы защищали Таврический — все видели: никакие. В таком положении брать власть — значило просто совать голову в петлю.) Нахамкис теперь аргументировал, что революционная демократия в настоящее время никак не сможет нести обузы власти. Да и нет сейчас в её среде крупных имён, которые могли бы создать авторитетное правительство. Да и совершенно они незнакомы с техникой государственного управления. Пусть цензовые думцы возьмут власть и довершат крушение царизма. Надо быть вполне довольным, если революция восторжествует пока в форме умеренно-буржуазной,— а затем мы будем её подталкивать и раскачивать. Так что пока надо приветствовать решение думского

комитета взять на себя ответственную роль. Он лучше всего и справится с царистской контрреволюцией.

Итак, проступало три возможных решения. Крайних левых — цельно-социалистическое правительство. Оборонцев и бундовцев — разделить с буржуазией власть, войти в коалицию. И центра, называйте его болотом, но тут вся гениальность: не брать власти себе, но и не делить её с буржуазией, а остаться со свободными руками — и толкать!

И уж кажется шло к голосованию — но не добрались. Да мудрено было бы добраться, удивительно ещё, что столько времени могли поговорить на одну тему. В комнату № 13 то и дело рвались, совали бумаги добровольным секретарям, часовые и секретари еле сдерживали напор ломящихся по „чрезвычайным и неотложным делам". Сообщали об эксцессах, о стрельбе, о погромах, те жаловались на атакующих, те на обороняющихся. Из Кронштадта принесли слух, что убили двух адмиралов, избивают каких-то офицеров, как будто тоже надо кого-то послать. Одни члены ИК выскакивали к вызывающим, другие возвращались, третьи ходили поднаправить пленум Совета в соседней комнате. И бумаги приходили довольно важные, например от профессора Юревича, назначенного новым общественным градоначальником, вместо Балка: он просил себе помощников от Совета. Какой нонсенс — никаких *назначенных* градоначальников уже никогда не будет впредь! Но сейчас, временно, что ж, он совершит полезную работу по разрушению старого полицейского гнезда. (И Гиммер отправил туда двух своих друзей.)

А тут за занавеской раздался значительный шум, даже больше самого заседания,— и решительно отклоняя занавеску, перед заседанием И-Ка выставился какой-то полковник в сопровождении юного гардемарина с боевым видом.

Ещё недавно многие тут, нелегальные и полулегальные, шарахнулись бы в испуге от такого полковничьего у них появления. Ещё недавно и полковник мог только крикнуть им разойтись или напустить на них кавалерию. Но сейчас он вытянулся, как перед заседанием генералов, и отрапортовал.

Что Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов обладает полнотою власти, только ему все повинуются, и он, полковник, прислан обратиться за содействием.

— Что случилось? Почему вы врываетесь?

Многие стояли, заседание было нарушено, и вместо всемогущества члены ИК ощутили скорей беспомощность.

256

Но позвольте, что за военная наглость! Чего хочет этот полковник от Исполнительного Комитета и как смеет он нарушать заседание?!

Всё смешалось, говорили многие и не могли сразу понять.

Полковник тоже объяснялся не по-военному, путанно, с длинными добавочными фразами — или дипломатничал? Из его вежливых выражений не сразу поняли суть: председатель Государственной Думы Родзянко намерен выехать на свидание с царём, и заказывал себе для этого экстренный поезд на Виндавском вокзале, поезд уже был готов, но сейчас поступили сведения, что железнодорожники отказываются его отправить. Они говорят, что послушаются только Совета депутатов. Так вот, покорнейшая просьба от думского Комитета к Совету: разрешить отправку поезда.

Да что такое, почему ИК должен... (Ага, значит — наша власть!) Да почему прерывают без спроса? Да какие такие железнодорожники, мы ничего об этом не слышали!

Но как уже всё покатилось кубарем, так теперь и этот подчинённый гардемарин, вместо того чтобы держаться немым адъютантом,— выступил с заявлением, голосом гневно-дрожащим, с глазами гневными ко всему Исполнительному Комитету:

— Позволю себе спросить от имени моряков и офицеров: какое ваше отношение к войне и к защите родины? Чтобы признать ваш авторитет, мы должны знать... Если в такую минуту Председателя Государственной...

Маль-чишка! Ещё и этот! Он хочет знать! Тот самый вопрос, который нарочно все обходят третий день!

— Нет, это слишком! Извольте удалиться, господа, мы о судим без вас!

— А какие железнодорожники?..

Скобелев выразил, что — знает, но когда эти уйдут.

Выпроводили: ответ будет.

Объяснил Скобелев: есть один надёжный человек, счетовод службы сборов Северо-Западных железных дорог Рулевский. В движении революции он бросил своё счетоводство, а присоединился к штабу Бубликова в министерстве путей. И оттуда время от времени сообщает, что там делается, проверяет их. Он и позвонил, что готовится поездка Родзянки для сговора с царём, уже не с первого вокзала. Скобелев дал знать на Виндавский — остановить уже готовый поезд, но не успел объявить И-Ка.

Да что тут успеешь?.. (С бумагами и делами тем временем продолжали добиваться — разрешения, удостоверения, направления...)

Теперь все стояли на ногах, как будто надо было бежать на пожар, так их перебудоражило.

А в самом деле, зачем Родзянко едет? Скажите, Государственная Дума! Столыпинская! Хочет зацепиться за революцию! Какая у него может быть цель? Да разве мы можем доверять ему? Да и всему думскому Комитету? Ведь они ещё никак с революцией не связаны, возьмут да и столкуются с царём. За наш счёт! А тогда они и всю армию повернут против революции? Да это губительно! Тут не может быть сомнений! Никакого не давать разрешения! Прав Скобелев, что задержал! Сам царь не может справиться с Петроградом, так Дума ему поможет! (А вот так доверять им власть? Значит — нельзя давать им власть?) От этой поездки может зависеть вся судьба революции! Ни в коем случае не разрешать! Благодарить железнодорожников за правильное понимание долга перед революцией!

Кажется, других мнений и не прозвучало. Нет, было такое: пусть Чхеидзе сопровождает Родзянку для контроля? Большинством решили: всё равно о т к а з а т ь !

Садились. Сели.

Но этот эпизод всколыхнул, что напрасно они все пренебрегали вопросом о судьбе династии,— им казалось, это отдалённо и почти уже сметено. А — нет! Очевидно, Совет должен выразить ясным актом, что династия Романовых не может оставаться!

Но тут и ещё вопрос: а — Керенский? Ведь он — там, в думском Комитете, ведь вот он сюда и не является. Так он — знает о подготовке этой предательской поездки? Почему не помешал? Почему — нам не сообщил? Вызвать сюда Керенского!

Пригласить.

Да надо же возвращаться к вопросу о власти!

А тем временем накопилась вермишель мелких дел — одно, другое, третье...

Даже заседание рассыпается на единицы: каждый куда-то идёт, снуёт. (Да надо же когда-то поесть и попить. Товарищи! Мы сейчас организуем что-нибудь здесь!)

Товарищи! Мы же должны переходить к голосованию по вопросу власти. Товарищи! — (это Гиммер) — голосование тоже ещё не всё. Ещё мы должны обсудить и выработать у с л о в и я, на которых мы согласны допустить буржуазию ко временной власти, в коалиции или без коалиции! Ведь мы же у с л о в н о её допускаем!..

А тут опять бегут сообщают: где-то офицеров бьют, терзают. И в Кронштадте... (Хотя это — историческая неизбежность.) Надо что-то такое опубликовать, чтобы решительно и бесповоротно заставить офицерскую массу примкнуть к революции! (Нахамкис стал писать.)

А тут — вошёл Керенский.

Не вошёл — ворвался, бледный, полубезумный, истрёпанный, галстук набок, а короткий ёжик просто не сбивается, иначе бы... На лице его было отчаяние, он знал что-то ужасное?..

(Подходили войска Иванова? Мы погибли все?..)

— Что вы делаете! Как вы можете! — восклицал Керенский, не добираясь до более внятных фраз. Но и был же измучен как! — Вы отсюда, ничего не зная, мешаете Родзянке ехать. Да неужели вы не понимаете, что я — там, и если было бы нужно, я остановил бы сам? — Он шатался, ему пододвинули стул. Он рухнул, привалился грудью косо к столу и голова опустилась.

Бросились ему помочь. Кто-то придерживал голову, кто-то рассвободил галстук и расстегнул воротник. Принесли воду и опрыскивали его.

Придя в себя — он нашёл силы говорить. Трагическим шёпотом, но всем однако слышно:

— Да неужели я нахожусь в том крыле, во враждебном окружении, для чего-нибудь другого, а не для защиты интересов демократии? Если появится опасность для нас — я первый её увижу! Я — первый её обезврежу! Вы — можете на меня положиться! Я — пронзительно помню свой долг перед революцией, как должен помнить каждый из нас!.. Но при таких условиях недоверие, которое вы выражаете к думскому Комитету, есть недоверие лично ко мне! Это недоверие неуместно! Оно — опасно! Оно — преступно!.. Очень может быть, что поедет совсем и не Родзянко. Дело не в Родзянке, а дело в поездке. Да он, может быть, получит отречение! Вы ничего не понимаете, а — мешаете!

Его слушали так, как не слушали друг друга целый день.

От-ре-чение?!.. Ну, так если... Ну, другое дело...

Керенский, уже голосом отвердевшим, потребовал: разрешить поездку Родзянки, для окончательного утверждения новой власти!

И появились голоса в его поддержку — сперва сторонников коалиции, потом и других.

И потекли новые прения, совсем не короткие, и дело шло уже как будто не о поезде, а о взаимоотношении двух крыльев дворца? Да, так оно становилось!

А это же — и был вопрос о власти, который они покинули, никак не могли кончить.

И произошло нелепое голосование, в котором Гиммер с двумя наличными большевиками (остальные разбежались) только и был против поездки к царю, остальной ИК — за. Правда, с поправкой, что Чхеидзе или кто другой должен Родзянку сопровождать.

257

В тоске проснулся Кутепов, в тоске провёл утро у сестёр. Никакого отпуска у него быть не могло, никакой частной жизни, если творилось такое.

Но, полный сил и военных соображений, он и вмешаться в события не мог без подчинённой ему части, без своего несравненного Преображенского полка, сидящего по окопам далеко в Галиции.

Сделать ничего не мог — но и в одиночестве не в силах был томиться. И хотя сёстры ещё в обмороке были от опасности, пережитой им на Литейном, и хотя рассказывали наперебой, как расправляются с офицерами на улицах,— почувствовал Кутепов унижение прятаться дома, невозможность так сидеть. Тогда надо бросать отпуск и на фронт уезжать.

Да уже не мог он так покинуть и этот неудалый запасный батальон.

Телефон снова действовал. Позвонил в офицерское собрание — Макшеев обрадовался и очень звал, но автомобиля прислать не может, их почти не осталось в батальоне, и офицеры ими не распоряжаются, такое странное положение.

Кутепов сказал:

— Хорошо, я приду пешком.

— Но как же вы придёте?

Да вряд ли это было так опасно, как рисуется напуганным людям. Вряд ли опаснее, чем идти в атаку под градом пуль или пешему встречать атаку кавалериста: здесь пули летают почти случайно, всё в воздух, а встречные пеши, и шашкой владеют наверняка хуже тебя.

Ему предстояло пересечь Большой проспект, пройти по Кадетской линии,

потом по Университетской набережной, по Дворцовому мосту, мимо Зимнего — и всё. Держа пистолет без кобуры, с доведенным патроном в кармане шинели, а шашку — отчётливо наверху, на левом боку, Кутепов шёл в большом напряжении, готовый к бою каждую секунду и с каждым встречным. Не смотрел особо вызывающе каждому в лицо, но и не уводил глаз в землю, а как бы прослеживал на уровне глаз вперёд от себя прямолинейную узкую себе трассу, видя дальше вперёд, чем лицо встречного.

Но при этом не мог он не замечать омерзительных красных лоскутов на всех, какое-то необычное балаганное гуляние, овладевшее всеми, как безумие. И на большинстве лиц клеились или плавали глупые улыбки. Радовалась толпа, сама не зная чему — крушению порядка, началу анархии, где не сдобровать никому.

Какие-то ещё прокламации были расклеены по стенам, но Кутепов боковым зрением не охватывал даже их заголовка крупного, а уж тем более не подходил почитать.

Много было отдельных бродячих солдат, вне каких-нибудь команд,— и некоторые, проникнувшись грозно-утомлённым видом полковника, уверенностью его хода, отдавали ему честь, довольно чётко. Тогда и тотчас полковник им отвечал. А много было совсем распущенных, кучками с оружием, и никаких приветствий не отдававших,— таких Кутепов миновал как бы не замечая, а на самом деле сильно напрягшись. В любой такой кучке могли быть его знакомцы по Литейному, сторожившие дом, искавшие его крови. Шансов подвергнуться нападению у него было больше, чем у всякого другого офицера, проходящего по улице,— очень немного их было, почти не было, всё больше вертлявые прапорщики, уже примкнувшие к революции, с теми же красными бантиками и столпленные со студентами.

Особенно густо и студентов и солдат стянулось как раз перед Университетом, толпа занимала половину набережной, в каких-то кучках произносились какие-то речи, а ещё из обрывков долетающего понял Кутепов, что здесь их кормят всех, потому и стянулись.

Но как будто лучами посланного вперёд напряжения, беззвучным волевым приказом „расступись!'', полковник открывал себе дорогу. Он проходил как снаряд через облако дыма — и ни одна близкая рука даже сзади в спину не посягнула на него. Смотрели на высокого короткобородого железного полковника — и отодвигались, пропускали, не крикнули оскорбления, не придрались, что он без красного.

Конечно, это зависело от случайностей встреч, можно было попасть на столкновение и просто на смерть. Но вот — он прошёл.

Прежде него по Дворцовому мосту и мимо Биржи прогрохотала пара броневиков. И успел подумать: броневики, уже два года позиционной войны как снятые с дела, негодные без дорог и по изрытой местности,— вот где теперь пригодились, по городским улицам, возить солдат революции и насмерть пугать безоружных жителей.

На Дворцовом мосту движение было людное и свободное, никто не преграждал. Тут впервые заметил, какая сегодня погода. Никакая, утренний туманец рассеялся, но в просторе над снежной Невою, уже за Троицким, ощущалась пелена. Солнце проглядывало, а не выступало полностью.

Был бы мороз градусов 20 — никаких бы этих толп не было.

Может, и революции бы не было.

Ото всей и всеобщей распущенности как будто чем-то грязным вымазали душу.

На виду у строгого молчаливого полукруглого Главного Штаба было особенно отвратительно ощущать, во что превратилась столица.

В Преображенское собрание Кутепов пришёл как раз к завтраку. Все офицеры обрадовались ему. Новости их были такие. Сегодня утром на трёх грузовых автомобилях приехала без офицеров, с унтером большая команда 3-й роты преображенцев, с Кирочной, бунтарей,— и дежурному по 1-й роте предъявили распоряжение Военной комиссии Государственной Думы на осмотр помещений и отобрание пулемётов. Таких пулемётов в наличии было всего два учебных, их и забрали. Но кроме ротных помещений вооружённые

бунтари оскорбительно прошли также по офицерскому собранию, делая вид или на самом деле ища пулемёты, или что другое, или только для угрозы.

— И вы их не выгнали?!

Не посмели. Можно допустить неосторожный шаг и всё погубить.

А ведь были тут настоящие боевые офицеры, вот и Борис Скрипицын с георгиевским оружием, которого хорошо помнил Кутепов по сентябрьскому бою у Бубнова.

И они уверены были, что поступали правильно! Это вот чем подтверждалось: бунтари уехали без конфликта, а вослед привезли доверительное распоряжение Военной комиссии — выслать им в Таврический батальонную канцелярию на помощь. И выслать караулы на охрану близлежащих дворцов. Макшеев оформил приказ по батальону — и уже выступили: капитан Кульнев с полуротой — на охрану Зимнего, барон Розен с четвертью роты — во дворец великой княгини Марии Павловны, Гольтгоер с четвертью — во дворец Михаила Николаевича, Рауш-фон-Траубенберг с четвертью — во дворец принца Ольденбургского. В таком направлении караулов преображенцы видели благоразумие новых властей и, скрытое пока, начало успокоения. Да и солдат занять. Ещё послали наряды на телефонную станцию, в министерство иностранных дел, выслали дозоры по Миллионной, по Мойке, по набережным в одну сторону до Летнего сада, в другую до Мариинского дворца и Сенатской площади.

— И что эти дозоры должны делать?

— Военная комиссия вменила в обязанность разгонять сборища.

— Это хорошо бы. Но никого они не разгонят. Не такие силы нужны и не такая решимость. Да этими сборищами весь Петроград кипит. И первое такое сборище — Таврический дворец, с него начинать.

Офицеры смотрели на полковника почтительно — и с недоверием.

Они для себя вот что усматривали хорошее: что вчерашнею поездкой офицеров в Таврический и этим распоряжением Военной комиссии преображенские офицеры становились как бы на законную службу — и были освобождены от горькой необходимости тащиться в Дом Армии и Флота на офицерский митинг и там добывать себе охранительное разрешение.

А что в Доме Армии-Флота? — Кутепов ничего не знал.

Показали ему обращение.

— Боже! Боже! — только мог произнести Кутепов. Он представил себе это массовое офицерское унижение.

Кстати, наискосок от дома Мусина-Пушкина. В самом том месте Литейного, где позавчера он вёл безуспешное сдерживание,— и тогда никто из этих сотен офицеров не пришёл к нему на помощь, а то бы всё и кончилось иначе.

Как же быстро и без боя сломили всё столичное офицерство!

И что же было делать?

А вот что. Капитаны Скрипицын и Холодовский имели идею и приступили к полковнику. В Военную комиссию теперь назначены офицеры генерального штаба — и среди них полковник князь Туманов, который когда-то командовал для ценза 16-й ротой Преображенского полка,— и, кажется, с Александром Павловичем у него сохранялись хорошие отношения?

— Ну, как будто.

Так вот и идея: полковнику поехать сейчас прямо к нему и объясниться, что дальше так идти не может. Что надо немедленно и энергично спасать положение.

— Вздор,— сказал Кутепов.— Во-первых, мы не в таких исключительных отношениях, чтоб он меня особенно слушал. Во-вторых, он и сам, они сами там отлично всё видят. В-третьих, каждый офицер императорской армии должен иметь ответственность сообразить это всё самостоятельно. Но походил, походил — опять получалось унизительное самозаключение, самоустранение, даже и тут, в собрании. А тем временем всё вокруг только гибнет.

— А что, в самом деле? — сказал Кутепов Холодовскому.

— Давайте попытаем счастья. Чем чёрт не шутит.

Автомобиль для их поездки был. С маленьким красным флажком. А иначе к дворцу не подъедешь.

258

Что значит — не сделать дела сразу. Не поехал решительно ещё до рассвета нагонять в Бологое — а потом уже поездка никак не налаживалась.

Милюков — сразу насторожился и сказал, что надо хорошо подумать. И помешал собрать Комитет для решения: подумать, дескать, надо каждому и ещё поконсультироваться. Есть и плюсы, есть и минусы, очень демонстративный шаг.

Да, конечно, шаг был исключительно важный. Но и — по характеру Председателя. И в такой момент только таким шагом и можно что-то спасти.

Но и ответа от Государя надо было дождаться. Всё же прилично было получить согласие, а не рваться самому.

Шли телефонные переговоры с Бубликовым в министерстве путей. Не сразу добились от них, что они, оказывается, совершили дерзкий мятежный шаг: приказали задержать поезда Государя, не доезжая Старой Руссы! Да сам Председатель никогда б не решился на такое.

Не надо! Неблагородно. Встретимся и так. Родзянко велел отменить всякую задержку царского поезда. Но ещё и не был уверен, что эти плуты выполнят.

А экстренный поезд Председателя на Николаевском вокзале давно уже был готов. Потом — задержан чуть ли не комендантом вокзала! Потом на вокзал поехали от Бубликова, и поезд опять стал готов. И даже открыта была ему дорога, задержаны пассажирские поезда, и Михаил Владимирович уже ехал домой переодеваться да на вокзал, когда задумался: что ж теперь гнать через Бологое вослед ушедшему царскому поезду? — короче встретить его по Виндавской линии на Дне. И велел отменить себе поезд на Николаевском вокзале, готовить на Виндавском.

А между тем он сам жил и двигался под смертельной угрозой: ведь его самого солдаты угрожали убить! И тут, во дворце, в толчее или прямо касаясь, и все с винтовками,— ничего и не стоило убить! Но презирал бы себя старый кавалергард, если бы испугался этих подлых угроз.

Впрочем, спешно издал Энгельгардт успокоительный приказ о неразоружении солдат. Хотя к какому бардаку это могло повести — даже и не представить.

А тем временем солдаты — не угрожающие, но приветствующие,— всё текли и текли в Таврический — строями, частями, потоками, кто только до крыльца, а кто и впираясь в Екатерининский. А придя — все непременно хотели слышать к себе приветственную речь.

Однако желающих идти к толпе и кричать до хрипа — среди думцев и Временного Комитета становилось всё меньше, да многие думцы вообще скрывались по квартирам, не появлялись в Таврическом. От этого же тёмного разбойничьего Совета депутатов желающие выступать перед делегациями всё время были — и Чхеидзе со Скобелевым, и какие-то с ними неизвестные подвижные евреи,— и чего они могли нанести, наговорить? Чтоб не допустить окончательного разложения гарнизона — ничего не оставалось Председателю, как влечь и влечь себя на эти выступления, чуть не один за всех, пока ещё не уезжал.

Опять один за всех! — как и много раз в своей жизни. Как представлял Думу перед Государем в месяцы грозного их противостояния и непонимания. Как сегодня ночью остановил движенье войск на Петроград. Как держал на себе весь Временный Комитет. И в этих встречных речах — опять! Удел богатырски наделённых натур, Родзянко и не жаловался. Кому много дано, с того много и спросится.

И посылал Бог голоса! А вид был величественный, грозно-достойный,— и если были в толпе эти распущенные убийцы, то ни одна угроза не раздалась вслух. Целые тысячи солдат выволакивал Родзянко своим трубным голосом — к сознанию долга, к сознанию опасности, в которой состоит отечество, и что надо победить лютого врага Германию. И хотя уже десять и двадцать раз он говорил за эти дни одно и то же, вряд ли меняя даже и слова,— такая пламенела в нём любовь к России, что хватит горячности и на восьмидесятый раз.

Даже понял он теперь, что зал думских заседаний бывал для него мал и тесен — а вот такая нужна была аудитория его запорожскому басу, его необъятной груди!

Конечно, хотелось бы высказаться похлеще, высечь этих подстрекателей, мерзавцев из Совета депутатов, свивших в Думе своё хищное гнездо, никаких не патриотов, а прощалыг, если не разбойников,— вот уже захватывали они и Таврический, и весь Петроград. Да, весь Петроград! Хотел Михаил Владимирович ехать домой переодеваться в дорогу — доложили ему что-то невероятное: что на Виндавском вокзале какие-то железнодорожники отказываются готовить ему поезд! — а требуют на то приказа от Совета депутатов! — вот как!

Значит, Председатель, взявший власть во всей стране, не был хозяином единственного паровоза и вагона? Чудовищно! Председатель обладал всей полнотой власти! — а не мог распорядиться таким пустяком? Поездку, от которой зависела судьба России, решали какие-то беглые *депутаты!* И к этим самозваным наглецам приходилось кого-то посылать, унижаться до переговоров! Унижение было оскорбительней всего гордой душе Родзянко.

Но — хватало ему одумки не произнести роковых слов. Везде звучало „свобода" в смысле „никому не подчиняйся" — и Родзянко молча обходил эту их свободу, но призывал подчиниться защите родины. Кричал, что не дадим Матушку-Русь на растерзание проклятому немцу,— и кричали ему громовое „ура".

А столица как охмелела: шли во дворец уже не только военные делегации, но и какие-то гимназисты, и какие-то служащие,— и перед ними тоже должен был кто-то выступать? Но уже Председателю было обидно. Надо было ему и за своим столом посидеть, разобраться, подумать, что важное не терпит ни часа, ни минуты. (Однако и в кабинете уже такое набилось постороннее, что куда бы и в малую комнату уйти?)

А тут ещё новинка: не только весь Петроград знал и превозносил Родзянку — но вся страна, из провинциальных городов, из разных дальних мест железнодорожные служащие и чиновники, городские думы, земские собрания, общественные организации слали на имя Председателя поздравления и заверения о поддержке Думского Комитета и лично его самого, что он стал во главе народного движения.

Читать эти телеграммы — была музыка. И до слёз.

Однако кроме приятных несли и срочные, мало приятные. От адмирала Непенина — две. Сперва: что он считает намерения Комитета достойными и правильными. Это отлично. Но вскоре вослед: что он просит помочь установить порядок в Кронштадте, где убиты адмиралы Вирен, Бутаков и офицеры. Эти кронштадтские убийства пришлись прямо ножом по нервам: они кровавыми пятнами омрачили светлые дни, и что-то надо было делать — а что? а кого туда пошлёшь?.. Ведь некого...

Затем — от генерала Рузского. С явной претензией. По привычному праву наблюдать от Северного фронта за Петроградом, высочайше отобранному у него только этой зимой, или по праву помощника-сообщника в недавней телеграмме, Рузский теперь спрашивал, каков порядок в столице. И может ли Председатель Думского Комитета обуздать стрельбу, солдатский бродяжий элемент, и дать гарантии, что не будет перерыва в железнодорожных сообщениях и подвозе припасов Северному фронту.

Сам задаваемый вопрос уже предполагал сомнение.

А что мог отвечать Родзянко о порядке в столице? Сказать, что нет его — было бы унизительным принанием в собственном бессилии. Сказать, что он есть — было бы ложью.

Родзянко телеграфировал Рузскому, что все меры по охранению порядка в столице приняты и спокойствие, хотя с большим трудом, но восстанавливается. А о железнодорожном сообщении что он мог сказать, вот сам лишённый вагона? Как Бог даст...

Всё же в этом обмене телеграммами было то положительное, что укреплялся прямой контакт с ближайшим Главнокомандующим (часть войск которого ещё шла на Петроград?). Это могло очень пригодиться в ближайшие часы.

И — очень неприятная телеграмма от Алексеева, неожиданная после хорошего ночного разговора, просто телеграмма-выговор, не скрывающая выговорный тон, как бы старшего к младшему. Алексеев упрекал Родзянко за телеграммы к нему и к Главнокомандующим: что они нарушают азбучные условия военного управления.

Да пожалуй что и так, Родзянко согласен. Но — исключительные же обстоятельства! Но: что изменилось от ночи? Почему он не упрекал ночью? Вдруг как будто утратилось всё взаимопонимание, достигнутое в ночном разговоре. Какие-то там затемнения, изменения происходили в Ставке вдали — отсюда невозможно было их понять и трудно поправить.

А ещё упрекал Алексеев за распоряжения по телеграфным линиям и железным дорогам, перерыв связи Ставки с Царским Селом, попытку не пропустить литерные поезда на станцию Дно,— всё то, что набезобразил Бубликов сам, не спросясь, а вот дошло до Ставки. Это, конечно, было безобразие, но неполезно было бы объяснять Алексееву, подрывая самого себя, что Родзянко и не успевал, и власти не имел всем управить.

А чего совсем не было в телеграмме — это о войсках, посланных на Петроград: так идут они? не идут? задержаны?

Хотя: если Алексеев об этом молчал — то это и неплохо. Во всяком случае — не угрожал.

Расстроился Михаил Владимирович от этой телеграммы.

Но тут пришли и с хорошим сообщением: что Совет рабочих депутатов снял свои возражения против поездки. Только с условием, чтобы ехал Чхеидзе.

Э-э-это всё портило: ну куда годится Чхеидзе? ну зачем Чхеидзе?

Однако: можно ехать! Так для равновесия взять с собой ещё Шидловского.

От Государя с пути тоже пришло согласие на встречу.

Прекрасно! Можно ехать!

Теперь — ещё одну телеграмму, пусть пошлют по Виндавской линии:

Его Императорскому Величеству. Сейчас экстренным поездом выезжаю на станцию Дно для доклада вам, Государь, о положении дел и необходимых мерах для спасения России. Убедительно прошу дождаться моего приезда, ибо дорога каждая минута. Родзянко.

Дорога каждая минута, и больше никаких выступлений перед делегациями. Никаких больше телеграмм, бумаг, вопросов — Михаил Владимирович уезжает! Ото всей России, ото всего народа он должен привезти заметавшемуся императору простое ясное решение: ответственное министерство. И во главе его — Родзянко. Ну, и какие-то поправки к конституции.

Хотя... Хотя размах событий таков, что стали тут тихо поговаривать уже и о передаче престола Алексею.

А что ж? Может быть, может быть уже и неизбежно.

Хотя пришёл Чхеидзе, и сказал, что не допустит никакой передачи Алексею — только отречение.

Ну вот, связались. То есть покинуть престол на произвол судьбы? Такого я не допущу!

Здесь, в немногих оставшихся комнатах думского крыла свои же члены Комитета явно избегали глаз Председателя и шушукались. Шушукаться они могли только против него — чтобы сделать премьером Георгия Львова. Ну так и Председатель не будет возиться с этими интриганами, и даже совещаться с ними. А, в своём духе, сделает широкий шаг: вот, съездит на свидание с Государем и получит бесповоротное утверждение премьер-министром.

Отданы последние распоряжения, ключ от стола секретарю,— но тут-то и набрались: Милюков, Некрасов, Коновалов, Владимир Львов,— как будто Председатель созвал их на совещание.

— Позвольте, Михаил Владимирович! — говорит Милюков, натопорщив усы и напрягши безжалостные глаза.— Мы вот, члены Комитета, посоветовавшись, находим, что ваша поездка сейчас несвоевременна и двусмысленна.

И упёрся загораживающим, замораживающим взглядом.

И Некрасов выставился в свою алчную волковатость, не притворяясь, как всегда, добродушным.

Львов сморщился у переносицы, как изрытый. Грозные чёрные брови и усы такие же.

Пухлоносый толстогубый Коновалов в золотом пенсне как всегда мало что выражал, но место занимал по обхвату.

Как будто ты разбежался — и кинули тебе палку в ноги.

— Как? Почему? Кто находите? — несвязно спрашивал Родзянко.

— Вот мы,— отпечатал Некрасов.

(Мальчишка! Допустили его в 35 лет товарищем Председателя Думы!)

— А... что — находите?

— Мы находим, Михаил Владимирыч,— продиктовал Милюков,— что ваша поездка идейно не подготовлена. Не только не обсуждена цель, задача и пределы ваших полномочий, но сомнительна сама необходимость такой поездки.

Свои-и?? Не пускают??

Продолжение следует

Олег
ШЕСТИНСКИЙ

На руинах церквей

Я задумываюсь: зачем их разбили?
Ведь, наверное, не кровожадными были
активисты «Союза безбожников»:
два буфетчика, физрук местной школы,
парикмахер, комсорг,
белозубо-веселый,
лоботряс из артели сапожников.

Нет, конечно! Но красота досаждала,
ибо молча и выстраданно осуждала
их напряг на пожар мировой.
Повыкалывали глаза Иисусу,
и играл гармонист лишь по ихнему
вкусу,—
жахнул в церкви мотив боевой.

Тех безбожников ныне почти уже нету:
кто-то сгинул, попав в лагеря
по навету,
кто-то пал на войне под огнем.
И сегодня филиппикой я не прицелюсь
в старика, что снимает железную
челюсть
и считает гроши перед сном.

Но какая тоска у разбитого храма!
Но какая непостижимая драма
ослепленных и жалких людей!
Хуже казни,— когда наступает
прозренье
и к себе самому перед смертью
презренье,
а ни Бога в душе, ни идей.

✦ ✦ ✦

Когда в селеньях восстановят храмы,
полы настелют, вставят в окна рамы,
покрасят синей краской купола,—
кто в них войдет?
Печальные старушки,
две-три донельзя горьких побирушки
и любопытствующая толпа.

Толпа раскупит крестики и свечи,
прервет мирские, мелочные речи
и пересуды ближних, но она
все ж будет далека от литургии,
как далека была от нужд России
интернациональная страна.

Не так ли в князь-Владимира
княженье
язычник посещал богослуженье,
душою помня капище свое,
где идолы из киевского бука
сулили исцеленье от недуга,
победы в битвах, сладкое житье?

Тогда лишь сможет церковь
обновиться,
когда в ней отрок и отроковица
с добром в душе и верою святой
замрут, вдыхая ароматный ладан
и каждого сочтут во храме братом,
и каждую сочтут своей сестрой.

✦ ✦ ✦

Ни крещений, ни свадеб церковных.
В загсах штамп получай за трояк.
Превратились мы в граждан условных
без духовных напутствий и благ.

Вот и нам-то с тобою обоим
верно, вспомнить придется с трудом
не священника пред аналоем,—
мужика за казенным столом.

И среди сумасшедших развалин,
где кресты ни за что сожжены,
оттого я душою печален,
что мы дети ущербной страны.

Все изъяли — и думы, и книги,
даже опыт истории той,
где Столыпин, ломая интриги,
Русь мечтал развести с нищетой.

Если ж людям, судьбою забитым,
от озлобленности отстранясь,
выйти к предначертаньям забытым,
к милосердию выйти на связь,—

облегчения вздох над скорбящей,
православной землей прорастет
от монарха, зарытого в чаще,
до мальчонки из чоновских рот.